

Toni Morrison

SONG OF SOLOMON

Copyright © 1977 by Toni Morrison

© Короткова Е., перевод на русский язык, 1982

Глава 1

Агент «Северокаролинского общества взаимного страхования жизни» пообещал в три часа дня взлететь с крыши «Приюта милосердия» и перенестись на противоположный берег озера Сьюпериор. За два дня до этого события он прикрепил кнопками на дверях своего желтого домика объявление:

«В три часа пополудни в среду, 18 февраля 1931 года, я взлечу на собственных крыльях с крыши «Приюта милосердия». Простите меня, пожалуйста. Я любил вас всех. (подпись) Роберт Смит, страх. агент».

Мистер Смит собрал гораздо меньшую толпу, чем четыремя годами раньше Линдберг^[1] – зрителей насчитывалось всего человек сорок-пятьдесят, – так как лишь к одиннадцати часам утра той среды, которую он выбрал для полета, его объявление впервые попало кому-то на глаза. В утренние часы, да еще в середине недели, новости распространяются не столь уж быстро. Дети в школе, мужчины на работе, а большинство женщин еще затягивают корсеты, готовясь заглянуть в мясную лавку и узнать, будет ли нынче хозяин раздавать даром достойные внимания потроха и хвосты. Лишь безработная, работающая на себя и самая юная часть населения прибыла к месту происшествия: либо намеренно – прослышав о полете, либо случайно – потому что именно в эту минуту проходила по приозерной части Недокторской улицы – название, не признаваемое почтовой службой. На городских картах Недокторская улица носила название Мэйнз-авеню, но на ней жил и скончался единственный в городе темнокожий доктор, и в 1896 году, когда он сюда переехал, его пациенты, из которых никто не обитал даже поблизости от этой улицы, прозвали ее Докторской улицей. Позже, когда сюда перебрались и другие негры и когда у них вошло в обычай пользоваться услугами почтовой службы на предмет общения

между собой, из Луизианы, Виргинии, Алабамы и Джорджии стали поступать письма, адресованные людям, проживающим на Докторской улице. Служащие почты отсылали их обратно либо сдавали в отдел недоставленных писем. Затем, в 1918 году, когда цветных стали брать в армию, некоторые из них сообщили на призывном пункте, что живут на Докторской улице. Таким образом название приобрело чуть ли не официальный статус. Впрочем, ненадолго. Кое-кто из городских законодателей, чья политическая деятельность заключалась главным образом в заботе о том, чтобы все таблички в городе содержались в порядке и указывали что положено, взял на себя труд искоренить название «Докторская улица» в официальных документах. И так как им было известно, что его употребляют только жители Южного предместья, они немедленно разослали во все магазины, парикмахерские и ресторанчики этого предместья уведомления, гласившие, что улица, пролегающая к югу и к северу от набережной и выходящая к озеру у пересечения ведущих в Пенсильванию 6-го и 2-го шоссе и к тому же проходящая между Бродвеем и Резерфорд-авеню и расположенная параллельно им, всегда была известна и впредь будет известна как Мэйнз-авеню, а отнюдь не Докторская улица.

Мероприятие это оказалось весьма эффективным, поскольку предоставило, с одной стороны, обитателям Южного предместья возможность увековечить память доктора, а с другой – уважить требования местных законодателей. Изобретательные жители Южного предместья тут же назвали эту улицу Недокторской улицей и были также склонны назвать расположенную в ее северной части благотворительную больницу «Приютом немилосердия», ибо лишь в 1931 году, на следующий день после того, как мистер Смит спрыгнул с больничной крыши, беременной цветной женщине впервые было дозволено родить не на ступеньках больницы, а в одной из ее палат. Причиной такого великодушия администрации послужило вовсе не то, что именно эта женщина являлась единственной дочерью вышеупомянутого темнокожего врача, ибо врачу за всю жизнь ни разу не была оказана здесь врачебная помощь и лишь двое из его пациентов были допущены в «Приют милосердия», оба белые. К тому же доктор умер задолго до 1931 года. Они впустили ее исключительно потому, что мистер Смит спрыгнул с крыши, находящейся у них над головами. Во всяком случае, если убежденность страхового агента в том, что он может летать, никак не обусловила место разрешения этой дамы от бремени, то уж время его она обусловила несомненно. Едва увидев, как мистер

Смит точно в назначенный час возник на куполе крыши, скрестив на груди широкие голубые шелковые крылья, дочь покойного доктора уронила плетеную корзиночку, и из нее посыпались лепесточки роз, вырезанные из алого бархата. Ветер подхватил их, швырнул вверх, вниз, разбросал по снегу. Ее дочери, две девочки-подростки, заметались, стали ловить лепестки, а мать стонала и держалась за живот. На девочек многие обратили внимание, но стоны беременной дамы остались неслышанными. Все знали, что девочки проводят долгие часы, изготавливая эти розы, кроют, режут, сшивают дорогой бархат, и, если на каких-то лепестках окажутся пятнышки, универсальный магазин Герхарда ни в коем случае товар у них не примет.

Сперва было весело, славно. Мужчины тоже кинулись подбирать лоскутки, пока те не намокли от снега, ловили их на лету, осторожно поднимали с земли. Ребятишки сперва не решили, глядеть ли им на человека с голубыми крыльями или на пылающие на земле красные лоскутки. Их раздумьям наступил конец, когда запела какая-то женщина. Она стояла в задних рядах толпы и одета была плохо, настолько же плохо, насколько хорошо была одета дочь врача. На последней было элегантного покроя серое пальто с поясом и бантом посередине живота, как положено ходить беременным, черная шляпа с высокой тульей и ботинки на четырех пуговицах. На той, что запела, был синий вязаный колпак, низко надвинутый на лоб. Зимнего пальто у нее не имелось, и она просто завернулась в старое стеганое одеяло. Склонив голову набок и не спуская глаз с мистера Роберта Смита, она пела звучным контральто:

О, Сладкий мой, ты улетел,
О, Сладкий мой, уплыл, ушел,
О, Сладкий мой, небо пронзил,
Сладкий ты мой, уплыл домой.

Из полусотни собравшихся там людей лишь несколько подтолкнули друг друга локтем и захихикали. Остальные слушали с таким вниманием, словно это были звуки пианино, сопровождающие и разъясняющие содержание немого фильма. Так они и простояли какое-то время, и никто ничего не крикнул мистеру Смит, поскольку всех собравшихся тут занимали другие происшествия, менее значительные, чем предстоящий ему прыжок; а потом на улицу вышел персонал больницы.

До сих пор они смотрели из окон – поначалу просто с любопытством, затем, когда толпа, казалось, расползлась до самых стен больницы, с некоторой опаской. Подумали, уж не затеяла ли тут очередную демонстрацию какая-нибудь националистическая группа. Но, не увидев ни плакатов, ни ораторов, вышли из помещения на холод: хирурги в белых халатах, служащие в темных пиджаках и три сиделки в накрахмаленных длинных блузах.

При виде мистера Смита с голубыми крылами они на несколько мгновений окаменели. Пение женщины и разбросанные по земле цветы нисколько не проясняли ситуацию. Кое у кого мелькнула мысль, что, возможно, они присутствуют при каком-то обряде. Не так уж далеко от них находилась Филадельфия, где владычествовал Благой отец[2]. Возможно, две отроковицы, держащие корзины с цветами, – это девственницы, посвятившие себя его культу. Но тут вдруг расхохотался какой-то прохожий, сверкнув золотыми зубами, и они опомнились. Спустились с облаков на землю и сразу же занялись делом, стали распоряжаться. И оттого, что они начали кричать и суетиться, поднялась ужасная суматоха на довольно тихой улице, где перед этим только несколько мужчин и девочек подбирали изрезанный на лоскутики бархат да пела женщина.

Одна из сиделок, решив навести хоть какой-то порядок, внимательно огляделась, и ей попала на глаза полная женщина, имевшая такой решительный вид, что казалось, ей захочется, она свернет горы.

– Эй, послушайте-ка, – сказала сиделка, направляясь к ней. – Это ваши дети?

Полная женщина медленно обернулась, приподняв брови: ей не понравилась бесцеремонная манера обращения. Затем, увидев, кто ее окликнул, она опустила и брови, и веки.

– Мэм?

– Пошлите-ка одного из ваших ребят к нам в приемный покой. Пусть скажет дежурному, чтобы скорее шел сюда. Вот можно этого мальчика послать. Вон того, – она показала пальцем на мальчика лет пяти-шести с кошачьими глазами.

Полная женщина покосилась в ту сторону, куда тыкала пальцем сиделка.

– Это Гитара, мэм.

– Что?

– Гитара.

Сиделка изумленно вытаращила глаза, словно ее собеседница заговорила по-валлийски. Потом снова взглянула на мальчика с кошачьими глазами, сцепила пальцы и проговорила очень медленно, обращаясь к нему:

– Слушай-ка. Зайди с той стороны за больницу к дежурному. Увидишь надпись на дверях: «Приемный покой». ПОКОЙ. Там сидит дежурный. Вели ему скорей прийти сюда. Ну, шагай-ка, шагай! – Она замахала руками, будто разгребала вокруг себя холодный воздух.

К ней подошел мужчина в коричневом костюме, изо рта у него вылетали белые облачка пара.

– Ступайте в помещение. Сюда уже едет пожарная машина. Вы тут до смерти замерзнете.

Сиделка кивнула.

– Мэм, зачем вы все время говорите «ка»? – спросил мальчик. Он приехал на Север недавно и лишь недавно начал понимать, что ему можно разговаривать с белыми. Но сиделка торопливо ушла, потирая от холода руки.

– Бабушка, она зачем-то все время добавляет «ка».

– И пропускает «пожалуйста».

– Ты думаешь, он прыгнет?

– От ненормального всего можно ждать.

– А кто он?

– Собирает страховые взносы. Ненормальный.

– А тетенька, которая поет?

– А уж это, деточка, и вовсе конец света. – Но улыбнулась, глядя на поющую женщину, и мальчуган с кошачьими глазами, ее внук, слушал пение с таким же вниманием, с каким глядел на мужчину, который взмахивал крыльями на крыше больницы.

Сейчас, когда в дело предстояло вмешаться блюстителям порядка, толпа слегка забеспокоилась. Здесь каждый знал мистера Смита. Он являлся дважды в месяц к ним домой получить доллар шестьдесят восемь центов и вписать на желтую карточку дату уплаты взноса и сумму – восемьдесят четыре цента в неделю. Они задерживали платежи на полмесяца, а то и больше и вели бесконечные разговоры о том, что впредь будут вносить деньги раньше срока... отругав его сперва за то, что он так скоро к ним явился:

– Ты уж снова тут? А вроде бы я только-только от тебя отделался.

– Надоело мне на твою рожу глядеть. Надоело, хоть плачь.

– Ну, так и знал. Только звякнут друг о дружку две монетки, а ты уж тут как тут. Словно жатка ходишь и подбираешь каждую травинку. Небось уж сам президент о тебе наслышан!

Они насмехались над ним, оскорбляли его, наказывали детям говорить, что родителей нет дома, или они захворали, или уехали в Питсбург. Желтые карточки, однако же, берегли, словно и в самом деле могли от них дожидаться проку, – бережно укладывали их в коробку от ботинок, где уже лежали разные квитанции, свидетельство о браке, служебные значки давно уже переставшей существовать фабрики. А мистер Смит лишь улыбался, и его взгляд был все время сосредоточен на ногах клиента. Отправляясь по делам, он надевал строгий костюм, но домик у него был ничуть не лучше, чем у прочих. Женщин он, насколько известно, к себе не водил, в церкви разве что говорил «аминь», да и то изредка. Он ни разу в жизни никого не избил, после наступления темноты не шлялся по улицам, и клиенты думали, что он, пожалуй, неплохой человек. Но он был прочно связан в их сознании с болезнями и смертью, символом которых являлся коричневый рисунок на обороте желтых карточек, изображавший здание «Северокаролинского общества взаимного страхования жизни». Самым интересным поступком в его жизни оказался прыжок с крыши «Приюта милосердия». Такого от него

не ожидали. «Он нам просто голову морочит, – перешептывались зеваки, – и чего только не выдумают люди».

Та женщина, что пела, теперь замолчала и, чуть слышно мурлыча мелодию себе под нос, пробралась сквозь толпу к даме с бархатными лепестками, которая по-прежнему держалась за живот.

– Вам сейчас нужно согреться, – прошептала она, слегка тронув даму за локоть. – Завтра утром вылупится птенчик.

– Как? – удивилась дама. – Завтра утром?

– Ну не сегодня же. Сегодняшнее утро уже прошло.

– Не может быть, – сказала дама. – Это слишком скоро.

– Ничего не скоро. Самое время.

Женщины глубоко заглянули друг дружке в глаза, но тут вдруг толпа взревела. «О-о!» – прокатилось волною. Мистер Смит, на миг потеряв равновесие, делал героическую попытку уцепиться за торчавший на куполе деревянный треугольник. Женщина вновь запела:

О, Сладкий мой, ты улетел,
О, Сладкий мой, уплыл, ушел...

Где-то на окраине пожарные натягивали свои робы, но, когда они прибыли к «Приюту милосердия», мистер Смит уже успел увидеть бархатные лепестки, послушать пение и прыгнуть в воздух.

На следующий день в стенах «Приюта милосердия» впервые родился чернокожий младенец. Голубые шелковые крылья мистера Смита, наверное, оставили в жизни ребенка след, ибо, сделав к четырем годам открытие, которое мистер Смит совершил до него: только птицы и аэропланы способны летать, – он утратил к себе интерес. Сознание, что он лишен этого редкостного дара, так его опечалило, так подавило в нем игру воображения, что его считали скучным даже женщины, которые не испытывали неприязни к его матери. Те, кто испытывал, те, кто ходил на ее чаепития и завидовал докторскому дому, большому, темному, состоящему из двенадцати комнат, и зеленому седану,

говорили, что мальчик «со странностями». Другие, которым было известно, что дом этот скорее тюрьма, чем дворец, а седаном пользуются лишь по воскресеньям, жалели Руфь Фостер и ее замороженных дочек, мальчика же называли «необычным». Даже загадочным.

– Он правда родился в сорочке?

– Сорочку надо было высушить, истолочь, заварить чай и поить его. Иначе ему будут являться привидения.

– Вы в это верите?

– Я нет, но старики так говорят.

– Ладно, он, во всяком случае, необычный мальчик. Посмотрите на его глаза.

Они выковыривали изо рта кусочки недопеченного «солнечного» торта и опять заглядывали мальчику в глаза. В ответ он вежливо смотрел на них, стараясь, что есть сил, потом бросал умоляющий взгляд на мать, и ему разрешалось покинуть гостиную.

Не так просто выйти из гостиной под журчанье голосов, плещущих тебе в спину, распахнуть тяжелые двойные двери столовой, шмыгнуть вверх по лестнице, мимо всех спален, да так, чтоб не заметили Лина и Коринфянам, которые, словно две большие куклы, сидят перед столом, заваленным обрезками красного бархата. Сестры мастерили розы. Яркие безжизненные розы месяцами лежали в корзинах, пока от Герхарда не посылали привратника Фредди сообщить барышням, что требуется очередная партия их изделий. Если мальчику удавалось незаметно прошмыгнуть мимо сестер, имевших обыкновение как бы невзначай пустить ему вслед какую-нибудь колкость, он взбирался в своей комнате на подоконник и дивился вновь и вновь, почему он обречен не отрываться от поверхности земли. Тогда особняк доктора заполняла тишина, нарушаемая только рокотом голосов в гостиной, где посетительницы ели «солнечный» торт; она одна царила в доме – тишина. Тишина, но не мирная, так как предшествовало ей и вскорости ее прервет присутствие Мейкона Помера.

Плотный, шумный, он обычно возникал совершенно неожиданно, и все домашние цепенели от страха. В каждом слове, сказанном жене,

сверкала ненависть. Он как пепел стряхивал свое неодобрение на головы дочерей, и их желтые, как масло, щеки тускнели, не слышалось девичьей звонкости в приглушенных голосах. Под испепеляюще-холодным взглядом его глаз они спотыкались на пороге и роняли в солонку желток. В его присутствии они теряли грацию, сообразительность, уверенность в себе – но только это и вносило в их жизнь оживление. Если бы не напряженность и волнение, вспыхивающие при нем, они не знали бы, куда себя девать. В его отсутствие они сидели, склонившись над багряными лоскутиками бархата, и жадно вслушивались в ожидании его, а Руфь, его жена, встречала каждый день безмолвием, так подавляло ее мужнино презрение, и оно же взбадривало ее к концу дня.

Она провожала последнюю гостью, закрывала дверь, и тихая улыбка гасла на ее губах, а затем принималась готовить мужу еду, которую он находил несъедобной. Не по злему умыслу готовила она неаппетитно: стряпать иначе она не могла. Заметив, что ее приятельницы слишком искромсали торт и мужу подавать его нельзя, она решала, что на десерт будет сыр. Но, готовя котлету, так долго пропускала через мясорубку телятину и говядину, что не только забывала о свинине – компонент необходимый, так как сало сдобрило бы фарш, – но и вообще не успевала нарезать сыр. Тут она начинала торопливо накрывать на стол. Она разворачивала белую скатерть, чтобы накрыть старинный, красного дерева стол, и на глаза ей снова попадалось большое пятно на столешнице. Каждый раз, когда она накрывала на стол или проходила по столовой, взгляд ее падал на это пятно. Как смотритель маяка невольно подходит к окну еще раз взглянуть на море, как заключенный машинально ищет глазами в небе солнце, выходя на очередную прогулку, Руфь по несколько раз в день смотрела на это пятно. Она знала, пятно на месте и никуда не денется, но ей хотелось убедиться в этом еще раз. Как для смотрителя маяк, как для заключенного солнце, пятно это служило для нее ориентиром – нечто постоянно находящееся на месте, удостоверяющее, что и мир стоит на месте, что все это явь, а не сон. Что и в ней самой где-то внутри теплится жизнь, а единственным подтверждением этого служит издавна знакомое пятно, находящееся вот здесь, вне ее.

Даже упрятавшись в пещеру сна, где она не думала о пятне и оно ей не снилось, она ощущала его присутствие. И как от него только избавиться – она без конца обсуждала и с дочками, и с приятельницами,

которые приходили к ней в гости, как уничтожить этот единственный изъян на дивном красном дереве; мазала вазелином, табачным соком, йодом, сперва драила песком, а затем смазывала это место льняным маслом. Все перепробовала. Но пятно будто кто заколдовал: оно не только по-прежнему оставалось на месте, но с годами, казалось, становилось все отчетливей, заметней.

На том месте, где виднелся этот сероватый расплывчатый кружок, при жизни доктора находилась ваза, в которую ежедневно ставили свежие цветы. Ежедневно. А если не было цветов, в ней красиво располагали листья, затейливые сучковатые веточки и ветки с ягодами, вербу, шотландскую сосну... Во всяком случае, к обеду стол всегда был украшен.

Отец считал, что этот с виду незначительный штришок выделяет их семью из окружающей среды. А для Руфи ваза символизировала изящество и сердечное тепло, в которых, как она считала, протекало ее детство. Когда на ней женился Мейкон и поселился в доме доктора, она все так же соблюдала этот ежедневный ритуал. А потом пришел тот день, когда она через самые плебейские кварталы пробралась к берегу реки, куда водой прибило лес. Она увидела в газете, в отделе «Домоводство», как красиво расположить в вазе ветки и сухие водоросли, когда-то выброшенные на берег волной. Стоял промозглый ноябрьский день; доктора к тому времени уже разбил паралич, ел он в спальне, и только жидкую пищу. Ветер приподнимал край ее юбки, приоткрывая лодыжки, забирался в шнурованные ботинки. Дома ей пришлось растереть ноги нагретым оливковым маслом. За обедом она спросила мужа – они сидели за столом вдвоем, – нравится ли ему новое украшение в вазе.

– Большинство не замечает таких вещей. Просто не видят, как это красиво. Не понимают, что природа сама все это довела до полного совершенства. Вот с этой стороны взгляни. Прелестно, правда?

Муж поглядел на обломки дерева, обвитые ажурными светло-желтыми водорослями, и, не поворачивая к ней головы, произнес:

– Цыпленок красный возле костей, не прожарился. И потом, не знаю, может быть, и есть такое блюдо из картофеля, где должны оставаться комки, но только это не пюре.

Руфь оставила в вазе водоросли и позже, когда они раскрошились и осыпались коричневыми струпами на стол, смахнула этот мусор, а вазу унесла. Но след, который раньше прикрывала ваза, стал теперь заметен. А став заметным, вдруг будто и сам явил собой какое-то растение, расцвел и превратился в исполинский сероватый цветок – он то лихорадочно пульсировал, то вздыхал с тихим шелестом, словно приморские дюны. Впрочем, он бывал и очень тих. Терпелив, тих и спокоен.

Но ориентир ведь не опора, можно лишь признать его существование в знак подтверждения какой-нибудь идеи, если вам желательно, чтобы идея эта жила. А вот для того, чтоб дотянуть от восхода солнца до заката, требуется уже другое: некий бальзам, ощущение тепла и нежности. И, стряхнув с себя апатию, Руфь сразу же после приготовления обеда становилась деятельной, стараясь успеть до прихода мужа из конторы. Всего две радости она втайне позволяла себе – к одной из этих радостей был причастен ее сын, и сама комната, в которой она ей предавалась, в какой-то мере тоже усугубляла удовольствие. Здесь царил зеленоватый влажный полумрак, так как сосновые ветви прикрывали все окно и затеняли свет. Эту маленькую комнату доктор называл когда-то кабинетом, а теперь, кроме швейной машинки и манекена в углу, здесь стояло лишь кресло-качалка да скамеечка для ног. Руфь садилась, устраивала сына на коленях и кормила его грудью, не отводя взгляда от его закрытых глаз. Ее побуждало вглядываться с такой пристальностью в его лицо не столько чувство материнской нежности, сколько нежелание глядеть на его свисавшие чуть не до полу ноги.

В конце дня, когда муж запирали контору и отправлялся домой, Руфь заходила в маленькую комнату и звала сына. Он входил, она расстегивала блузку, улыбаясь. Он был еще так мал, что его не смущала ее обнаженная грудь, но безвкусное материнское молоко ему не нравилось – для этого он уже достаточно вырос, – а потому входил он неохотно, как бы выполняя надоевшую обязанность, а выполнял он ее ежедневно и, втягивая пресное сладковатое молоко, старался не сделать нечаянно матери больно зубами.

В ней отзывалось все, что было в нем: принужденность, безразличие, вежливая покорность, – и воображение ее работало вовсю. У нее было вполне отчетливое ощущение, будто он вытягивает из нее нить света. Ей казалось, из нее струится золото, виток за витком. Она

была как дочка мельника, та самая, что просидела ночь на сеновале, наделенная волшебной силой, которой одарил ее Румпельштильтскин, – она тоже воочию видела нить золотой пряжи, струившуюся из нее. И в этом она тоже черпала наслаждение, и было невозможно от него отказаться. Поэтому, когда привратник Фредди, которому нравилось делать вид, будто он друг дома, а не просто слуга и квартиросъемщик, как-то в конце дня явился с платой за квартиру и заглянул в окно сквозь сосновые ветки, Руфь тут же поняла: она утратила отныне половину того, что делало ее жизнь сносной, и ужас вспыхнул в ее глазах. Фредди, однако же, решил, что она просто смущена, тем не менее продолжал ухмыляться.

– Боже милостивый! Подохнуть можно.

Он стал раздвигать ветки, чтобы получше все разглядеть, но не ветки ему мешали – его прямо-таки корчило от смеха. Руфь поспешно вскочила, прикрыла грудь, а ее сын свалился на пол, и ее торопливость и смущение подтвердили то, что он давно уже подозревал: все это действительно неправильно и скверно.

Мать с сыном не успели ни слова сказать, привести себя в порядок, даже переглянуться, а Фредди тем временем уже обогнул дом, взбежал на крыльцо и завопил, давясь от смеха:

– Мисс Руфи! Мисс Руфи! Где вы? Где же вы? – Он распахнул дверь с таким видом, словно входит в собственную комнату. – Просто подохнуть можно, мисс Руфи! Когда я видел это в последний раз? И не упомяну. То есть тут, конечно, ничего дурного нет. В старину даже... Просто, понимаете ли, у нас не так уж часто этакое встретишь... – А смотрел он все время на мальчика. Присматривался к нему, словно между ними возникли какие-то свои дела, к которым Руфь была непричастна. Фредди смерил мальчика взглядом внимательно, хоть и украдкой, и отметил поразительный контраст между лимонно-желтой кожей Руфи и черной кожей мальчугана. – В старину на Юге многие женщины подолгу кормили ребятишек грудью. Многие так делали. Но в наши времена такие вещи редкость. Правда вот, в одной семье, слышал я, мамаша с придурью была, мальчугана своего кормила, по-моему, чуть ли не до тринадцати лет. Но это уже многовато, верно? – Он трещал без умолку, а сам все потирал подбородок да поглядывал на мальчика. Потом наконец умолк и захихикал. Нашел-таки нужное слово. – Молочник! Вот, мисс

Руфи, кто он у нас будет. Форменный Молочник, можете уж мне поверить. Берегитесь, бабы! Молочник идет. У-у!

Фредди оповестил о своем открытии не только тот район, где жила Руфь, но и Южное предместье, где проживал он сам и где находились доходные дома Мейкона Помера. Поэтому Руфь почти два месяца не высовывала носу из дому и не устраивала чаепитий, опасаясь, чтобы какая-нибудь приятельница не сообщила ей невзначай, что сын ее наречен новым именем, от которого ему уже никогда не избавиться, а это никоим образом не будет способствовать улучшению ее отношений с Мейконом Помером, а также его отношений с сыном.

А Мейкон Помер так и не узнал, откуда же оно взялось, каким образом его единственный сын заполучил эту кличку, прилипшую к нему накрепко, хотя сам Мейкон Помер никогда ее не признавал и не употреблял. Все это очень его занимало, поскольку в их семье, по его мнению, при выборе имен неизменно проявлялась воистину безграничная глупость. При нем ни разу не упомянули эпизод, из-за которого возникла кличка: трудноато подступиться к такому, как он, – тяжелый человек, держится холодно, сухо, попробуй-ка вступи с ним в непринужденный разговор. Только привратник Фредди позволял себе запросто болтать с Мейконом Помером, он ведь оказывал Мейкону разного рода услуги, но уж кто-кто, а Фредди ни за что бы не стал растолковывать ему, в чем дело. Вот почему Мейкон Помер так и не услышал, а потому и не представил себе, как Руфь в ужасе неловко вскакивает с качалки, как мальчик падает и больно ушибается о скамеечку для ног, как ликует и веселится Фредди, уразумев, что происходит.

Но и не зная подробностей, он догадался, так как ненависть усугубляет пронизательность, что в прозвище, с которым к его сыну обращались школьные товарищи и даже старьевщик, когда отсчитывал мальчику три цента за кучу старого тряпья, – что в этом прозвище есть что-то нечистое. Молочник. Не добропорядочный доильщик, честный труженик молочной фермы, не сверкающие холодным блеском бидоны, которые выстроились на заднем крыльце, словно почетный караул, нет, что-то совсем-совсем другое связывалось с этим словом. Что-то грязное, интимное и жаркое. Он чувствовал: происхождение этой клички связано

каким-то образом с его женой, и его охватывало отвращение – мысль о ней всегда будила в нем это чувство.

Сын вызывал в нем отвращение и беспокойство, что накладывало отпечаток на каждый его шаг, каждый поступок. Насколько легче было бы, если бы он мог грустить, просто грустить. Пятнадцать лет он с нетерпением мечтал о сыне, и теперь у него наконец-то есть сын, но какие-то мерзкие обстоятельства отравили ему всю радость.

Давно ушли те времена, когда у Мейкона была густая шевелюра, а Руфь носила нижнее белье со множеством застёжек и завязочек и он любил ее подолгу раздевать. Ему нравилось медленно распускать, развязывать, расстегивать ее белье, самое прекрасное, изящное, мягкое и белоснежное, какое только можно вообразить себе. Он вытаскивал шнурки из каждой дырочки на корсете (а их было сорок – по двадцать с каждой стороны), развязывал голубые ленточки, продернутые сквозь снежно-белый корсаж. Он не только их развязывал, но и выдергивал, так что Руфи приходилось потом заново просовывать их, прикрепив к булавке. Он щелкал кнопками, то отстегивая, то снова пристегивая подушечки от пота, прикрепленные к комбинации эластичной лентой. Оба молчали и только хихикали, как ребятишки, играющие в доктора.

А потом она лежала обнаженная, и ее вялое тело было как неочищенный сахар, а он ей расшнуровывал ботинки, снимал чулки, и вслед за тем они соединялись. Ей все это нравилось. Ему тоже. За двадцать лет, что он не видел ее голую, он вспоминал с тоской лишь о ее белье.

Когда-то ему казалось, он никогда не забудет, как она целовала руку мертвеца. Он ошибся. Мало-помалу из памяти исчезали подробности, так что под конец ему пришлось вообразить их себе, даже выдумывать, прикидывая в уме, как все это могло происходить. Он забыл, как это выглядело, помнил лишь, что мерзко. И еще сильнее злился, вспоминая ее белье: круглые дырочки-глазки корсета больше никогда не взглянут на него.

Так что, если его сына прозвали Молочник, а Руфь, слыша это прозвище, опускает глаза и промокает платочком сразу вспотевшую верхнюю губу, тут, несомненно, замешана какая-то мерзость, а уж подробности ему могут и не сообщать.

Их и не сообщали. Одни не хотели, другие не смели. Лина и Коринфянам, живая память тех времен, когда он развязывал тесемочки и ленты, хотели бы, да не смели. А единственная, кто посмела бы, но не хотела, не считая это необходимым, была его сестра, которую он ненавидел еще больше, чем жену. Они не виделись с рождения его сына, и у Мейкона не было ни малейшего желания возобновить прерванные отношения.

Мейкон Помер нащупал в кармане ключи и поигрывал увесистой связкой, чувствуя, как это успокаивает его. Это были ключи от всех дверей в его домах (домов, собственно, было четыре; остальные просто лачуги), и он время от времени касался их пальцами, направляясь по Недокторской улице к своей «конторе». По крайней мере он считал ее конторой, даже велел вывести краской на дверях слово «Контора». Но витрина из зеркального стекла опровергала это утверждение. Полукруг, составленный из золотых, порядочно облезших букв, именовал его предприятие «Магазином Санни». Соскабливать имя предыдущего владельца едва ли имело смысл, коль скоро его все равно ни у кого не выскоблишь из памяти. Не было такого человека, который бы не называл его контору «Магазином Санни», хотя никто не помнил, чем именно там Санни торговал три десятка лет тому назад, не меньше.

Он шагал туда сейчас, точнее, вышагивал – у него была походка атлета и оттопыренный зад, – раздумывая об именах. Вне всякого сомнения, размышлял он, у них с сестрой был предок – стройный, гибкий молодой человек, с кожей цвета оникса и ногами как стебли бамбука, и у него было настоящее имя. Имя, выбранное ему при рождении вдумчиво и с любовью. Имя, а не шуточка, не маска и не позорная кличка. Но чем он занимался, этот стройный молодой человек, и по каким краям носили его ноги, подобные стеблям бамбука, никто и никогда не узнает. Не узнает, нет. И не узнает имени его. Что касается родителей Мейкона, они смирились, движимые то ли покорностью, то ли досадой, с именем, которым их наградил человек, глубоко к этой проблеме равнодушный. Согласились носить и передавать всему дальнейшему потомству замогильное имя, нацарапанное в полнейшей бездумности пьяненьким янки из федеральных войск. Не что иное, как зафиксированная на клочке бумаги описка была вручена его отцу, а тот передал эту описку своему единственному сыну, и точно так же сын передал ее своему. Мейкон Помер, зачавший второго Мейкона Помера, который женился на Руфи Фостер (Помер) и зачал Магдалину,

именуемую Линой Помер, и Первое Послание к Коринфянам Помер, и (когда он этого уже никак не ожидал) еще одного Мейкона Помера, ныне известного в соприкасающемся с ними кругу под кличкой Молочник Помер. И словно мало всего этого, имеется еще сестра, называемая Пилат Помер, которая никогда не расскажет брату, при каких обстоятельствах его сын получил свою дурацкую кличку, так как вся эта история, конечно, радует ее. Она просто блаженствует и, может быть, запишет эту кличку на клочке бумаги, положит в медную коробочку и подвесит ее ко второму уху, словно серьгу.

Следуя примеру отца, он всем своим детям, кроме первенца мужского пола, выбрал имена, ткнув наугад пальцем в Библию. И куда уж ткнулось, туда ткнулось, он ничего не менял, досконально зная обстоятельства, при которых получила имя его сестра. Мать их умерла родами, а отец, растерянный, удрученный ее кончиной, водил пальцем по Библии и, так как не умел читать, выбрал слово, которое ему показалось красивым и значительным на вид: ему представилось, что это нечто большое, нечто вроде дерева, которое величественно и покровительственно возвышается над порослью деревьев пониже. Он переписал все эти буквы на клочок коричневой бумаги – переписал, как переписывают все неграмотные люди: каждый изгиб, наклон, завитушку, – и вручил акушерке:

- Так назовем ребенка.
- Вы что, хотите так ее назвать?
- Я хочу назвать так ребенка. Прочитайте это.
- Да нельзя ее так называть.
- Прочитайте.
- Это мужское имя.
- Прочитайте.
- Пилат.
- Как?
- Пилат. Вы написали тут: Пилат.

– Это вроде бы тот, кто пилит?

– Нет. Ничего он не пилит. Пилат, который убил Христа, вот это кто. Уж подыскали имя, хуже не придумаешь. Особенно для девочки.

– Я просил Христа спасти мою жену.

– Думайте о том, что говорите, Мейкон.

– Я просил его всю ночь.

– Он вам послал ребенка.

– Да. Послал. Я назову ее Пилат. Ребенка будут звать Пилат.

– Господи Боже, помилуй нас.

– Вы зачем уносите мою бумажку?

– А ей место там, откуда она изошла. В адском пламени.

– Отдайте ее мне. Она изошла из Библии. В Библии и останется.

И она осталась там, пока девочке не исполнилось двенадцать лет, и тогда она скатала бумажку в крохотный комочек и положила ее в маленькую медную коробочку, которую стала носить в левом ухе, как серьгу. И если в двенадцать лет ее не волновало полученное благодаря случайности имя, то Мейкон мог предполагать, насколько мало оно волновало ее потом. Зато он знал наверняка: с той же почтительностью, с тем же благоговением, с каким она отнеслась к рождению третьего Мейкона Помера, отнеслась она и к имени, которым он был наречен.

Мейкон Помер помнил: рождение его сына занимало ее, пожалуй, больше, чем рождение собственной дочери и даже дочери этой дочери. Еще долгое время после того, как Руфь оправилась и вновь смогла – не бог весть как – вести хозяйство, Пилат продолжала ходить к ним на кухню в ботинках с распушенными шнурками, в вязаной шапке, низко натянутой на лоб, и с дурацкой серьгой в ухе. От нее всегда чем-то пахло. В последний раз он видел ее, когда ему было шестнадцать, а потом она появилась в их городе примерно за год до рождения его сына. Вела она себя по-родственному, как положено тетке, иногда помогала хозяйничать Руфи и девочкам, но с прохладцей, без умелости и не рвалась эту умелость приобрести. А под конец просто сидела около

детской кровати и пела. Ничего особенно плохого в этом не было, только Мейкону врезалось в память выражение ее лица. Оно было удивленное и вдумчивое. И такая напряженная пытливость была написана на нем, что Мейкону становилось не по себе. Хотя нет, дело, наверное, не только в этом. Вероятно, на него действовало, что вот она сидит перед ним через столько лет после того, как они расстались у входа в пещеру, а он до сих пор помнит ее предательство и свой гнев. Как же низко она скатилась! Потеряла всякое представление о порядочности. А ведь когда-то она была для него самым дорогим существом в мире. Сейчас же стала хмурой, чудаковатой и, что хуже всего, неопрятной. Такой дай только волю, и вечно будешь попадать в неловкое положение. Но он не собирался давать ей волю.

Кончилось тем, что он ей запретил появляться у них в доме, пока она не начнет достойнее себя вести. Могла бы подыскать себе приличную работу, а не держать кабак.

– Ты бы хоть одевалась как женщина, – говорил он, стоя у кухонной плиты. – Напялила зачем-то на голову матросский берет. А чулок у тебя просто нет, так, что ли? Хочешь сделать меня посмешищем всего города? – Его бросало в дрожь при мысли, что белые владельцы банка – те, кто помогал ему покупать дома и их закладывать, – вдруг обнаружат, что эта оборванка-бутлегерша его родная сестра. Что у богатого негра, который так умело распоряжается своим капиталом и живет в большом доме на Недокторской улице, есть сестра, имеющая дочь, но не имеющая мужа, а у этой дочери тоже есть дочь, а мужа нет. Вот семейка, форменные психопатки: гонят спиртное и распевают прямо на улице песни. «Как уличные женщины! Ну прямо как уличные женщины!»

Пилат сидела и слушала, разглядывая его с интересом. Потом сказала:

– А я о тебе тоже очень беспокоюсь, Мейкон.

Вне себя от ярости, он бросился к дверям.

– Убирайся, Пилат. Сию же минуту. Я на пределе, я за себя не ручаюсь.

Пилат встала, завернулась в одеяло, бросила на младенца прощальный нежный взгляд, ушла и больше уж не возвращалась.

Когда Мейкон Помер приблизился к своей конторе, он заметил в нескольких шагах от дверей полную женщину и двух мальчуганов. Мейкон отпер дверь, прошествовал к письменному столу и уселся. Он начал просматривать счетную книгу, когда в комнату вошла поджидавшая его женщина, только уже без детей.

– День добрый, мистер Помер, сэр. Я миссис Бэйнс. Живу в номере третьем на Пятнадцатой улице.

Мейкон Помер помнил – не женщину, а обстоятельства, связанные с номером третьим. Туда въехала то ли бабушка, то ли тетка жилицы и давно уже не вносила квартирную плату.

– Да, миссис Бэйнс. Вы что-нибудь мне принесли?

– Вообще-то я как раз об этом и хотела с вами потолковать. Сенси, понимаете ли, оставила на меня всех ребятишек. А пособия по безработице хватает разве что на то, чтобы дворовую собаку прокормить, да и ту, пожалуй что, придется держать впроголодь.

– Вам нужно ежемесячно платить четыре доллара, миссис Бэйнс. А вы задолжали уже за два месяца.

– Знаю я все это, мистер Помер, сэр, но детишки же не могут ничего не есть.

Разговаривали они тихо, вежливо, отнюдь не сердито.

– А на улице они могут жить, миссис Бэйнс? Именно это им предстоит, если вы не изыщете способ платить мне что положено.

– Нет, они не могут жить па улице, сэр. Им и крыша над головой нужна, и кормить их нужно. Все им нужно. Так же, пожалуй, как и вашим.

– В таком случае будьте пооборотистей, миссис Бэйнс. Даю вам время до... – он круто повернулся, чтобы взглянуть на настенный календарь, – до следующей субботы. Субботы, миссис Бэйнс. Не воскресенья. И не понедельника. До субботы.

Будь она помоложе, сохранись в ней былой задор, у нее разгорелись бы от гнева и глаза, и щеки. Но она уже состарилась, поэтому только глаза ее сердито сверкнули. Она оперлась ладонью о стол и, не спуская с

Мейкона тускло мерцающего взгляда, поднялась со стула. Чуть повернула голову, взглянула сквозь витринное стекло на улицу и вновь перевела взгляд па Мейкона.

– Вам-то какой прибыток, мистер Помер, сэр, если вы вышвырнете меня на улицу с детишками?

– До субботы, миссис Бэйнс.

Опустив голову, она что-то прошептала и вышла из конторы, медленно и тяжело ступая. Когда она закрыла за собой дверь, ведущую в «Магазин Санни», внуки ее, стоявшие на солнцепеке, перешли в тень, туда, где остановилась женщина.

– Что он сказал, бабушка?

Миссис Бэйнс положила руку на голову мальчика, что был повыше, и рассеянно перебирала его волосы, нащупывая пятна лишая.

– Он, наверное, сказал нет, – догадался второй мальчик.

– Нам что же, придется съезжать? – Тот, что был повыше, высвободил голову и искоса взглянул на бабуку. Его кошачьи глаза сверкали, как золотые ранки.

Миссис Бэйнс безвольно уронила руку.

– Когда негр занимается бизнесом, это ужас, вот это что. Ужас, просто ужас, вот и все.

Мальчики переглянулись и опять посмотрели на бабуку. Они даже приоткрыли слегка рты, словно услышали нечто очень важное.

Едва за миссис Бэйнс закрылась дверь, Мейкон Помер снова принялся просматривать счетную книгу и, водя пальцем по столбикам цифр, успевал одновременно вспоминать, как он впервые посетил отца Руфи Фостер. В ту пору у него в кармане было только два ключа, и, если бы он давал потачку таким, как та женщина, которая только что ушла, у него и совсем бы ключей не осталось. Если бы не эти два ключа, которые уже тогда лежали у него в кармане, он не посмел бы появиться на Недокторской улице (тогда еще она называлась Докторской) и войти в дом к самому уважаемому негру в городе. Взяться за дверной молоток –

он был в виде львиной лапы – и помышлять о браке с докторской дочкой он осмелился лишь потому, что каждый из ключей символизировал принадлежащий ему дом. Без этих ключей он испарился бы при первом же «да?», произнесенном доктором. Или растаял, как свежий воск, под тусклым мерцанием его взгляда. Зато, имея ключи, он вполне мог сказать, что был представлен его дочери, мисс Руфи Фостер, и почтительно просит доктора разрешить им время от времени встречаться. Намерения у него честные, и лично он, несомненно, заслуживает внимания в качестве искателя руки мисс Фостер, поскольку к двадцати пяти годам, к тому же будучи цветным, он приобрел уже собственность.

– Мне о вас ничего не известно, – сказал доктор, – кроме имени, которое мне не нравится, но если дочь испытывает к вам склонность, я не буду противиться.

В действительности доктор знал о нем немало, он просто не считал возможным показать этому высокому молодому человеку, насколько он ему благодарен. Хотя доктор любил свое единственное дитя и после смерти матери она была незаменима в доме, ее обожание в последнее время начинало его все больше сердить. Руфь буквально затопила его своей нежностью; ласковость, когда-то восхищавшая его в ребенке, в полной мере сохранилась и сейчас. Поцелуй, которым она каждый вечер его награждала, прощаясь на ночь, свидетельствовал и о редкостном терпении доктора, и о незаурядной неповоротливости ее ума. В шестнадцать лет она требовала, как прежде, чтобы он садился к ней на кровать, потом ласкалась к нему и целовала его. То ли умершая жена была для него все еще жива до боли, то ли Руфь уж слишком напоминала мать. А скорей всего, его сердил восторг, каждый раз озарявший лицо Руфи, когда он наклонялся к ней, чтобы поцеловать, – восторг, который он считал неуместным.

Ничего подобного он, разумеется, не стал излагать молодому человеку, явившемуся к нему с визитом. Благодаря этому обстоятельству Мейкон Помер сохранил незыблимую веру в магическую силу ключей.

Тут размышления Мейкона были прерваны: кто-то торопливо барабанил в окно. Он поднял голову, увидел Фредди, заглядывавшего к

нему в комнату сквозь золотые буквы, и кивнул, чтобы тот вошел. Фредди, золотозубый, щуплый, в весе петуха, был наилучшим глашатаем города, которого выдвинуло из своих рядов Южное предместье. Точно так же торопливо барабанил он в зеркальное стекло, так же сверкали в улыбке его золотые зубы, когда он выкрикнул слова, ныне известные всем: «Мистер Смит о землю шмякнулся!» Не приходилось сомневаться, что и сейчас Фредди явился с вестями о новом бедствии.

– Портер в стельку напился! Вытащил дробовик!

– А кого он собирается ухлопать? – Мейкон тут же принялся закрывать счетные книги и выдвигать ящики письменного стола. Портер был его жильцом, и как раз на следующий день ему предстояло внести квартирную плату.

– Так чтобы специально – вроде никого. Просто высунулся из чердачного окна и дробовиком размахивает. Говорит, до завтрашнего утра уж кого-нибудь да убьет.

– Он ходил сегодня на работу?

– Ходил. Получил десятку.

– Всю пропил?

– Нет. Купил одну только бутылку, у него еще денег навалом.

– Кто же продал ему спиртное, ненормальный какой-то, что ли?

Фредди ощерил в улыбке золотые зубы, но промолчал, и Мейкон понял: Пилат. Он запер все ящики, кроме одного – этот же, единственный, он отпер и достал оттуда небольшой револьвер 32-го калибра.

– Полиция ведь предупредила всех бутлегеров окрест, и все равно он где-то достает спиртное. – Мейкон все еще продолжал делать вид, будто не знает, что Портер и все остальные – взрослые, дети, собаки – всегда могут купить вино у его же собственной сестры. И он в сотый раз подумал, что ей самое место в тюрьме и он с удовольствием бы засадил ее туда, если бы не опасался, что она опозорит его перед всеми и к нему утратят уважение те, кто служит в суде и в банках.

– Умеете обращаться с этой штукой, мистер Помер, сэр?

– Умею.

– Портер ведь совсем как сумасшедший, когда напьется.

– Знаю я, какой он.

– Как вы хотите до него добраться?

– Я не хочу до него добираться. Добраться я хочу до своих денег. А потом пусть отправляется в пекло, если ему так угодно. Но вот если он сперва не сбросит вниз причитающуюся мне квартирную плату, я его тут же пристрелю.

Фредди хихикнул совсем негромко, но так сверкнул золотыми зубами, что было ясно: он в восторге. Прирожденный лакей, он обожал всякие сплетни. Он был ухом, которое улавливало любой намек на жалобу, любое имя; и глаз его замечал все: тайные взгляды, драки, новые платья.

Мейкон знал, что Фредди дурак и лжец, но лжец надежный. События он всегда излагал верно, искажал лишь обстоятельства, послужившие причиной этих событий. В данном случае, к примеру, он не врал, что Портер схватил ружье и сидит возле чердачного окна, в стельку пьяный. Но вот убивать кого-то там, точнее – кого угодно, Портер вовсе не намерен. Мейкон совершенно точно знает, кого Портер собирается убить – себя, но тем не менее уже начал словесную подготовку – орет с чердака во все горло.

– Женщину мне дайте! Пришлите сюда бабу! Слыхали? Сказано вам, пришлите мне кого-нибудь сюда, не то я вышибу себе мозги!

Приближаясь к двору, Мейкон и Фредди слышали, как откликаются на эту просьбу женщины из соседнего меблированного дома:

– А почему будешь платить?

– Ты сперва застрелись, тогда пришлем тебе кого-нибудь.

– Что это тебе так приспичило?

– Больше ты ничего не хочешь?

– Убери свою игрушку и сейчас же сбрось мне вниз квартирную плату, скотина! – Крик Мейкона перекрыл гомон женских голосов. – Переправь мне мои доллары, холера, а потом стреляйся на здоровье.

Портер тут же повернулся к ним и прицелился в Мейкона.

– Если ты уж собрался жать на курок, – крикнул Мейкон, – не дай тебе бог промахнуться. Постарайся уложить меня на месте, а не то я сам пристрелю тебя как собаку! – Тут он вытащил свое оружие. – Отойди от окна, сукин сын, отойди, да побыстрее, слышишь?

Портер колебался лишь одну секунду, затем повернул ружье к себе дулом, вернее, попытался повернуть. Ружье было длинное, что затрудняло его задачу; сам же он был пьян, и это делало задачу невозможной. Он старался повернуть его так, чтобы удобней было выстрелить под нужным углом, и вдруг отвлекся. Прислонил ружье к подоконнику, расстегнул брюки и стал мочиться прямо на головы стоящих внизу женщин; те с криком разбежались – дробовик такого ужаса у них не вызвал. Мейкон поскреб в затылке, а Фредди скорчился от смеха.

Больше часа промытарил их Портер: он пригибался, прятался, орал не своим голосом, грозил, мочился и все время требовал себе женщину.

То вдруг его начинали сотрясать горькие рыдания, и он выкрикивал:

– Да ведь люблю я вас! Всех вас люблю! Чего же вы-то со мной так? Бабы! Ну будет вам. Не надо. Неужто вы не видите, я вас люблю. Я помереть за вас готов или кого угробить. Говорю вам, я всех вас люблю. Говорю же вам. Господи, смилуйся надо мною. Ну чего мне делать? Жизнь ты моя распроклятая, ну чего, чего мне дела-а-ать?

По его лицу струились слезы, и он нежно прижимал к себе дуло дробовика, словно это та самая женщина, которую он себе просит, которую разыскивает всю жизнь.

– Боже, пошли мне ненависть, – всхлипывал он. – Ненависть я приму хоть сейчас. Только любви мне больше не посылай. Любви я больше не могу принять, Господи. Я ее не вынесу. Совсем как мистер Смит. Он не смог ее вынести. Больно тяжела она. Уж ты-то знаешь, Иисусе. Ты знаешь о ней все. Тяжела, ведь верно, Иисусе? Верно ведь, любовь

тяжела? Неужто ты не видишь, Господи? Собственный твой сын не смог ее вынести. И если уж она его убила, как ты думаешь, что она сотворит со мной? Что? Ну что? – Он снова начинал сердиться.

– Да спускайся ты наконец, зараза! – гаркнул Мейкон все так же громко, но в его голосе звучала усталость.

– А ты, ты недоношенный бабуин. – Портер безуспешно пробовал в него прицелиться. – Ты хуже всех. Вот тебя надо убить, вот тебя-то уж убить надо. Знаешь почему? Ладно, я тебе скажу. Я-то знаю. Все знают...

Бормоча: «Все знают», Портер рухнул на подоконник и тут же уснул. Ружье выскользнуло у него из руки, грохоча покатилося по крыше, ударилось о землю и выстрелило. Пуля чиркнула по ботинку какого-то зеваки и продырявила шину ободранного «Доджа».

– Ступай и принеси мне деньги, – сказал Мейкон.

– Я? – ужаснулся Фредди. – А вдруг он...

– Ступай и принеси мне мои деньги.

Портер громко храпел. Его младенческого сна не потревожили ни выстрел, ни шаривший по его карманам Фредди.

Когда Мейкон вышел со двора, солнце уже скрылось за зданием хлебной компании. Раздраженный, усталый, он шел по Пятнадцатой улице и, проходя мимо одного из своих домов, бросил взгляд на его силуэт, таявший в полусумерках. То здесь, то там на улицах маячили у него за спиной его дома, как призраки с подслеповатыми глазами. Он не любил глядеть на них, когда сгущалась темнота. Днем они внушали ему чувство уверенности, но сейчас казалось, они ему вовсе не принадлежат, чудилось даже, будто дома, вступив между собой в сговор, хотят, чтобы он ощутил себя здесь чужаком, безземельным, неимущим бродягой. Ему стало так сиротливо, что он решил выйти на Недокторскую напрямик, пусть даже для этого надо будет пройти мимо сестриного дома. Становилось все темнее, и он не сомневался, что Пилат его не заметит. Он пересек проходной двор и двинулся вдоль изгороди, упирившейся в Дарлинг-стрит, где жила Пилат в узком одноэтажном доме, фундамент которого, казалось, не был заложен в землю, а вырастал из нее. В доме не было электричества, так как Пилат не желала за него платить. Газа тоже не было. По вечерам они с дочкой зажигали керосиновые лампы и

свечи, стряпали и топили на угле и дровах, воду в кухню перекачивали шлангом из колодца, то есть жили так, будто слова «прогресс» не существует.

Дом стоял немного в глубине, в восьмидесяти футах от тротуара, а за ним росли четыре огромных сосны; иглами с этих сосен Пилат набивала матрасы. Он взглянул на сосны и тут же вспомнил ее рот; в детстве она любила жевать сосновые иглы, и от нее даже тогда пахло лесом. Целых двенадцать лет он относился к ней не как к сестре, а словно к своему ребенку. После того как испустила дыхание мать, Пилат выбралась из ее чрева, не подталкиваемая пульсацией мускулов и быстрым током вод. А в результате живот у нее был гладкий и упругий, как спина, – пупка на нем не было. Отсутствие пупка внушило всем окружающим мысль, что Пилат явилась в этот мир иным путем, чем все прочие люди, что она никогда не лежала, не колыхалась, не росла в чем-то теплом и жидком, связанная тоненькой трубочкой с телом матери, питающим ее. Мейкон-то знал, что это не так, ведь он во время родов стоял тут же, рядом, он видел глаза акушерки, когда ноги матери вдруг вытянулись и застыли, и он слышал ее крик, когда дитя, как они оба полагали, умершее тоже, выбралось мало-помалу головкой вперед из неподвижной, тихой, теперь ко всему безразличной пещеры – материнской плоти – и вытащило собственную пуповину и послед. Остальное же все правда. Как только отрезали пуповину, то, что от нее осталось, высохло, съежилось и отпало, не оставив следов, и брат-подросток, нянчивший малышку, считал ее живот не более странным, чем безволосую головку. И лишь когда ему исполнилось семнадцать и он безвозвратно расстался с сестрой и пустился уже в погоню за богатством, он понял, что такого живота, как у нее, по всей вероятности, нет больше ни у кого на свете.

Приближаясь к ее дворику, он уповал, что никто из находящихся в доме не увидит его в темноте. Он даже не глядел в сторону дома, поравнявшись с ним. Но тут до его слуха донеслась мелодия. Они пели. Пели все. Пилат, Реба и Агарь, дочь Ребы. На улице ни души; все, наверное, сейчас сидят за ужином, слизывают с пальцев подливку, дуют на блюдечки с кофе и, несомненно, судачат о том, какой номер выкинул сегодня Портер и как бесстрашно его утихомирил Мейкон. В этой части города не было уличных фонарей, только луна освещала путь. Мейкон шел и шел, стараясь не замечать несущиеся вслед ему голоса. Шел он быстро – еще немного, и пения не будет слышно, – как вдруг увидел,

словно картинку на обороте почтовой открытки, то, что ожидает его там, куда он так спешит, – свой дом: узкую, упрямую спину жены; дочерей, перекипевших досуха за годы подавляемых надежд; сына, к которому он обращается только тогда, когда нужно что-то приказать или отругать его за что-то. «Здравствуй, папа». – «Здравствуй, сын, заправь рубашку в брюки». – «Я нашел мертвую птичку, папа». – «Не таскай домой всякую дрянь...» Там нет музыки, а ему хотелось в этот вечер чуть-чуть музыки – и услышать ее он мог от сестры, от самого первого существа, предоставленного его заботам.

Он повернулся и медленно зашагал к дому. Оттуда доносилось пение, а запевала Пилат. Сначала слышался ее голос, а два других подхватывали мелодию, вели ее дальше. Ее звучное контральто, потом вторящее ему резкое сопрано Ребы и тихий голос девочки, Агари, которой сейчас, вероятно, лет десять-одиннадцать, тянули его к себе, как магнит притягивает гвоздик.

И, покоряясь звукам мелодии, Мейкон придвигался все ближе. Ему не хотелось, чтобы его заметили, не хотелось ни с кем говорить, ему хотелось только слушать, да, вероятно, еще видеть всех троих – источник этой мелодии, слушая которую он почему-то вспоминал поля, диких индеек, ситцевые платья. Стараясь двигаться бесшумно, он подобрался к крайнему окну, у которого мерцал самый маленький огарок, и украдкой заглянул туда. Реба обрезала ногти на ноге то ли кухонным ножом, то ли перочинным, и ее длинная шея клонилась чуть не до колен. Девочка, Агарь, заплетала косы, а Пилат, стоявшая спиной к окну, что-то помешивала в горшке. По всей вероятности, фруктовую массу, из которой она гонит вино. Мейкон знал: она готовит не еду, ведь в этом доме все питаются как дети. Что захочется, то и едят. Здесь не думают заранее, какую еду приготовить, что сегодня купить в лавке, здесь не накрывают на стол. Да и за стол всей семьей тут никогда не садятся. Испечет Пилат свежего хлеба, вот каждая и отрезает себе по куску, мажет маслом и ест, пока не наестся. Или останется, скажем, виноград, из которого давили вино, или персики, и они только их и едят. А то одна из них купит галлон молока, и они пьют его, пока все не выйдет. Потом другая принесет полбушеля помидоров или дюжину початков кукурузы, и опять же – пока все не выйдет – едят. Едят то, что оказалось в доме, что случайно попало, или то, что вдруг захотелось купить. Все, что давала торговля вином, испарялось, как вода морская

под порывами жаркого ветра, – на дешевые украшения для Агари, на подарки, которые Реба дарит своим мужчинам, и еще черт знает на что.

Скрытый темнотой у окна, он ощущал, как его покидает накопившаяся за день раздраженность, и наслаждался безыскусственной красотой женских голосов, звучащих в комнате, освещенной свечами. Нежный профиль Ребы, руки Агари, перебирающие пряди густых волос, и Пилат. Ее лицо он знает лучше, чем свое. Когда она поет, ее лицо как маска: все чувства, все страсти покинули его, влились в голос. Но он знает, что, когда она не разговаривает и не поет, лицо ее оживляют постоянно движущиеся губы. Потому что она вечно что-то жует. И ребенком, и совсем молоденькой девушкой она всегда что-то совала в рот: соломинку от веника, хрящик, пуговицы, зерна, листья, кусочек бечевки и самое любимое – Мейкон специально их для нее добывал – аптечную резинку или ластик. Ее губы постоянно находились в движении. Стоя рядом с ней, никогда не поймешь, то ли она хочет улыбнуться, то ли просто выковыривает языком соломинку, застрявшую между зубами. Перекладывает ли резинку за другую щеку или в самом деле улыбается. Со стороны кажется, она шепчет себе что-то под нос, а на самом деле разгрызает передними зубами какие-то мелкие зерна. Губы у нее темнее кожи – от вина, от сока ежевики, и кажется, она накрутила губы очень темной помадой, а потом, чтоб не блестели, промокнула клочком газеты.

Воспоминания и льющаяся за окном мелодия постепенно успокаивали, смягчали его, а тем временем пение смолкло. Кругом безветренно, тихо, а Мейкону почему-то все не хочется уходить. Ему нравится смотреть вот так на них. Они не сдвинулись с места. Просто перестали петь, и Реба продолжает стричь ногти, Агарь расплетает и заплетает косы, а Пилат помешивает в горшке, покачиваясь, словно ива.

Глава 2

Только Магдалина, именуемая Линой, и Первое Послание к Коринфянам радовались от души, когда большой «Паккард» съезжал, плавно и бесшумно, с подъездной дороги. Из всех, сидевших в машине, только они блаженно замирали, прикасаясь к плюшевым сиденьям. Каждая устраивалась у окна, и ничто не мешало им видеть несущийся навстречу летний день. И каждая была уже достаточно взрослой и в то же время достаточно юной, чтобы поверить, будто они и впрямь едут на королевской колеснице. Устроившись на заднем сиденье, так что

Мейкон и Руфь не могли следить за каждым их движением, девочки сбрасывали туфли, спускали чулки и во все глаза глядели на прохожих.

Эти воскресные поездки превратились в ритуал, для Мейкона приятный, а главным образом – важный. Они помогали ему убедиться, что он действительно достиг успеха. Руфь не испытывала столь горделивых чувств, тем не менее и ей хотелось показать людям свое семейство. Малыш же просто маялся. Зажатый между родителями на переднем сиденье, он видел только крылатую женщину на радиаторе. Сидеть во время поездки у матери на руках ему не разрешалось – не потому, что мать не позволяла, а потому, что возражал отец. Только став коленями на обтянутое сизым плюшем сиденье и глядя в заднее оконце, он мог увидеть что-нибудь, кроме рук и ног своих родителей, «Паккарда» и накренившейся навстречу ветру серебряной крылатой женщины на радиаторе. Но он скверно чувствовал себя, когда ехал задом наперед. Словно летишь вслепую и не знаешь, что будет впереди, а знаешь только, что осталось позади, и от этого становится не по себе. Ему не хотелось видеть деревья, мимо которых он уже проехал, видеть, как дети и дома уплывают в оставшееся позади пространство.

«Паккард» Мейкона Помера медленно катил по Недокторской, пересекал плебейскую часть города (известную впоследствии под названием Донорский пункт, ибо там нередко были кровопролития) и, объехав стороной центр, направлялся к кварталам предместья, где жили богатые белые. Кое-кто из чернокожих, увидев машину, с благодушной завистью вздыхал – красота, высокий класс. В 1936 году среди них было мало таких зажиточных, как Мейкон Помер. Другие провожали взглядом катившую мимо семью, чуть-чуть завидуя, но прежде всего забавляясь, потому что этот широченный зеленый «Паккард» противоречил всем их представлениям о том, каким положено быть автомобилю. Мейкон никогда не делал больше двадцати миль в час, никогда не газовал и никогда не вел машину один-два квартала на первой скорости, дабы всласть покрасоваться перед пешеходами. Ни разу у него не лопнула шина, ни разу не вышел в дороге бензин, после чего пришлось бы обращаться к дюжине сияющих оборванных мальчишек с просьбой подтолкнуть машину в гору или подвести к обочине тротуара. Никогда он не привязывал отваливающуюся дверцу веревкой, и ребятишки никогда не вскакивали на подножку его машины, чтобы прокатиться. Сидя за рулем, он никого не окликал, и никто не окликал его. Ему ни разу не случилось вдруг затормозить и дать задний ход, чтобы

поболтать и посмеяться с приятелем. В открытых окнах машины никогда не виднелись пивные бутылки и вафельные стаканчики с мороженым. Никогда не выставляли к окну помочиться мальчугашку. И дождь не капал на крышу машины, если Мейкону удавалось этого избежать, а к «Магазину Санни» он ходил пешком – «Паккардом» же пользовался только для парадных выездов. Мало того, люди даже сомневались, сидела ли когда-нибудь хоть одна женщина на заднем сиденье этой машины, а ведь ходили слухи, что Мейкон посещает «нехорошие дома» и что ему случается порой переспать со сговорчивой или одинокой жилицей. А потому сверкающие глаза Магдалины, называемой Линой, и Первого Послания к Коринфянам были единственным проблеском подлинной жизни в унылом и мрачном «Паккарде». Вот люди и прозвали его катафалком Мейкона Помера.

Первое Послание к Коринфянам запустила пальцы себе в волосы и провела ими по голове. Волосы у нее были длинные и пушистые, цвета сырого песка.

– Мы куда-то едем или просто катаемся? – Она внимательно разглядывала из окна прохожих.

– Осторожней, Мейкон. Каждый раз на этом месте ты неправильно поворачиваешь, – раздался справа тихий голос Руфи.

– Может быть, ты поведешь машину? – сказал Мейкон.

– Ты знаешь, я не умею водить.

– Тогда позволь мне самому этим заняться.

– Пожалуйста, только пеняй на себя, если...

Мейкон мягко свернул на левую развилку шоссе, ведущую через центр в одно из фешенебельных предместий.

– Папа! А куда мы едем?

– В Онор, – ответил Мейкон.

Магдалина, именуемая Линой, еще ниже опустила чулки.

– Это на озере? А что там? Там же никого и ничего нет.

– Там загородные участки на берегу. Твой отец хочет взглянуть на них, Лина. – Руфь взяла себя в руки и опять вступила в разговор.

– А зачем? Там только белые живут, – сказала Липа.

– Там не всюду белые живут. Есть и пустые участки. Незастроенные. На той стороне, если проехать немного подальше. Там можно разбить участки для цветных. Построить летние домики. Ты понимаешь, что я имею в виду? – Мейкон взглянул в зеркальце на лицо дочери.

– Но кто там будет жить? Цветные ведь не могут иметь два дома сразу, – возразила Лина.

– Преподобный Коулс может, и доктор Синглтон, – заметила Коринфянам.

– И еще этот адвокат... забыла, как его фамилия? – Руфь поглядела на Коринфянам, но та молчала.

– А еще, наверное, Мэри. – Лина засмеялась. Коринфянам устремила на сестру холодный взгляд.

– Папа не станет продавать участок официантке. Папа, неужели ты позволишь нам жить рядом с официанткой?

– Но если ей принадлежит этот участок, Коринфянам, – сказала Руфь.

– Мне все равно, что ей принадлежит. Кто она такая – вот что важно. Да, папа? – В поисках поддержки Коринфянам повернулась к отцу.

– Ты слишком быстро едешь, Мейкон. – Руфь упиралась носком туфли в пол.

– Если ты не прекратишь учить меня водить машину, то отправишься домой пешком. Я не шучу.

Магдалина, именуемая Линой, наклонилась вперед и положила на плечо матери руку. Руфь молчала. Мальчуган брыкнул ногой.

– Прекрати! – сказал Мейкон.

– Мне нужно в туалет, – ответил сын.

Коринфянам схватилась за голову:

– О господи!

– Но ты же был там, – сказала Руфь.

– Мне нужно! – В его голосе слышались плаксивые нотки.

– Ты уверен? – спросила мать. Он посмотрел на нее. – Пожалуй, придется остановиться, – сказала, ни к кому не обращаясь, Руфь. Она мельком глянула в окно – городские улицы остались позади.

Мейкон ехал, не снижая скорость.

– А себе мы тоже купим участок на берегу или ты просто продаешь землю?

– Я ничего не продаю. Собираюсь купить и сдавать ее в аренду, – ответил дочери Мейкон.

– Ну, а мы сами...

– Мне нужно выйти, – снова перебил малыш.

– ...тоже будем там жить?

– Возможно.

– Одни? Или кто-то еще? – с любопытством спрашивала Коринфянам.

– Не могу сказать. Но через несколько лет... скажем, лет через пять, а может, десять, многие цветные разбогатеют так, что смогут покупать себе там участки. Многие, попомни мое слово.

Магдалина, именуемая Линой, глубоко вздохнула.

– Вон там можно было бы остановиться, папа. А то он напрудит на сиденье.

Мейкон посмотрел на нее в зеркальце и замедлил ход.

– Кто с ним выйдет? – Руфь нерешительно взялась за ручку двери.

– Только не ты, – сказал ей Мейкон.

Руфь подняла глаза на мужа. Хотела что-то сказать, но промолчала.

– И не я, – это заявила Коринфянам. – У меня туфли на высоких каблуках.

– Пошли, – вздохнула Лина. Они вышли из машины, маленький мальчик и взрослая сестра, и скрылись среди деревьев, которые подступали в этом месте к самому шоссе.

– Так ты в самом деле думаешь, в нашем городе есть много цветных – я говорю о приличных людях, – которые бы захотели купить там участок?

– Им совсем не обязательно жить в нашем городе, Коринфянам. В летний домик можно ездить на машине. Белые всегда так делают. – Мейкон побарабанил пальцами по рулю – он не выключил мотор, и руль слегка подрагивал.

– Негры не любят воду, – хихикнула Коринфянам.

– Полюбят, когда она станет их собственностью, – сказал Мейкон. Он выглянул в окно и увидел, как из-за дерева показалась Магдалина, именуемая Линой. В руке она держала большой и яркий букет цветов, но лицо было сердито насуплено. На подоле ее голубого платья темнели мокрые пятна, похожие на следы от пальцев.

– Он меня обрызгал, – сказала она. – Он меня обрызгал, мама. – Она чуть не плакала.

Руфь сочувственно причмокнула языком. Коринфянам засмеялась:

– Я же говорила, негры не любят воду.

Мальчик сделал это не нарочно. Лина отошла в сторонку и стала рвать цветы, потом вернулась, а он, хотя еще и недоделал, быстро повернулся, услышав у себя за спиной звук шагов. Так уж он привык – он все время был сосредоточен на том, что происходит у него за спиной. Словно будущего для него не было.

Но если будущее так и не объявилось, зато раздвинуло свои пределы настоящее, и малыш, так неуютно чувствовавший себя в «Паккарде», пошел в школу и в возрасте двенадцати лет встретил мальчика, который не только освободил его от наваждения, но и привел в дом женщины, связанной с его будущим в такой же мере, как и с прошлым.

Гитара сказал, что он ее знает. Даже был у нее в доме.

– Ну и как там? – спросил Молочник.

– Свет... прямо глаза слепит, – сказал Гитара. – Свет и все коричневое. А еще запах.

– Скверный запах?

– Не знаю. Ее запах. Узнаешь сам.

Все невероятные и в то же время вполне правдоподобные истории о сестре его отца, о женщине, к которой отец запретил ему даже подходить близко, вскружили голову обоим мальчуганам. И тому и другому хотелось немедленно, сейчас же все узнать – у них и право есть все выяснить, и причина. Если на то пошло, Гитара с ней знаком, а Молочник – ее племянник.

Она сидела на ступеньке своего дома, широко расставив ноги, одетая в длинное черное платье с длинными рукавами. Голова у нее тоже была повязана чем-то черным, и единственным ярким пятном – они заметили его еще издали – был апельсин, который она чистила. Она вся состояла из острых углов, вспомнил он впоследствии, – колени, локти. Стопа одной ноги нацелена на восток, второй – на запад.

Потом, когда они подошли ближе и смогли разглядеть медную коробочку, прицепленную к мочке ее уха, Молочник понял, что и эта странная серьга, и апельсин, и нелепое черное одеяние так притягивают к ней, что перед этой притягательной силой пасуют и все предостережения, и отцовская мудрость.

Гитара заговорил первым: он был постарше, ходил уже в среднюю школу, и в отличие от приятеля ему не нужно было преодолевать себя и делать над собой усилие.

– Э-эй! – сказал он.

Женщина окинула мальчиков взглядом. Сперва Гитару, потом Молочника.

– Что это за слово ты сказал?

Ее голос звучал мягко, но в то же время что-то как бы постукивало в нем. Молочник не сводил глаз с ее пальцев, продолжавших чистить апельсин. Гитара усмехнулся и пожал плечами.

– Я хотел сказать: здрасьте.

– Тогда и говори то, что хотел сказать.

– Ладно. Здрасьте.

– Так-то лучше. Что вам нужно?

– Ничего. Мы просто мимо шли.

– Не шли, а пришли – так мне кажется.

– Если вы хотите, чтобы мы ушли, мисс Пилат, мы уйдем, – негромко проговорил Гитара.

– Я-то ничего не хочу. Это вы чего-то хотите.

– Мы хотим спросить у вас про одну вещь. – Гитара сбросил напускное безразличие. Прямота этой женщины требовала и от него, чтобы в разговоре с ней он высказывался определенно и точно.

– Спроси про эту вещь.

– Кто-то сказал, у вас нет пупка.

– Это и есть твой вопрос?

– Да.

– Что-то не похоже на вопрос. Скорей, похоже на ответ. А ты задай вопрос.

– Он есть у вас?

– Что есть?

– Пупок.

– Нету.

– А куда он девался?

– Понятия не имею. – Она сбросила на подол платья оранжевую кожуру и неторопливо отделила одну дольку. – Теперь, может, мой черед задать вопрос?

– Само собой.

– Кто твой приятель?

– Этот-то? Молочник.

– Он умеет разговаривать? – Пилат проглотила кусочек.

– Да, умеет. Скажи что-нибудь. – Не сводя глаз с Пилат, Гитара подтолкнул Молочника локтем.

Молочник глубоко втянул в себя воздух, задержал дыхание и сказал:

– Э-э... эй!

Пилат засмеялась.

– Из всех неповешенных негров вы, наверное, самые тупые. И чему вас только в школе учат? «Э-эй!» кричат овцам и свиньям, когда их куда-то гонят. А если ты человеку говоришь «э-эй!», ему бы надо встать да треснуть тебя хорошенько.

Он вспыхнул от стыда. Вообще-то он ожидал, что ему будет стыдно, но не так, а по-другому: он думал, он сконфузится, конечно, это да, но такое ему в голову не приходило. Ведь все же не он, а она – грязная, уродливая, нищая пьяница. Чудачка тетка, из-за которой его изводили

одноклассники и которую он ненавидел, ощущая, что каким-то образом он сам в ответе за ее уродливость, за нищету, за грязь, за пьянство.

И вдруг оказывается, это она насмехается над ним, над его школой и учителями. И хотя у нее в самом деле совершенно нищенский вид, взгляд у нее совсем не такой, как бывает у нищих. И не грязная она вовсе; неряшливая – да, но не грязная. Лунки ногтей как слонобая кость. Кроме того, или он совсем уж ничего не смыслит, или эта женщина абсолютно трезва. Разумеется, красивой ее никак не назовешь, но он чувствовал, что мог бы смотреть на нее целый день: на ее пальцы, обчищающие апельсиновые дольки, на ежевичные губы, словно покрашенные темной помадой, на эту странную серьгу... Женщина встала, и он чуть не вскрикнул. Он увидел, что она ростом с его отца, а он сам глядит на нее снизу вверх и плечи у него гораздо ниже, чем у нее. Платье же ее казалось таким длинным, лишь пока она сидела; на самом деле оно только прикрывало икры, и сейчас, когда она стояла, он видел незашнурованные мужские ботинки и серебристо-коричневую кожу на лодыжках.

Она стала подниматься по ступенькам, прижимая к себе рукой кожуру от апельсина, которую, еще сидя, уронила на подол, и выглядело это так, будто она держится за низ живота.

– Твоему папаше это не понравилось бы. Он тупых не любит. – Тут она посмотрела Молочнику прямо в лицо, одной рукой держась за ручку двери, а другой прижимая к себе кожуру. – Я твоего папашу знаю. И тебя я знаю.

Тут опять подал голос Гитара:

– Вы ему сестра?

– Единственная сестра. На всем белом свете трех Померов не наберется.

И вдруг Молочник, неспособный вымолвить ни слова после своего злосчастного «э-э-эй!», неожиданно для себя закричал:

– Я тоже Помер! И моя мама Помер! И мои сестры! Вы с ним вовсе не единственные!

Но, еще не закончив вопить, удивился, что это на него вдруг накатило, почему он с таким пылом отстаивает свое право на эту фамилию. Он всегда терпеть ее не мог, а до того, как подружился с Гитарой, терпеть не мог и свою кличку. Но в устах Гитары она зазвучала как-то осмысленно, по-взрослому. А вот сейчас, разговаривая с этой странной женщиной, он так разволновался, словно он бог весть как гордится своей фамилией, словно Пилат вознамерилась изгнать его из узкого круга избранных, принадлежать к которому не только его право, но и особая, законнейшая привилегия.

Едва умолкли его вопли и наступила тишина, как Пилат засмеялась.

– Хотите, я сварю вам яйца всмятку? – спросила она мальчиков.

Они переглянулись. Она сразу переключила их на другой ритм. Яиц они не хотели, зато хотели здесь остаться, войти в дом, где гонит вино эта женщина с одной серьгой, без пупка и похожая на высокое черное дерево.

– Нет, спасибо, нам бы только водички напиться, – улыбаясь, ответил Гитара.

– Ладно, заходите.

Она распахнула дверь, и они вошли вслед за ней в большую солнечную комнату, которая в одно и то же время казалась и захлавленной, и пустой. С потолка свисал мшисто-зеленый мешок. Повсюду свечи, вставленные в бутылки; к стенам приколоты кнопками вырезанные из журналов картинки и газетные статьи. Но обстановки никакой – только кресло-качалка, два стула с прямыми спинками, большой стол, раковина и печка. И все вокруг пропитано смолистым запахом хвои и перебродивших фруктов.

– Я вам все-таки сварю по штучке. Я хорошо варю их, как раз как надо. Белок должен быть твердоватым, ясно? А желток – мягким, но ни в коем случае не жидким. Когда в самый раз, он будто влажный бархат. Нет, попробуйте, правда, от вас не убудет.

Кожуру от апельсина она бросила в большой горшок, который, как почти все в этом доме, служил совсем не для той цели, для какой был поначалу предназначен. Потом подошла к раковине и стала наливать воду в синюю с белым узором миску, употребляемую вместо кастрюли.

– Значит, вода и яйцо должны встретиться между собой как бы на равных. Ни той, ни другому никаких преимуществ. Совершенно одинаковая температура. Сейчас я холодную воду чуть подогрею, а согреть не буду. Теплая вода мне ни к чему, ведь яйца-то комнатной температуры. Ну, а самый главный секрет – как кипятить. Когда с доньшка начнут подниматься маленькие пузырьки, с горошинку величиной, сразу же снимай кастрюлю, пока они не стали как мраморные шарики. Улови этот момент и снимай ее с огня. Только надо не огонь гасить, а снять кастрюлю. А потом накрой кастрюлю сложенной газетой и делай что-нибудь, что много времени не занимает. Ну, пойдешь, скажем, отопри дверь или выбрось мусор на помойку, а потом внеси ведро с переднего крыльца. Я обычно хожу в туалет. Только долго не сижу там, заметьте. Справлю малую нужду, вот и все. И если сделаете все в точности, как я рассказала, у вас получатся самые замечательные яйца всмятку.

Помню, никудышная я была стряпуха, когда готовила нашему отцу. Ну, а твой отец, – она ткнула большим пальцем в сторону Молочника, – совсем готовить не умел. Я как-то испекла ему сладкий пирог с вишнями, а верней, попробовала испечь. Мейкон был очень хороший мальчик и ко мне прекрасно относился. Жаль, что ты не знал его тогда. Он стал бы тебе другом, настоящим добрым другом, таким, каким был для меня.

Слушая ее голос, Молочник представлял себе гальку. Маленькие кругленькие камешки, которые ударяются друг о друга, подхваченные волной. То ли говорила она хрипловато, то ли как-то по-особенному произносила слова – и протяжно, и в то же время отрывисто. Смешанный хвойно-винный дух дурманил, как наркотик, дурманило и солнце, мощные потоки которого вливались в комнату без всяких преград, потому что на окнах не было ни штор, ни занавесок, окон же было множество – на каждой из трех стен по две штуки: по окну справа и слева от двери, по окну справа и слева от раковины и печи и два окошка в противоположной от двери стене. За четвертой стеной у них, наверное, спальня, подумал Молочник. От голоса, похожего на позвякивание гальки, от солнца, от дурманящего запаха вина мальчиков разморило, и они сидели в блаженном полубытии и слушали, а она все говорила, говорила...

– Если бы не твой папаша, я бы не стояла сейчас тут. Умерла бы в чреве матери. И еще раз умерла бы – потом, в лесу. Этот лес да непроглядная тьма наверняка бы меня убили. Но он спас меня, и вот,

пожалуйста, разговариваю с вами, яйца варю. Наш папа умер, вот ведь что. Бабахнули, и он взлетел в воздух на пять футов вверх. Он сидел на своем заборе, их дожидался, а они подкрались сзади, и он взлетел на пять футов вверх. Мы немного пожили в большом доме у Цирцеи, а потом нам некуда было идти, и мы пошли себе куда глаза глядят, и стали жить в лесу. Городов там нет, одни фермы. Но однажды папа возвратился к нам. Мы его сперва не узнали, ведь мы оба видели, как он в воздух взлетел. Мы тогда заблудились. Темнотища – ужас! Вы думаете, темнота всегда одного цвета, нет, куда там! Черный цвет – он разный. Можно пять, шесть видов его насчитать. Бывает шелковистый, а бывает вроде бы шерстистый. Бывает просто пустой. А еще бывает как пальцы. И все время разный. Чернота смещается, меняется. Назвать что-то черным – все равно как что-то назвать зеленым. Зеленый, говорят... а какой зеленый? Зеленый, как мои бутылки? Зеленый, как кузнечик? Зеленый, как огурец, как салат, или зеленый, как небо перед бурей? Так вот, с темнотой ночью точно так же обстоят дела. И то же самое с радугой.

Значит, заблудились мы, и ветер воет вовсю, и впереди маячит спина нашего папы. А мы дети, перепуганные дети. Мейкон все твердил мне, мол, мы боимся того, чего на самом деле не существует. А какая разница, существует то, чего мы боимся, или нет? Помню, как-то я стирала для мужа с женой, а было это в Виргинии. И вот однажды входит муж на кухню, весь дрожит и спрашивает, не сварила ли я кофе. Я говорю, что это вас так скрутило, уж больно вид у вас скверный, а он говорит, что и сам, мол, ничего не поймет, только ему почему-то кажется, что он вот-вот упадет со скалы. А под ногами у него линолеум, желтый, белый и красный, ровнехонький и гладкий, как утюг. Он сперва за дверь цеплялся, потом за стул, все старался не упасть. Я уж было чуть не брякнула, мол, нет никаких скал на кухне. И тут вдруг вспомнила, как мы шли по лесу тогда. Я как бы заново все это почувствовала. И спросила, может, его поддержать, чтобы не упал? А он посмотрел на меня с такой благодарностью. «Вот спасибо вам», – говорит. Я подошла к нему, обхватила руками, сцепила пальцы у него на груди и держала крепко-крепко. Сердце колотилось у него под жилеткой, как брыкается измученный зноем мул. Но успокоилось мало-помалу.

– Вы спасли ему жизнь, – сказал Гитара.

– Ничего подобного. Он не успел еще в себя прийти, как в кухню вошла его жена. Она меня спросила, что я делаю, а я ответила.

– Ответили... что? Что вы сказали ей?

– Сказала правду. Мол, я его держу, чтобы он не упал со скалы.

– Голову наотрез, ему тут самому захотелось прыгнуть с этой скалы. Быть того не может, чтобы его жена вам поверила.

– Сначала нет. Но как только я разжала руки, он рухнул на пол. Очки вдребезги, лицо разбил. Он ничком упал, прямо в пол лицом. И вот что я скажу вам. Падал он медленно, долго. Даю слово. Три минуты, целых три минуты ушло на то, чтобы человек свалился на тот самый пол, что был у него под ногами. Не знаю уж, была ли там скала, но он целых три минуты с нее падал.

– Он умер? – спросил Гитара.

– Сразу же дух вон.

– Кто застрелил вашего отца? Вы ведь сказали, его кто-то застрелил? – Глаза мальчика горели любопытством.

– Да, он взлетел на пять футов вверх...

– Кто в него стрелял?

– Кто – я не знаю, и почему – не знаю. Знаю только то, что вам сказала: что, где, когда.

– Вы не сказали где, – не отставал Гитара.

– Нет, сказала. На заборе.

– А где был забор?

– На нашей ферме.

Гитара расхохотался, но его сверкающие глаза особого веселья не выражали.

– А где была ферма?

– В округе Монтур.

Вопросы по поводу «где?» исчерпались.

– Ну ладно, а когда?

– Когда он там сидел, на том заборе.

Гитара почувствовал то же, что чувствует сыщик, все усилия которого потерпели крах.

– В каком году это было?

– В том самом году, когда прямо на улицах стреляли ирландцев. Револьверы поработали неплохо в том году, и могильщики тоже, это уж точно. – Пилат положила на стол крышку от бочонка. Потом вынула из миски яйца и принялась счищать с них скорлупу. Губы ее шевелились: она передвигала языком во рту апельсиновое зернышко. И только очистив яйца и разломив их, так что мальчики смогли убедиться: оранжевая сердцевинка и в самом деле была как влажный бархат, – Пилат продолжала рассказ. – Как-то утром мы проснулись, когда солнце прошло примерно четверть своего пути по небу. До чего же солнце было яркое. А небо – голубое. Как ленты на маминой шляпке. Видите ту полосу в небе? – Она указала в окно. – Вон там, за ореховыми деревьями. Видите? Прямо над ними.

Они глянули в окно и увидели за домами и деревьями полосу уходящего вдаль неба.

– Такой же цвет, – сказала она, будто сделав очень важное открытие. – Точно такого же цвета были ленты на маминой шляпке. Я запомнила эти ленты на всю жизнь. А вот как ее звали, не знаю. Когда мама умерла, папа никому не позволял называть вслух ее имя. Так вот, выстрел, значит, глаза нам запорошило песком, и не успели мы их протереть и хорошенько оглядеться, как видим, он сидит на пне. Сидит себе прямо на солнышке. Мы давай кричать да звать его, а он как-то мимо глядит, словно смотрит он на нас и в то же время не смотрит. И в лице у него что-то этакое, прямо жуть берет. Словно под водой его лицо, так оно выглядит. А потом немного погодя встает наш папа и уходит в тень и дальше в лес идет. И мы стоим и на тот пенек глядим. И дрожим, как листья на ветру.

Пилат неторопливо собирала в кучку яичную скорлупу, осторожно сгребая ее растопыренными пальцами. Мальчики напряженно замерли:

они боялись сбить ее неосторожным словом и боялись все время молчать – а вдруг она перестанет рассказывать дальше.

– Как листья на ветру, – пробормотала она, – совсем как листья.

Внезапно она встрепенулась, и у нее вырвался крик, напоминавший уханье совы:

– У-у-у! Иду, сейчас иду.

Ни Молочник, ни Гитара не слышали, что к дому кто-то подошел, но Пилат уже вскочила и бросилась к двери. Не успела она до нее добежать, как кто-то распахнул ее ударом ноги, и Молочник увидел согнутую девичью спину. Девушка тащила, ухватившись за край, большую, на пять бушелей, корзину, наполненную ягодами, похожими на ежевику, а какая-то женщина подталкивала корзину с другой стороны, приговаривая: «Осторожно, детка, тут порожек».

– Все уже, – ответила ей девушка. – Толкай.

– Самое время, – сказала Пилат. – Вот-вот стемнеет.

– У Томми грузовик сломался, – тяжело дыша, пояснила девушка. Когда они наконец втащили в комнату корзину, девушка выпрямилась и повернулась к ним лицом. Но Молочнику совсем не обязательно было видеть ее лицо: он влюбился в нее, еще когда она стояла к нему спиной.

– Агарь, – Пилат обвела взглядом комнату, – это Молочник, твой брат. А это его друг. Как тебя звать-то, красавец?

– Гитара.

– Любишь, что ли, на гитаре играть?

– Он ей вовсе не брат, мама. Они двоюродные, – сказала женщина, толкавшая корзину.

– Это все равно.

– Совсем не все равно. Верно, детка?

– Верно, – сказала Агарь. – Есть разница.

– Вот видишь. Разница есть.

– А какая же разница, Реба? Ты у нас все знаешь.

Реба посмотрела в потолок:

– Брат называется братом, если у вас обоих одна и та же мать или если оба вы...

Тут Пилат ее перебила:

– Я спрашиваю, есть ли разница в том, как ты относишься к родным и к двоюродным? Разве ты не одинаково к ним относишься?

– Не в этом дело, мама.

– Замолчи, Реба. Я говорю с Агарью.

– Верно, мама. И к родным и к двоюродным нужно относиться одинаково.

– Ну а тогда зачем понадобилось их неодинаково называть, если никакой разницы нет? – Реба подбоченилась и сделала большие глаза.

– Пододвиньте-ка сюда качалку, – сказала Пилат. – Если хотите помочь нам, мальчики, вам придется встать с места.

Женщины волоком подтащили на середину комнаты корзину, полную коротеньких колючих веточек ежевики.

– Что нужно делать? – спросил Гитара.

– Оборвать с этих проклятых веток ягодки и постараться их не раздавить. Реба, давай сюда второй чугунок.

Агарь, пышноволосая, с огромными глазами, оглядела комнату.

– Может, внести сюда кровать из спальни? Тогда мы все усядемся.

– Для меня и пол сгодится, – заметила Пилат и, присев на корточки, осторожно вытащила веточку из корзины. – Это все, что вы раздобыли?

– Нет, не все. – Реба катила по полу огромный чугунок. – Там еще две корзины во дворе остались.

– Внесли бы вы их в комнату. А то мухи налетят.

Агарь направилась к двери, махнув Молочнику рукой:

– Пойдем, братик. Ты мне поможешь.

Молочник вскочил со стула, опрокинув его, и кинулся вслед за Агарью. Ему казалось, он никогда еще не видел такой красавицы. Она намного, очень намного старше его. Она, наверное, ровесница Гитары, а может, ей уже и все семнадцать. Ему казалось, будто он парит. Буквально парит в воздухе – он никогда еще не был таким оживленным. Вдвоем с Агарью они втащили обе корзины по ступенькам крыльца, а затем в комнату. Девушка была такая же крепкая и сильная, как он.

– Осторожно, Гитара. Не торопись. Ты их все время давишь пальцами.

– Оставь его в покое, Реба. Пусть он сперва приноровится. Я тебя спрашивала, любишь ли ты на гитаре играть. Тебя поэтому прозвали Гитарой?

– Нет, играть я не умею. Я научиться хотел. Когда был еще маленьким-маленьким. Мне про это рассказали потом.

– А где ты ее увидел, гитару?

– В одном магазине был объявлен такой приз, еще когда я жил во Флориде. Мать пошла раз в город и меня с собой взяла. Я был совсем малышом. Там и устроили состязание, вы, верно, знаете, когда нужно угадать, сколько горошинок в большой стеклянной банке, и за это выиграешь гитару. Ох, разревелся я тогда, просто ужас, говорят. И потом все время ее требовал.

– Тебе бы нашу Ребу попросить. Получил бы свою гитару.

– Нет, ее нельзя было купить. Надо было угадать, сколько горошин в банке.

– Слышу, слышала уже. Реба и сказала бы тебе, сколько горошин. Реба всегда выигрывает. Ей еще ни разу не случалось проиграть.

– В самом деле? – Гитара заулыбался, хотя и недоверчиво. – Везет ей, значит?

– Еще как везет, – усмехнулась Реба. – Ко мне откуда только не приходят попросить, чтобы вытащила за кого-нибудь лотерейный билет или сказала, на какой номер поставить. Люди часто выигрывают по моим подсказкам, а я вообще всегда. Если захочу что-нибудь выиграть, выиграю непременно, и еще многое, чего и выиграть-то не хочу.

Словом, дошло до того, что ей теперь совсем не продают лотерейных билетов. Только просят: потяни вместо меня.

– Это видел? – Реба сунула руку за вырез платья и вытащила привязанное к шнурку бриллиантовое кольцо. – Я его выиграла в прошлом году. Я была... как это говорится, мама?

– Пятисоттысячная.

– Пятьсот... нет, не так. Они мне как-то по-другому сказали.

– Полмиллионная – вот как они сказали.

– Правильно. Полмиллионный покупатель, который зашел в магазин Сирса и Робака. – Она захохотала, весело и гордо.

– Ей не хотели его отдавать, – вмешалась Агарь, – вид у нее неподходящий.

Гитара удивился:

– Я помню, как присуждали этот приз, но, хоть убейте, я ни звука не слышал, что его выиграла цветная женщина. – Он шатался по улицам целые дни напролет и был уверен, что ему известны все городские события.

– Никто этого не слышал. Они все ждали, и фотографии уж были наготове, когда в дверь следующий войдет, кому приз получать. Только фотографию мою так и не напечатали в газете. На ней я была, а сзади еще мама глядит, верно? – Как бы ожидая подтверждения, она взглянула на Пилат и продолжала: – Напечатали они фотографию человека, которому дали второй приз. Он выиграл облигацию военного займа. Он был белый.

– Второй приз? – переспросил Гитара. – Как это – второй? Тут одно из двух: или ты полмиллионный, или нет. Не может же выиграть следующий за полмиллионным.

– Может – если это Реба, – сказала Агарь. – Они только потому и придумали второй приз, что Реба оказалась первой. А кольцо ей дали только потому, что ее успели сфотографировать.

– Расскажи-ка им, как ты попала в магазин Сирса, Реба.

– Уборную искала. – Реба запрокинула голову, чтобы отсмеяться всласть. Ее руки были вымазаны соком ежевики, а утирая выступившие от смеха слезы, она оставила красные полосы на щеках. Реба была гораздо светлее, чем Пилат и Агарь, с бесхитростными ребячьими глазами. Собственно, все они выглядели простодушными, все три, но в лицах Пилат и Агари угадывалась какая-то значительность, сложность. И лишь уступчивая, ласковая Реба с прыщеватой светлой кожей выглядела так, словно ее простодушие, возможно, всего лишь пустота.

– В центре города есть только две уборные, куда пускают цветных: в ресторане «Мейфлауэр» и у Сирса. Сирс оказался поближе. Хорошо еще, мне не очень приспичило. Они меня продержали целых пятнадцать минут, записывали, как зовут да какой адрес, чтобы прислать это кольцо. А я совсем не хотела, чтобы они мне его присылали. Я все допытывалась: я на самом деле выиграла приз, по всем правилам? Я вам не верю, говорю.

– Право, стоило пожертвовать бриллиантовым кольцом, чтобы только от тебя избавиться. Ты там целую толпу собрала и, наверное, целый рой мух, – сказала Агарь.

– А что вы сделаете с этим кольцом? – спросил Молочник.

– Буду носить. Не часто мне удастся выиграть такую штучку.

– Она все, что выиграет, все отдает, – сказала Агарь.

– Мужчинам... – добавила Пилат. – Ничего себе не оставляет...

– Только такой приз и хочется ей выиграть – мужчину...

– Прямо Санта-Клаус... Вечно всем подарки раздает.

– Если человеку везет по-дурацки, это даже и не везенье, а черт знает что...

– Санта-Клаус-то всего раз в год приходит...

Станный получался разговор: и Агарь, и Пилат каждой новой репликой как бы дергали его нить в свою сторону, обращаясь главным образом к себе – не к Молочнику, и не к Гитаре, и даже не к Ребе, которая снова опустила кольцо в вырез платья и, тихо улыбаясь, проворно снимала с веточек темно-лиловые ягоды.

Молочник, который к этой поре достиг пяти футов семи дюймов роста, сейчас впервые в жизни ощутил, что он по-настоящему счастлив. С ним вместе друг – мальчик старше его, – умный, добрый и бесстрашный. Он сидит себе как дома в питейном заведении, пользующемся весьма печальной славой, окруженный женщинами, которым, судя по всему, доставляет удовольствие его общество и которые громко смеются. При этом он влюблен. Неудивительно, что отец их боялся.

– Когда будет готово это вино? – спросил он.

– Эта порция? Через несколько недель, – ответила Пилат.

– А нам попробовать дадите? – улыбнулся Гитара.

– Отчего же? Хоть сейчас. В погребе полно вина.

– Того вина я не хочу. Я этого хочу попробовать, которое я сделал сам.

– Ты считаешь, ты его сделал? – расхохоталась Пилат. – Считаешь, это уже все? Оборвать несколько ягодок с ветки?

– О-ой, – Гитара почесал в затылке, – я совсем забыл. Их еще нужно будет топтать босыми ногами.

– Ногами? – возмутилась Пилат. – Кто это делает вино ногами?

– Наверное, вкусно получается, мама, – сказала Агарь.

– А я думаю, гадость жуткая, – сказала Реба.

– А у вас хорошее вино, Пилат? – спросил Гитара.

– Чего не знаю, того не знаю.

– Это как же?

– Никогда его не пробовала.

Молочник засмеялся.

– Продаете вино, а сами его даже не пробовали?

– Люди покупают вино не для того, чтобы его пробовать. Покупают, чтобы напиться.

– По крайней мере раньше покупали, – кивнула Реба. – Сейчас уж никто не берет.

– Кому она нужна, наша самогонка. Кризис-то кончился, – сказала Агарь. – Теперь у всех есть работа. Денег хватает, можно купить «Четыре розы».

– Многие и сейчас покупают, – возразила ей Пилат.

– А сахар где вы достаете? – поинтересовался Гитара.

– На черном рынке, – ответила Реба.

– Какие «многие»? Ты, мама, уж не сочиняй. Если бы Реба не выиграла эти сто фунтов бакалейных товаров, мы бы с голоду померли прошлой зимой.

– Не померли бы. – Пилат сунула в рот новую веточку.

– Еще как бы померли.

– Агарь, не надо спорить с мамой, – шепотом сказала Реба.

– Кто бы накормил нас? – не унималась Агарь. – Мама может прожить без еды несколько месяцев. Как ящерица.

– Ящерица так долго живет без еды? – спросила Реба.

– Что ты, девочка, никто не собирается морить тебя голодом. Разве ты когда-нибудь бывала голодной? – тревожно спрашивала внучку Пилат.

– Конечно, нет, – ответила вместо дочери Реба.

Агарь бросила еще одну веточку в кучку лежащих на полу общипанных веток и потерла пальцы. Их кончики были багрового цвета.

– Да, иногда я бывала голодной.

Пилат и Реба с быстротою птиц вскинули головы. Они всматривались некоторое время в лицо Агари, затем переглянулись.

– Деточка, – проговорила Реба очень тихо. – Ты была голодной, детка? Почему же ты нам не сказала? – Она жалобно смотрела на дочь. – Мы приносили тебе все, что ты хотела, детка. Все, что ты хотела. Ты ведь знаешь это и сама.

Пилат выплюнула веточку на ладонь. Лицо ее застыло в неподвижности. Сейчас, когда губы перестали наконец шевелиться, ее лицо напоминало маску. Будто кто-то вдруг выключил свет, подумал Молочник. Он всмотрелся в лица всех трех женщин. Лицо Ребы сморщилось. По щекам струились слезы. Неподвижное, как смерть, лицо Пилат выражало в то же время напряженность, словно в ожидании какого-то знака. пышные волосы прятали профиль Агари. Она сидела, наклонясь вперед, прижав локти к бедрам и потирая пальцы, которые в наступающих сумерках казались вымазанными в крови. У нее были очень длинные ногти.

Молчание затянулось. Прервать его не рисковал даже Гитара.

Потом Пилат сказала:

– Реба. Она не про еду.

Как видно, Реба сперва не поняла, потом лицо ее медленно прояснилось, но она ничего не сказала. Пилат снова принялась обрывать ягоды, тихонько что-то про себя напевая. Вскоре Реба присоединилась к ней, и какое-то время они напевали вместе в унисон друг другу, а затем Пилат запела:

О, Сладкий мой, не покидай меня,
Боюсь я в хлопке задохнуться,
О, Сладкий мой, не покидай меня,
Вдруг руки Бакры на мне сомкнутся...

Когда обе женщины запели хором, Агарь подняла голову и тоже запела:

О, Сладкий мой, ты улетел,
О, Сладкий мой, уплыл, ушел,
О, Сладкий мой, небо пронзил,
Сладкий ты мой, уплыл домой.

У Молочника перехватило дыхание. Голос Агари подхватил и унес те обломки сердца, которые он мог до этого мгновения еще назвать своими. И когда ему показалось, что он теряет сознание, раздавленный бременем чувств, он робко покосился на приятеля и увидел, как лучи заходящего солнца золотят глаза Гитары, оставляя в тени лукавую полуулыбку.

Восхитительные события этого дня приводили еще в больший восторг Молочника, оттого что им сопутствовала таинственность и ощущение собственной дерзости; впрочем, и таинственность, и дерзость испарились спустя час – после того как домой возвратился отец. Фредди известил Мейкона Помера, что его сын «нынче пьянствовал в питейном заведении».

– Врет он! Мы ничего не пили! Ничего. Гитара попросил стакан воды, но и воды ему тоже не дали.

– Фредди никогда не лжет. Он искажает факты, но не лжет.

– Нет, он тебе наврал.

– Насчет того, что вы там пьянствовали? Возможно. Но вы ведь были там, это правда, да?

– Да, сэр. Это правда. – Молочник взял тоном ниже, но что-то в его голосе еще напоминало о недавнем мятеже.

– А что тебе было велено?

– Ты мне сказал, чтобы я не смел туда ходить и разговаривать с Пилат.

– Верно.

– Но ты не объяснил мне почему. Они наши родственники. Пилат – твоя родная сестра.

– А ты мой родной сын. И будешь делать то, что я тебе велю. С объяснениями или без объяснений. Пока я тебя кормлю, ты будешь делать то, что тебе сказано.

В пятьдесят два года Мейкон Помер выглядел не менее внушительно, чем десять лет назад, когда Молочник считал, что выше и крупнее его папы не существует ничего на свете. Даже дом, в котором они жили, казалось ему, был меньших размеров. Но сегодня он встретил женщину, такую же высокую, и, стоя рядом с ней, почувствовал, что он и сам высок.

– Я понимаю, я самый младший в семье, но я все же не грудной младенец. А ты со мной обращаешься будто с младенцем, твердишь все время, что не обязан мне ничего объяснять. И чего ты этим добился, как ты думаешь? Что я чувствую себя младенцем, вот и все. Двенадцатилетний младенец!

– Не смей на меня кричать.

– Твой отец разве так с тобой обращался, когда тебе было двенадцать?

– Придержи язык! – рявкнул Мейкон и вынул руки из карманов. Но он не знал, что делать дальше. Его обескуражил заданный сыном вопрос. Сразу все переменялось. Он представил на месте Молочника себя в свои двенадцать лет и с необыкновенной остротой и живостью вдруг вспомнил, какое чувство он испытывал к отцу. И то, как он оцепенел, когда человек, которого он любил, которым восхищался, рухнул с забора на землю, и пронзившую его страшную боль, когда глядел, как тело отца дергается в предсмертных судорогах. На этом сделанном из железных прутьев заборе отец просидел пять ночей, сжимая в руках ружье, и умер, защищая свою собственность. Чувствует ли этот мальчик что-нибудь подобное к нему? Может быть, пора рассказать ему?

– Ты не ответил – он так с тобой обращался?

– Я все время работал рядом с отцом. Все время рядом с ним. Лет с четырех, с пяти я уже вместе с ним работал. Мы вдвоем, и больше никого. Мать умерла. Скончалась от родов, когда родилась Пилат. Мы остались с малышкой на руках. Относили ее до вечера к соседям на ферму. Я сам и таскал ее каждое утро туда. Отнесу и возвращаюсь к отцу полев. Впряжем, бывало, Президента Линкольна в плуг... Мы так называли нашу лошадь: Президент Линкольн. Отец говорил, Линкольн был хорошим пахарем, прежде чем стал президентом, а хороших пахарей не следует от дела отрывать. «Райская обитель Линкольна» – так называл он нашу ферму. Участок-то у нас был невелик. Но мне он в ту пору казался громадным. Это я сейчас прикидываю, что не так уж много было там земли, примерно сто пятьдесят акров. Мы запахивали пятьдесят. Акроев восемьдесят леса – дуб, сосна... вообще-то целое богатство; я думаю, они на это и польстились – дуб, сосна, отличный лес. Пруд был, занимал четыре акра. И ручей, а рыбы в нем полно. Как раз посредине долины. Гора была неопикуемой красоты, называлась Хребет Монтур. Мы жили в округе Монтур. Это сразу за Саскуэханной. Был свиарник, мы держали четырех свиной. Большой амбар, сорок футов на сто сорок... с шатровой крышей, между прочим. А в горах кругом олени, дикие индюшки. Считаю, ты в жизни ничего не пробовал, если тебе не довелось отведаать зажаренной твоим дедом индюшки. Он обжаривал ее на сильном огне. Всю сплошь, дочерна, в один миг. Она сразу покрывалась корочкой, поэтому сок сохранялся, он оставался внутри. А потом целые сутки жарил ее потихонечку на вертеле. Срежешь, бывало, эту черную корку, а под ней мясо, нежное, вкусное, сочное. Был у нас на ферме и фруктовый сад. Яблоки, вишни. Пилат один раз попыталась испечь мне вишневый пирог.

Мейкон замолчал, он даже улыбался. Вот уж много лет он ни с кем не говорил об этой ферме. Даже вспоминал о ней редко в последнее время. Когда он только женился на Руфи, он часто рассказывал ей о «Райской обители Линкольна». По вечерам, когда, покачиваясь на качелях, они вдвоем сидели на веранде, Мейкон заново воссоздавал эту землю, владельцем которой он должен был стать. А когда он только еще начал покупать дома, он порою застревал в парикмахерской поболтать о том о сем с другими посетителями. Но давно уже отошли в прошлое все эти разговоры, да и воспоминания тоже. И вот сейчас он вновь вернулся к ним, он рассказывает о ферме сыну, и в памяти четко всплывает все до

мелочей: колодец, яблоневый сад, Президент Линкольн, их лошадь, Мэри Тодд – ее дочка, Улисс С. Грант[3] – корова, Генерал Ли[4] – свинья. Только так он узнавал тогда историю. Отец не умел ни читать, ни писать; все, что ему было известно, он либо увидел собственными глазами, либо от людей услышал. И все же даже таким образом в сознание Мейкона врезались сведения о некоторых исторических лицах, и, читая потом о них в школьном учебнике, мальчик представлял себе лошадь, свинью. Отец-то, вероятно, в шутку назвал лошадь Президентом Линкольном, зато Мейкон навсегда проникся к Линкольну симпатией, ведь он полюбил его еще лошадью, трудолюбивой, ласковой и послушной. Ему нравился даже Генерал Ли, так как однажды весной они зарезали его и целых восемь месяцев ели отличную свинину, лучше которой не найдешь во всей Виргинии, «и окорок, и корейку, и грудинку, и колбасу, и ножки, и хвостик, и зельц». И даже в ноябре еще доедали хрустящие поджаристые шкварки.

– Генерал Ли вполне устраивал меня, – улыбаясь, говорил он Молочнику. – Замечательный был генерал. Что ни попробуешь, все вкусно. Цирцея как-то приготовила сычуг. М-м, пальчики оближешь. А я вот даже забыл, как ее звали! Теперь вот только вспомнил. Она работала на большой ферме у каких-то белых в Данвилле, Пенсильвания. Интересно, как все можно позабыть. Забудешь и годами ничего не вспоминаешь. А потом вдруг, как сейчас, раз – и опять все перед тобой. Собачьи бега у нас устраивали, представляешь? Очень этим увлекались. Чья собака прибежит раньше. Белые любят своих собак. Негра он пристрелит и спокойноенько тут же на месте будет волосы расческой приглаживать. А собака помрет – плачут, взрослые люди плачут, сам видел.

Как-то по-иному звучал теперь его голос. Мягче, да и сама речь переменилась. В ней появилось нечто южное, приглушенное, уютное. И Молочник спросил так же приглушенно:

– Пилат сказала, вашего отца кто-то застрелил. Говорит, он взлетел на пять футов вверх в воздух.

– У него шестнадцать лет ушло на то, чтобы ферма стала приносить доход. Там сейчас везде молочные хозяйства. А тогда было не так. Тогда... было славно.

– Папа, а кто его застрелил?

Мейкон перевел взгляд на сына.

– Наш папа не умел читать, он даже не умел написать свое же собственное имя. Ставил какую-то закорючку. Вот и одурачили его. Он что-то подписал, уж не знаю что, и вдруг эти люди говорят, мол, ферма перешла в их собственность. Он совсем неграмотный был. Я хотел научить его грамоте, но он сказал: «Если даже сегодня я эти крючочки запомню, завтра все равно забуду их». Он одно лишь слово в жизни написал – «Пилат», переписал его из Библии. Она носит в серье бумажку с этим именем. А зря не захотел он у меня учиться. Все скверное, что с ним случилось, из-за того и случилось, что он не умел читать. И имя его поэтому переврали.

– Имя? Как это?

– А когда объявили независимость. Все цветные в нашем штате должны были зарегистрироваться в управлении по делам невольников, получивших свободу.

– Так твой отец был рабом?

– Глупей ты ничего не мог спросить? Конечно, был. А кто не был рабом в 1869-м? Но регистрации подлежали все. И свободные, и не свободные. Вольные граждане и бывшие рабы. Папа был тогда еще подростком, он пошел на регистрацию и попал к какому-то пьяному янки. Тот сперва спросил место рождения; Папа ответил: Мейкон. Потом пьянчужка спросил, кто его отец. «Он помер», – сказал папа. Дальше тот задал вопрос, кто был его владельцем, и папа ответил: «Я свободен». Янки все его ответы записал, но не там, где надо. Местом рождения у него оказался какой-то «Скво-Боден», один черт знает, где его искать, а в графе «фамилия и имя» этот олух написал «Помер», поставил запятую и добавил «Мейкон». Но папа не умел читать, поэтому и не узнал, как его зарегистрировали, пока мама ему не сказала. Они встретились в фургоне, который ехал на Север. Поговорили о том о сем, и он ей рассказал, что раньше был невольником, и показал свои документы. Тогда мама прочитала вслух, что там написано.

– Но разве он не мог ничего изменить? Взял бы и поставил свое настоящее имя.

– Маме больше так понравилось. Ей понравилось новое имя. Оно сотрет память о прошлом, сказала она. Сотрет о нем всякую память.

– А как его настоящее имя?

– Мать я почти не помню. Она умерла, когда мне было четыре года. Красивая, со светлой кожей. Мне вообще казалось, что она похожа на белую женщину. Пилат и я не в нее пошли. Если когда засомневаешься, что мы африканцы, посмотри на Пилат. Вылитый папа, а он был точь-в-точь как африканцы, каких рисуют на картинках. Пенсильванский африканец. И вся повадка такая. Лицо вдруг станет замкнутое, словно дверь захлопнул.

– У Пилат один раз сделалось такое лицо. – Сейчас, когда отец заговорил с ним просто и по-свойски, Молочник сразу стал доверчивей и настороженность его прошла.

– Мейкон, я не передумал. Я не разрешаю тебе там бывать.

– Но почему? Ты так и не сказал – почему?

– А ты послушай, я все объясню. С этой женщиной не надо связываться. Она змея. Заворожить тебя она, конечно, может, на то она и змея, но ты об этом все время помни.

– Ты о родной своей сестре говоришь, ты же носил ее на руках каждое утро через поле.

– Э-э... когда все это было. Вот ты видел ее. Ну и как она тебе показалась? Приличная женщина? Нормальная?

– Ну, она...

– Или такая, что горло может перерезать?

– На такую она не похожа.

– Не похожа, но она такая.

– Но что она сделала?

– Не в том суть, что сделала. Она такая.

– Да какая?

– Змея, сказано тебе. Знаешь сказку про змею? Про то, как человек нашел змееныша? Значит, шел один раз человек и увидел, лежит змееныш, полураздавленный и весь в крови. Лежит прямо в грязи. Жалко стало его человеку, и поднял он змееныша, положил в корзинку и понес к себе домой. Выкормил и вынянчил его, и из змееныша выросла большая сильная змея. Хорошо кормил ее, все, что ел сам, то и ей давал. А потом в один прекрасный день змея вдруг бросилась на него и укусила. Вонзила ему прямо в сердце ядовитое жало. И перед тем, как испустить последнее дыхание, повернулся он к змее и говорит: «Ну зачем ты это сделала, – спрашивает, – разве плохо я о тебе заботился? Я ведь спас тебе жизнь». «Верно», – говорит змея. «Зачем же ты так сделала? Зачем ты меня убила?» Знаешь, что ему ответила змея? Она сказала: «Ты же знал, что я змея, разве не знал?» Так вот, я не шучу: в кабак этот не смей больше ходить и держись как можно дальше от Пилат.

Молочник опустил голову. Отец так ничего и не объяснил ему.

– Не трать время попусту, Мейкон. Кроме того, тебе пора уже поучиться, как надо работать. В понедельник начнем. После уроков приходи ко мне в контору. Поработаешь со мной часок-другой и узнаешь то, что знать необходимо. Пилат никогда не научит тебя такому, что может пригодиться в этой жизни. В будущей какой-то жизни ее наука, может, и сгодится, но не в этой, нет. Вот что, я тебе прямо сейчас скажу, самое важное, что нужно знать: приобретай. И приобретенное поможет тебе сделать новые приобретения. Тогда ты будешь сам себе хозяин и хозяином над другими людьми. С понедельника я примусь тебя учить.

Глава 3

Жизнь Молочника стала несравненно счастливее с тех пор, как он начал работать на Мейкона. Вопреки папашиним надеждам у него теперь оставалось куда больше времени на то, чтобы заглянуть в питейное заведение к тетке. Мейкон посылал его в свои доходные дома то с одним, то с другим поручением, благодаря чему у мальчика появилась возможность бывать в Южном предместье и познакомиться с людьми, с которыми был так дружен Гитара. Молочник, дружелюбный и совсем еще юный, представлял собой полную противоположность отцу, и жильцы его не стеснялись: они могли и подразнить его, и угостить, и по душам с ним побеседовать. Но он стал реже видаться с Гитарой.

Встречаться удавалось только по субботам. Встав в субботу утром пораньше, Молочник успевал к приятелю прежде, чем тот отправится шляться по улицам, и прежде, чем он сам начнет обход жильцов, помогая отцу собирать с них квартирную плату. Впрочем, случалось, и в будние дни друзья удирали с уроков, чтобы побродить по городу, и в один из таких дней Гитара привел его в бильярдную Фезера на Десятой улице, в самый центр района, известного под названием Донорский пункт.

Было одиннадцать утра, когда Гитара распахнул дверь в бильярдную и гаркнул:

– Привет, Фезер! Отпусти-ка две бутылки пива.

Фезер, низенький и коренастый, с жидкими курчавыми волосами, бросил взгляд на Гитару, потом на Молочника и нахмурился:

– Уведи его отсюда, сейчас же.

Гитара в полной растерянности на него уставился, потом тоже посмотрел на Молочника и опять перевел взгляд на Фезера. Несколько человек, игравших на бильярде, удивленно оглянулись. Трое были летчики-истребители из 332-й авиационной группы. Их шикарные кожаные куртки аккуратно висели на спинках стульев, там же красовались и фуражки. Волосы коротко острижены, рукава засучены, из задних карманов свисают белоснежные прямоугольники шарфов. Поблескивают на шее серебряные цепочки, в глазах веселое любопытство, а пальцы деловито натирают мелом кончик кия.

Гитара вспыхнул от смущения.

– Он со мной, – пояснил он.

– А я говорю, уведи его вон.

– Ну что ты, Фезер, это же мой друг.

– Это сын Мейкона Помера, верно?

– Ну и что?

– А то, что уведи его отсюда вон.

– Он не виноват, не он же выбирал себе отца, – сдержанно проговорил Гитара.

– Я тоже не виноват. Убирайтесь.

– Его отец тебе сделал что-то плохое?

– Пока нет. Поэтому пусть убирается вон.

– Он совсем не такой, как отец.

– Пусть даже не такой, он его сын – с меня и этого хватает.

– Ну, я отвечаю...

– Ладно, кончай торговаться. Уведи его. Слишком зелен еще, не созрел, чтобы видеть во сне голых баб.

Летчики засмеялись, а мужчина в серой соломенной шляпе с белой лентой сказал:

– Что за дела,пусти мальчонку, Фезер.

– Не вякай. Здесь хозяин я.

– Чем он тебе мешает? Двенадцатилетний парнишка. – Он с улыбкой посмотрел на Молочника, и тот еле удержался, чтобы не сказать: «Мне не двенадцать, а уже тринадцать».

– Это вроде бы не твое дело, верно? – огрызнулся Фезер. – Его папаша не твой домовладелец, ведь так? И лицензию не он тебе выдавал. Так какого же ты...

Фезер набросился на человека в шляпе с белой лентой так же желчно, как перед этим на мальчиков. Воспользовавшись тем, что он переключился на нового противника, Гитара стремительно выбросил руку вперед, словно метнул в ствол дерева топор, и крикнул: «Мы с тобой еще разберемся, приятель. Сейчас времени нет. Давай побыстрому отсюда». Голос у него теперь стал громким, звучным, таким громким и звучным, что хватало на двоих. Молочник сунул руки в задние карманы и направился к двери вслед за Гитарой. Он немного вздернул голову, подчеркивая холодное высокомерие, которое, как он надеялся, летчики разглядели в его глазах.

Молча поплелись они по Десятой улице и остановились возле каменной скамьи у обочины тротуара. Они сели на скамью, спиной к двум мужчинам в белых халатах, которые внимательно на них поглядывали. Один стоял в дверях парикмахерской, прислонившись к косяку. Второй сидел, откинувшись, на стуле у зеркального стекла витрины той же парикмахерской. Это были владельцы заведения – Железнодорожный Томми и Больничный Томми. Мальчики ни слова не сказали ни друг другу, ни обоим Томми. Сидели молча и смотрели, как мимо проезжают машины.

– А что, Гитара, в ваших академах[5] обрушились все залы? – сидя на стуле в той же позе, спросил Больничный Томми. Глаза у него беловатые, молочные, как у древних стариков, а тело крепкое и гибкое, вид моложавый. Говорит как бы небрежно, но чувствуется властность.

– Нет, сэр, – оглянувшись, ответил Гитара.

– Тогда скажи мне бога ради, что вы делаете вне их пределов в это время дня?

Гитара пожал плечами.

– Просто взяли выходной, мистер Томми.

– А твой спутник? У него тоже академический отпуск?

Гитара кивнул. Больничный Томми разговаривает как энциклопедия, большую часть сказанных им слов можно понять лишь по наитию. Молочник все смотрел на проезжающие мимо машины.

– Мне кажется, день отдыха не очень-то вас веселит. Вы и в залах академов могли бы сидеть с точно таким же зловещим видом.

Гитара вынул из кармана две сигареты и протянул одну Молочнику.

– Просто я разозлился на Фезера.

– На Фезера?

– Ага. Он не позволил нам войти. Сам-то я всегда у него бываю. Всегда бываю, и он ничего не говорит. А сегодня он нас выставил. Сказал, мой друг, вот он, – слишком молодой. Слышали вы что-нибудь подобное? Это Фезер-то! Волнуется, что кто-то слишком молодой.

– Я не знал, что у Фезера в мозгу хватает извилин, чтобы волноваться.

– Нет у него никаких извилин. Просто строит из себя. Даже не позволил мне купить бутылку пива.

Железнодорожный Томми, стоявший в дверях, негромко рассмеялся.

– Всего и делов-то? Пива не захотел отпустить? – Он потер затылок и поманил Гитару пальцем. – Подойди-ка сюда, и я расскажу тебе, парень, еще об одной штуке, которой ты не получишь. Подойди-ка, говорю, сюда.

Они нехотя встали и бочком приблизились к хохочущему Томми.

– Ты думаешь, большая случилась беда? Пива тебе не отпустили? погоди-ка, я задам тебе один вопрос. Ты стоял когда-нибудь в подсобном помещении вагона-ресторана поезда Балтимор – Огайо в полночь, когда кухня уже заперта, все чисто прибрано и готово к завтрашнему дню? Поезд мчится, путь свободен, и трое корешей поджидают тебя с нераспечатанной колодой карт?

Гитара покачал головой.

– Нет, я никогда...

– Вот именно, никогда. И никогда такого не дождешься. Ты и этого удовольствия будешь лишен, не говоря уж о бутылке пива.

Гитара улыбнулся.

– Мистер Томми... – начал он, но Томми перебил его:

– Ты когда-нибудь проводил две недели подряд на колесах, а потом возвращался домой, где тебя ожидала красивая женщина, чистые простыни и добрая порция отличного джина? А? – Он перевел взгляд на Молочника: – Бывало с тобой такое?

Молочник улыбнулся и сказал:

– Нет, сэр.

– Нет. Так вот, и впредь не надейся, потому как не бывало и не будет.

Больничный Томми отвернул полу халата и вынул сделанную из перышка зубочистку.

– Не дразни ребенка, Томми.

– Кто его дразнит? Я правду говорю. Ничего подобного с ним не будет. И ни с кем из них не будет. И еще кое-чего не будет у тебя. Не будет собственного вагона с четырьмя креслами, которые обиты красным бархатом и вращаются в любую сторону, куда тебе угодно их повернуть. Не будет, нет. И собственной уборной у тебя не будет, и собственной восьмифутовой софы, сделанной по специальному заказу. И слуги, и повара, и секретарши, которые путешествуют вместе с тобой и выполняют каждое твое распоряжение. Каждое: подогрейте воду для грелки до соответствующей температуры и позаботьтесь, чтобы в серебряном увлажнителе табак был свежим ежечасно и каждодневно. Вот чего еще не будет у тебя. Лежало у тебя когда-нибудь в кармане пять тысяч долларов наличными и случалось ли тебе зайти в банк и сказать директору, что тебе нужен такой-то дом на такой-то улице, и он немедленно бы тебе его продал? Нет, не случалось и не случится с тобой такого. И никогда не сможешь ты приобрести особняк губернатора, и никогда не сможешь ты продать восемь тысяч акров леса. И не сможешь ты управлять судном, не сможешь вести поезд, и хотя при желании сможешь вступить в 32-ю авиационную группу, сбить лично тысячу немецких самолетов, приземлиться в тылу у Гитлера и отхлестать его собственноручно, но никогда у тебя на груди не появятся четыре звездочки и даже трех не будет. И никогда не внесут утром в твою спальню поднос, а на нем ваза с красной розой, две теплые булочки и горячий шоколад. Нет уж. Никогда. И фазана, уложенного на двадцать дней в листья кокосового ореха, и фаршированного диким рисом, и зажаренного на дровах до кондиции столь деликатной и нежной, что слеза прошибает. И не сможешь ты запивать его «Ротшильдом» разлива двадцать девятого года и даже «божолем».

Несколько прохожих остановились послушать эту речь.

– Что тут происходит? – спросили они у Больничного Томми.

– Фезер не отпустил ребятам пива, – ответил он. Те рассмеялись.

– И не будет «Печеной Аляски»! – не унимался Железнодорожный Томми. – Даже не мечтайте! Никогда не будет.

– «Печеной Аляски» не будет? – Гитара выкатил глаза и ухватил себя обеими руками за горло. – Вы разбиваете мое сердце.

– То-то и оно. Кое-что тебе все же осталось – разбитое сердце. – Взгляд Томми смягчился, зато веселье внезапно погасло. – И возможность делать глупости. Делать их без конца. Вот на это ты можешь рассчитывать.

– Мистер Томми, сэр, – певуче произнес Гитара с издевательским напускным смирением. – Мы ведь хотели бутылочку пива, больше ничего.

– Это да, – ответил Томми. – Это точно, что ж, просим пассажиров занять места.

– Что такое «Печеная Аляска»? – Они расстались с обоими Томми так же внезапно, как встретили их, и брели дальше по Десятой улице.

– Сладкое блюдо, – ответил Гитара. – Дают на десерт.

– Вкусное?

– Не знаю. Я ведь не ем сладкого.

– Не ешь сладкого? – изумился Молочник. – А почему?

– У меня от него тошнота.

– Совсем не любишь сладкого?

– Только фрукты, больше ничего. Ни конфет, ни пирожных. Даже запаха не выношу. Выворачивает наизнанку.

Молочник решил, что его приятель не совсем здоров. Он не представлял себе, как можно не любить сладкого.

– У тебя, наверное, сахарный диабет.

– От того, что сахара не ешь, сахарный диабет не бывает. Он бывает, если ешь слишком много сахара.

– Ну, а в чем же тогда дело?

– Не знаю. Мне сразу вспоминаются мертвецы. Или белые. Блевать начинаю.

– Мертвецы?

– Во-во. И белые.

– Не понял.

Гитара не ответил, и Молочник продолжал:

– Давно это у тебя?

– С детства. С тех пор, как отца разрезало на лесопильном заводе, а босс явился и принес нам, ребятишкам, конфет. Благость. Целый мешок благости. Его супруга лично приготовила их специально для нас. Сладкая она, благость-то. Слаще патоки. Уж такая сладкая. Слаще, чем... – Он приостановился и вытер проступившие на лбу капли пота. Взгляд стал тусклым и растерянным. Он сплюнул на тротуар. – По... стой. – прошептал он и шагнул в узкое пространство между ресторанчиком, в котором продавали жареную рыбу, и парикмахерской Лилли.

Молочник подождал на тротуаре, терпеливо разглядывая занавешенное окно салона красоты. Салоны красоты всегда закрыты занавесками или шторами. В мужских парикмахерских не занавешивают окон. Женщины же, в отличие от мужчин, не хотят, чтобы прохожие смотрели, как их причесывают. Стесняются.

Появился Гитара; его так и не вырвало, но он намучился, слезы стояли в глазах.

– Пошли, – сказал он. – Надо купить сигарет с травкой. Уж это-то я могу себе позволить.

К тому времени, когда ему исполнилось четырнадцать, Молочник заметил, что у него одна нога короче другой. Если он стоял босиком, прямо, как столб, его левая ступня оказывалась примерно на полдюйма

выше пола. Поэтому он никогда не стоял прямо: то ссутулится, то на что-нибудь облокотится, то выставит бок вперед – и никогда не говорил об этом никому ни слова... ни словечка. Когда Лина спросила: «Мама, отчего это он так ходит?», он ответил: «Как хочу, так и буду ходить, захочу, вообще наступлю на твою отвратную морду». Руфь сказала: «Уймитесь оба. Лина, просто у него сейчас переходный возраст». Но он-то знал: не в этом дело. Он не хромал, он вовсе не хромал, разве что еле-еле прихрамывал, но создавалось впечатление, будто он нарочно так ходит, изобрел эту походку специально для того, чтобы не выглядеть таким уж сопляком. Этот небольшой дефект его тревожил, представлялся позорным, и Молочник шел на всевозможные уловки, чтобы скрыть его. Он всегда сидел, положив ногу на ногу, левую на правую, и только так. Все новые танцы танцевал, чудно переступая негнущимися, как бы окоченевшими ногами, и девочки приходили от этой манеры в восторг, а мальчики рано или поздно начинали ее копировать. Изъян главным образом существовал в его сознании. И все же не только в сознании – после нескольких часов, проведенных на баскетбольной площадке, у него и в самом деле начинались стреляющие боли в левой ноге. Он лелеял это недомогание, считал его полиомиелитом и ощущал благодаря ему тайную связь между собою и покойным президентом Рузвельтом. Даже когда все перевозносили Трумэна, учредившего Комитет по гражданским правам, Молочник втайне предпочитал ФДР[6] и ощущал, что он с ним очень тесно связан. Теснее, говоря по правде, чем с собственным отцом, так как у Мейкона не было физических недостатков и, казалось, с годами он, наоборот, становился все крепче. Отца Молочник боялся, уважал его, но знал (из-за ноги), что никогда не сможет ему подражать. Поэтому он старался, насколько смелости хватало, быть непохожим на него. Мейкон был всегда чисто выбрит; Молочник мечтал об усах. Мейкон носил галстук-бабочку; Молочник – обычный галстук. Мейкон не разделял волосы пробором; Молочник выбрил у себя на голове пробор. Мейкон не выносил табака; Молочник норовил каждые четверть часа сунуть в рот сигарету. Мейкон стремился накопить как можно больше денег; Молочник – потратить. Но он не мог не разделять пристрастие Мейкона к хорошей обуви и к тонким изящным носкам. Кроме того, в качестве отцовского служащего он старался выполнять работу так, как требовал отец.

Мейкон был в восторге. Сын принадлежал теперь ему, а не Руфи и избавлял его от необходимости, собирая квартирную плату, мотаться по

всему городу, словно он какой-то уличный разносчик. Таким образом, предприятие приобретало солидность. Мейкон же на досуге мог поразмышлять, обдумать новые планы, изучить газетные объявления, узнать, где состоятся аукционы, выяснить, какие интриги плетутся вокруг взимания налогов и не востребованных наследниками состояний, где и какие строятся дороги, торговые центры, школы, кто и каким образом добивается от правительства утверждения своих строительных проектов. Он знал: ему, негру, ни за что не достанется большой кусок пирога. Впрочем, существовали участки, на которые пока никто не лъстился, мелкие кусочки, кромочки участков, которые кому-то очень не хотелось отдать в руки евреев или католиков, а также участки, которым никто еще пока не знал цены. Немалое количество начинки вываливалось из-под кромки пирога в 1945-м. Кое-что может достаться и ему. Во время войны дела Мейкона Помера пошли на лад. Не ладилось у него только с Руфью. И много лет спустя, когда война уже закончилась и начинка пирога плюхнулась ему прямо в руки, отчего ладони стали жирными, наполнился желудок и обозначилось объемистое брюшко, он все еще жалел, что не удушил ее в 1921-м. До сих пор она по временам не ночевала дома, но ей было уже пятьдесят, какой любовник так долго продержится? И что это за любовник, если даже Фредди ничего о нем не знает? Мейкон решил, что это чушь, и теперь все реже сердился на жену настолько, чтобы захотелось влить ей пощечину. В особенности после самого последнего раза, ставшего самым последним по существенной причине: сын не выдержал, вскочил и так ему врезал, что он свалился на отопительную батарею.

Молочнику было к тому времени двадцать два года, и, так как он уже шесть лет жил половой жизнью, да к тому же часть этого срока с постоянной любовницей, мать представилась ему в новом свете. Теперь он не видел в ней ту, что вечно заставляла его надевать калоши, потеплее кутаться и побольше есть, ту, что не позволяла приносить домой ничего интересного, коль скоро все интересное непременно влекло за собой грязь, шум или беспорядок. Сейчас она представлялась ему слабой женщиной, которая добровольно ограничила свою жизнь деятельностью незначительной и мелкой: взялась растить и пестовать таких подопечных, чье существование недолгосрочно и, прервавшись, не принесет ей боли, – рододендроны, золотых рыбок, георгины, герань, тюльпаны. А они и в самом деле умирали. Золотые рыбки всплывали на поверхность и, когда она постукивала ногтем по стеклу аквариума, не уносились в ужасе, прочерчивая следом за собой сверкающую, словно

молния, дугу. Листья рододендронов становились все ярче, все шире, но потом, густо-зеленые, блестящие, как воск, внезапно тускнели и никли, повисали желтоватыми сердечками. В каком-то смысле Руфь завидовала смерти. В безбрежной печали, охватившей ее после смерти доктора, таилась и досада: ей казалось, доктор выбрал нечто интересней жизни и ей, Руфи, предпочел более занимательную спутницу – последовал за смертью, едва она его поманила. Присутствие смерти вселяло в Руфь несвойственные ей одушевление и смелость. Угроза смерти наделяла ее целеустремленностью, мужеством, ясностью мысли. Не придавая ни малейшего значения тому, что сделал Мейкон, она всегда подозревала, что отец ее не умер бы, если бы не захотел. И быть может, смутное ощущение, что она отвергнута, отринута (плюс желание отомстить Мейкону), побуждало ее подталкивать мужа на путь, который вел лишь к одному – к насилию. Неожиданные вспышки его гнева Лине казались неоправданными. Она видела, как мать намеренно вынуждает отца обнаружить не силу свою (девятилетний ребенок мог вlepить Руфи пощечину, ничем не рискуя), а беспомощность. Обычно Руфь начинала что-то рассказывать, чистосердечно выставляя себя в самом смешном и нелепом виде. Сидя за обедом, она как бы невзначай заводила эти якобы безобидные разговоры – в самом деле, ведь из всех, кто находился за столом, лишь она одна попадала в неловкое положение, остальным же предоставлялась возможность полюбоваться ее чистосердечием и посмеяться над ее невежеством.

Например, она отправилась на свадьбу к внучке миссис Джворак. Анна Джворак, старуха-венгерка, лечилась в свое время у ее отца. У доктора Фостера было немало белых пациентов из рабочих, кроме того, он пользовал иногда жен служащих и мелких торговцев, считавших его интересным мужчиной. По мнению Анны Джворак, доктор Фостер в 1903 году чудесным образом спас жизнь ее сыну, не направив его вновь в туберкулезный санаторий. Чуть ли не все больные, уехавшие в этот санаторий, там и умерли. Анна не знала, что доктор не пользовался привилегией направлять своих пациентов в этот санаторий, и в «Приют милосердия» также. Не знала она и того, что лечение туберкулеза, практиковавшееся в 1903 году, было предельно пагубным для здоровья больных. Она знала лишь, что доктор прописал ее сыну какую-то диету, отдых в строго определенные часы и жир тресковой печени дважды в день. Мальчик остался в живых. Естественно, Анне хотелось, чтобы на свадьбе младшей дочери этого сына присутствовала дочь чудодея-врача. Руфь отправилась в церковь, и, когда молящиеся подошли к алтарю

причаститься, вместе со всеми подошла и она. Опустившись на колени, она склонила голову в земном поклоне, не имея ни малейшего понятия о том, что предоставила священнику выбор: либо положить облатку ей на шляпу, либо просто пройти мимо нее. Он тотчас догадался, что она не католичка, так как при обращенных к ней словах она не подняла головы и не высунула язык, дабы он осторожно положил на него облатку.

– Corpus Domini Nostri Jesu Christ! [7] – сказал священник и, наклонившись к ней, свистящим шепотом: – Подымите голову. – Она выпрямилась, увидела облатку и прислужника, держащего под облаткой серебряный поднос. – Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam [8]. – Священник протянул ей облатку, и она открыла рот.

Позже, после венчанья, священник прямо спросил ее, принадлежит ли она к католической церкви.

– Нет. Я методистка, – ответила Руфь.

– Я это понял, – сказал он. – Так вот, таинства нашей церкви предназначены для... – Но тут его прервала старая миссис Джворак.

– Отец мой, – сказала она, – я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера. Ее отец спас жизнь моему Рикки. Рикки не был бы сегодня с нами, если бы...

Отец Пэдриу улыбнулся и пожал Руфи руку.

– Счастлив познакомиться с вами, мисс Фостер.

Простенький, но подробно рассказанный случай.

Лиана впитывала в себя каждую фразу и сопереживала с матерью все ее душевные движения – от религиозного экстаза до бесхитростного признания того, какую неловкость она допустила. Коринфянам слушала, анализируя и выжидая: любопытно, каким образом мать подведет свой анекдот к ситуации, при которой Мейкон либо обрушит на нее свой гнев словесно, либо ее ударит. Молочник слушал невнимательно.

– «Вы принадлежите к католической церкви?» – спросил он меня. Ну, а я смутилась на мгновение, но потом ответила: «Нет. Я методистка». И он принялся мне объяснять, что в католической церкви могут причащаться лишь католики. Право же, я ни о чем подобном не слыхала.

Я считала, причаститься может каждый. В нашей церкви любой человек может в первое же воскресенье получить благословение. Впрочем, не успел он все это мне изложить, как подходит Анна и говорит: «Отец мой, я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера». Ох, как он сразу заулыбался мне. И пожал руку, и сказал, что счастлив и что для него большая честь со мною познакомиться. Так что все окончилось благополучно. Но клянусь, я ни о чем таком даже понятия не имела. Явилась туда в полной невинности, как овечка.

– Ты не знала, что только католики причащаются в католической церкви? – спросил Мейкон Помер таким тоном, что было ясно: он ей не верит.

– Не знала, Мейкон. А откуда мне знать?

– Ты знаешь, что они строят отдельные школы для своих детей и не пускают их в общую школу, и все же думаешь, будто каждый, кто заглянет к ним в церковь, может заодно и в обрядах участвовать?

– Причастие есть причастие.

– Ты глупая женщина.

– Отец Пэдрю так не думает.

– Вела себя как дура.

– Миссис Джворак так не думает.

– Она просто старалась помешать тебе испортить свадебное торжество, ты ведь и так порядком ей напаскудила.

– Мейкон, я тебя прошу не употреблять таких слов при детях.

– Каких, к черту, детях? Каждый из них уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в голосовании.

– Не надо ссориться.

– В церкви ты вела себя как дура, потом поставила всех в неловкое положение, а теперь захлеб рассказываешь нам, как ты там блистала?

– Мейкон...

– Врешь и не краснеешь, утверждая, будто ты так-таки ничего и не знала..

– Анна Джвораك нисколько...

– Анне Джворак даже неизвестно твое имя! Она называет тебя «дочь доктора Фостера»! Сто долларов ставлю, она до сих пор не знает, как тебя зовут! Сама по себе ты никто. Папочкина дочка!

– Да, это так, – ответила Руфь тоненьким, но твердым голосом. – Разумеется, я папина дочка. – Она улыбнулась.

Мейкон даже не стал класть вилку на стол. Она выпала у него из руки, которая, продвигаясь над хлебницей, сжалась в кулак, с размаху врезающийся в челюсть Руфи.

Молочник ничего не обдумывал загодя, но он и раньше знал, что в один прекрасный день, после того как Мейкон ее ударит, а Руфь прикроет рукой губы, ощупывая зубы языком – целы ли, и, обнаружив, что целы, будет стараться незаметно для остальных вновь приладить выпавший мост, – что в этот день он наконец не выдержит. Не успел отец отвести руку, Молочник, схватив его за шиворот, рывком поставил на ноги и ударил так сильно, что тот свалился на батарею. Оконная штора затрепыхалась, как от сквозняка.

– Если ты еще хоть раз ее тронешь, я тебя убью. – Мейкон онемел от потрясения: он не представлял себе, что кто-то может поднять на него руку. После того как в течение многих лет он внушал людям почтение и страх всюду, где только появлялся, после того как в течение многих лет он привык в любой компании быть самым высоким, он поневоле стал считать себя неуязвимым. И вот он ползет вдоль стены, не спуская глаз с человека, который так же высок, как он, и притом на сорок лет моложе.

В то время как отца, пробиравшегося ползком вдоль стены, обуревали противоречивые чувства: унижение, гнев и невольная гордость за сына, – сын тоже находился во власти самых противоречивых эмоций. Больно и стыдно было видеть кем-то побежденного отца, и Молочника не радовало, что сам он – победитель. Печально сделать открытие, что простоявшая пять тысяч лет пирамида, одно из чудес цивилизованного мира, созданная упорным трудом строителей, которые из поколения в поколение с усердием и

вдохновением возводили и совершенствовали ее, в действительности сделана в подсобном помещении универмага Сирса умелым декоратором, который дал гарантию, что она просуществует ровно столько, сколько длится человеческая жизнь.

В то же время он ликовал, как разыгравшийся жеребенок. Его желание наконец исполнилось – он что-то выиграл и одновременно что-то утратил. Безграничные возможности открылись перед ним, тяжелейшее бремя ответственности на него навалилось, но он не был готов к тому, чтобы воспользоваться первым и взвалить на себя второе. А потому он бодро обошел вокруг стола и спросил у матери:

– Ну, как ты?

Она ответила, разглядывая свои ногти:

– Все в порядке.

Молочник посмотрел на сестер. До сих пор в его глазах они ничем не отличались от матери, все трое выполняли, собственно, одну и ту же роль. Они были уже подростками, когда он родился; сейчас одной исполнилось тридцать пять, а другой – тридцать шесть. И так как Руфь была всего шестнадцатью годами старше Лины, ему казалось, все они примерно одних лет. Но сейчас, когда он посмотрел на сестер, они ответили ему взглядом, полным ненависти столь внезапной и жаркой, что он испугался. Нет, сейчас уже не казалось, будто их бледные глаза сливаются с кожей, еще более бледной. Сейчас казалось, будто их глаза густо обведены углем, будто по щекам их пролегли две борозды, а пунцовые губы так набрякли ненавистью, что готовы лопнуть. Он моргнул два раза, прежде чем их лица вновь обрели привычное, ласковое и слегка встревоженное выражение. Торопливо вышел из комнаты – он понял: здесь никто не поблагодарит его и не обругает. Его поступок коснулся его одного. Ничего не изменил он в отношениях его родителей. Ничего не изменил он у них в душе. Ударив отца, он, возможно, создал новую ситуацию па шахматной доске, но игра все равно будет продолжаться.

Он стал великодушным с тех пор, как начал спать с Агарью. Во всяком случае, он так считал. Рыцарственным. Во всяком случае, ему так чудилось. Таким рыцарственным и таким великодушным, что вступился

за мать, о которой почти никогда не думал, и расквасил физиономию отцу, которого и любил, и боялся.

У себя в спальне он начал перебирать разложенные на туалетном столике вещицы. К шестнадцатилетию мать подарила ему две оправленные серебром щетки, на которых были выгравированы буквы П. М. – «Помер Мейкон», но их можно было также расшифровать как «профессор медицины». Они шутили на эту тему, и мать настойчиво намекала, что ему неплохо было бы поступить на медицинский факультет. Он отвертелся: «На что это будет похоже? Какой больной захочет пригласить врача по фамилии Помер?»

Мать засмеялась, но напомнила ему, что у него есть и второе имя – Фостер. Что, если из этого имени сделать фамилию? Профессор Мейкон Фостер. Ведь хорошо звучит? Он вынужден был признаться, что хорошо. Оправленные в серебро щетки постоянно напоминали ему, о чем она мечтала для него – не ограничить образование средней школой, а поступить в колледж и вслед за тем на медицинский факультет. К деятельности мужа она питала не больше почтения, чем тот к выпускникам колледжа. Учиться в колледже, по мнению отца Молочника, значило тратить попусту время и не участвовать в бизнесе, а ведь бизнес учит приобретать. Вот дочерей ему непременно хотелось отдать в колледж, где они смогли бы подыскать себе подходящих мужей; одна из них, Коринфянам, в самом деле посещала колледж. Но Молочнику нет никакого смысла поступать туда, тем более что он приносит немалую пользу в конторе. Пользу настолько очевидную, что Мейкону удалось уговорить своих приятелей из банка побеседовать с какими-то другими их приятелями и перевести его сына из разряда подлежащих первоочередному воинскому призыву в разряд «необходим для поддержания семьи».

Молочник остановился перед зеркалом, освещенным низко висящим бра, и посмотрел на свое отражение. Оно, как и всегда, не произвело особого впечатления. У него было вполне приятное лицо. Глаза, которые нравились женщинам, твердая линия челюсти, великолепные зубы. По отдельности все выглядело неплохо. И даже более чем неплохо. Но связанности не было, в совокупности черты его лица не составляли единого целого. Все как-то неопределенно, смутно как-то, словно ты тайком заглядываешь из-за угла куда-то, где тебе быть не положено, и никак не можешь решиться, идти вперед или

удрать. Задумано-то нечто важное, а вот задумано оно второпях, кое-как, не всерьез.

Так стоял он перед зеркалом и старался забыть, как отец крался вдоль стены, и вдруг услышал: в дверь постучали. Ему не хотелось видеть сейчас ни Лину, ни Коринфянам и не хотелось по секрету от всех обсуждать с матерью то, что случилось. Но он не испытал ни малейшего облегчения, разглядев в полутьме коридора отца. Струйка крови все еще темнела возле уголка его рта. Но стоял он прямо, глядел решительно.

– Послушай, папа, – начал Молочник. – Я...

– Помолчи, – ответил Мейкон и, отстранив его, прошел в спальню. – Сядь.

Молочник подошел к кровати.

– Послушай-ка, попробуем все это забыть. Если ты обещаешь...

– Тебе сказано, садись, значит, садись. – Мейкон говорил негромко, но лицо его стало похожим на лицо Пилат: он прикрыл дверь. – Ты у нас нынче стал большим человеком, но стать большим – это еще не штука. Нужно стать человеком в полном смысле слова. А если тебе хочется быть человеком в полном смысле, ты и правду должен знать все полностью.

– Не нужно мне ничего рассказывать. Мне вовсе не обязательно знать все про вас с мамой.

– Нет, рассказать нужно, и знать все это тебе обязательно. Если уж ты приохотился поднимать руку на отца, то располагай хотя бы некоторой информацией перед тем, как двинуть меня в следующий раз. Я отнюдь не собираюсь ни оправдываться, ни извиняться. Информация, и больше ничего.

Я женился на твоей матери в 1917-м. Ей исполнилось тогда шестнадцать лет, и жила она вдвоем с отцом. По-моему, я не был в нее влюблен. В те годы этого не требовалось, не то что нынче. Ну, конечно, вступая в брак, люди рассчитывали на уважительное отношение, верность и... ясность. Так уж нужно человеку: верить и полагаться на то, что муж с женой рассказывают о себе только правду, – иначе пропадешь. Когда ты выбираешь жену, самое главное, чтобы вы оба не расходились в мнениях насчет того, что для вас обоих будет самым главным.

Ее отцу я не понравился, и, должен сказать, я тоже очень сильно в нем разочаровался. Он был, пожалуй, самым почтенным негром в этом городе. Не самым богатым, зато самым уважаемым. Но какой же он был притворщик. Держал деньги в четырех разных банках. Всегда спокойный, важный. Я думал, он и на самом деле такой, а оказалось, он потихоньку нюхает эфир. Все негры в нашем городе его боготворили. А он их презирал. Называл каннибалами. Когда родились твои сестры, он лично принимал и первую и вторую, и оба раза единственное, что его интересовало, – это цвет их кожи. От тебя бы он отрекся. Мне не нравилось, что он вздумал быть акушером у собственной дочки, в особенности оттого, что его дочь – моя жена. В «Приют милосердия» цветных тогда не пускали. Да она бы и не пошла к другому врачу. Я хотел разыскать повивальную бабку, но доктор Фостер сказал, что все они нечистоплотны. Я ответил ему, что меня самого в свое время принимала повивальная бабка и что если она для моей матери сгодилась, то сгодится и для его дочки. Одним словом, мы крупно поговорили, и я сказал под конец, что ничего не может быть отвратней, чем отец, принимающий младенца у собственной дочери. В общем, поставили точки над «і». После этого нам уже больше не о чем было спорить, но настояли-то они на своем. Он и Лину принял, и Коринфянам. Имена они позволили мне выбрать – я ткнул наугад пальцем в Библию, – а больше ничего. Сестры твои погодки, ты знаешь. И принимал ту и другую он. Присутствовал при родах, все видел. Я понимаю, он, конечно, врач, а врачей такие вещи вроде бы не волнуют, но он все-таки прежде всего мужчина, а потом уж врач. Я тогда понял: теперь они оба всегда будут против меня, и, что бы я ни делал, они своего добьются. Мне не давали забыть ни на миг, в чьем доме я живу, и где куплен наш фарфор, и как тесть выписал из Англии уотерфордскую вазу, а также стол, на который они поставили ее. Стол был такой большущий, что не влезал в дверь и его пришлось разобрать на части. Кроме того, доктор вечно бахвалился, что он вторым во всем нашем городе завел пароконный выезд.

Откуда я родом, на какой мы жили ферме – им на это было наплевать. И на мою работу тоже, неинтересно им это было, и конец. Я скупаю лачуги в трущобах – так именовали они мои дела. «Ну-с, как трущобы?» Такими словами приветствовал он меня каждый вечер.

Но не в том дело. С этим-то я мог примириться, потому что знал, чего хочу и как этого добиться. Так что примириться-то я с этим мог

вполне. Да в общем-то, и примирялся. Мне другое было обидно: они не желали считаться со мной, кое к чему и близко не подпускали. Один раз я попытался пустить в оборот часть тех денег, что лежали у него в четырех банках. В те времена за некоторые земельные участки платили бешеные деньги. Их скупала железнодорожная компания «Эри Лакаванна». А у меня на эти участки нюх. Я там все обшарил: набережную, пристань, развилку 6-го и 2-го шоссе. Точно вычислил, где будет пролегать железная дорога. И нашел-таки участок, который можно было дешево купить, а потом перепродать компании. Он мне даже десятицентовика не пожелал одолжить. Если бы он раскошелился, то умер бы богатым человеком, а то ведь был ни то ни се. И мои дела пошли бы в гору. Я просил твою мать, чтобы поговорила с ним. Подробно объяснил ей, как пройдет эта дорога. А она ответила: это он сам должен решать, мол, она не вправе на него воздействовать. Мне, своему мужу, ответила так. Тут уж хочешь не хочешь, а задумаешься, за кем же она замужем – за мной или за ним.

Ну, а потом он заболел. – Мейкон внезапно замолчал, как будто эта тема напомнила ему о его собственной бренности, и вынул из кармана белый носовой платок. Осторожно приложил его к разбитой губе. Поглядел на розовое пятнышко, оставшееся на материи. – Я думаю, – продолжал он, – вся его кровь пропиталась этим самым эфиром. Они как-то по-другому обозвали его болезнь, но я-то знаю, все дело в эфире. Он не вставал с постели и весь распух. То есть тело распухло, руки же и ноги высохли как палки. Он перестал принимать пациентов, и впервые в жизни этот надутый осел понял, что за удовольствие болеть и платить другому ослу, чтобы он тебя вылечил. Один врач, тот, что его лечил – из тех врачей, которые сами-то его к своим клиникам и близко не подпускали, а если бы он явился к их дочерям или женам принимать младенца, просто заикнулся бы об этом, они бы его с лестницы спустили, – так вот, один из них, из тех, которых он считал достойными его внимания, принес однажды какое-то зелье под названием «радиатор» и заявил, что этим зельем вылечит его. Руфь под собой от радости земли не чуяла. Ему и впрямь сделалось лучше на несколько дней. Потом снова хуже. Он совсем не мог двигаться, кожа стала слезать с головы. Лежал себе и лежал в той самой кровати, в которой и до сих пор спит твоя мать, а потом умер там, беспомощный, с раздутым брюхом, с костлявыми руками и ногами, похожий на белую крысу. Он, понимаешь ли, давно уже не мог переваривать пищу. Поэтому его только поили, а потом он еще что-то глотал. Я и сейчас не сомневаюсь – тот же эфир.

Вечером, когда он умер, я как раз находился в другом конце города, мы пристраивали к дому мистера Бредли крыльцо. Покосилось-то оно давно, но лет двадцать продержалось, а потом вдруг сразу обвалилось. Я взял помощников, и мы пошли туда прилаживать крыльцо – а то ведь тем, кто из дому выходит, приходилось оттуда прыгать, а тем, кто входит, – без всяких ступеней карабкаться на три фута вверх. Кто-то подошел ко мне тихонько и сказал: «Доктор умер». Руфь, сказали мне, у него, наверху. Я представил себе, как она убивается, и тут же поспешил домой успокоить ее. Я не стал терять время на переодевание и поднялся к нему в спальню в той же одежде, в какой чинил крыльцо. Руфь сидела в кресле у его кровати и, едва увидела меня, вскочила и закричала: «Как ты смеешь появляться здесь в таком виде? Приведи себя в порядок! Приведи себя в порядок, прежде чем сюда заходить!» Я вообще-то обиделся, но я с почтением отношусь к мертвым. Я вышел из комнаты. Принял ванну, надел чистую рубашку и воротничок, а после этого опять вернулся.

Мейкон снова замолчал и потрогал распухшую губу, словно именно здесь гнездилась боль, мерцающая в его глазах.

– В постели, – сказал он и умолк так надолго, что Молочник усомнился, будет ли он продолжать. – В постели – вот где она находилась, когда я снова открыл дверь. Лежала рядом с ним и целовала его. Он лежит там мертвый, белый и раздувшийся, и тощий, а она прижалась ртом к его пальцам.

Ну, скажу я, напереживался я тогда. Какие мне только ужасы не приходили в голову. Чьи дети Лина и Коринфянам? Ну, это я сообразил, что мои, ведь ясно же: старый подлец был не способен заделать ребенка. Куда уж там ему, ведь он нюхал эфир еще задолго до того, как я впервые появился у них в доме. Опять же, если б дети были не мои, он бы не волновался так по поводу цвета их кожи. Потом меня начали одолевать мысли насчет того, что он присутствовал при ее родах. Сношений между ними не было, об этом я не говорю. Но ведь и без сношений мало ли что он мог придумать! Во всяком случае, лежала же она в постели с мертвецом и чмокала его пальцы, а если так, то что же она вытворяла, когда он был жив? Убить такую женщину без всяких разговоров. Можешь мне поверить, я потом не раз жалел, что ее не прикончил. Но уж покоя в жизни я, конечно, не ждал. Иногда, понимаешь ты, Мейкон, иногда я не могу с собой совладать. Просто не успеваю. Нынче вот, когда она сказала: «Да, это так, я папина дочка», да еще с такой улыбочкой... –

Мейкон поднял взгляд на сына. Взгляд был открытым, щеки пылали. Только голос чуть заметно дрогнул, когда он сказал: – Ведь я неплохой человек. Ты это должен знать. Поверить мне. Ну сам вот погляди, кто так серьезно относится к своим обязанностям, как я? Не говорю, что я святой, но хоть это-то ты понимать должен. Я тебя старше на сорок лет, и других сорока мне не прожить. В следующий раз, когда тебе взбредет в голову меня ударить, ты сперва подумай: кто он, этот человек, с которым я решил расправиться? А еще подумай, что в следующий раз я тебе, может, этого и не позволю. Я хоть и старик, но сумею дать тебе отпор.

Он встал и положил носовой платок в задний карман.

– Ничего не говори сейчас. Но как следует подумай обо всем, что я тебе сказал.

Нажал на ручку двери и не оглядываясь вышел.

Молочник все сидел на краешке кровати; было тихо, лишь слегка гудело в голове. У него появилось странное чувство полной непричастности к тому, что он услышал сейчас. Словно неожиданно разоткровенничался незнакомец, подсевший к нему на скамейку в парке. И хотя он целиком и полностью сочувствовал огорчениям незнакомца – отлично представляя себе, как именно воспринимает тот все, что с ним случилось, – сочувствие его отчасти основывалось на том обстоятельстве, что к нему самому история незнакомца не имеет отношения и ничем ему не грозит. Час или менее тому назад он испытывал совершенно противоположные чувства. Тот посторонний, который вышел только что из его комнаты, был в то же время человеком, до такой степени ему небезразличным, что он с яростью ударил его. Он и сейчас ощущал зуд в плече от нестерпимого желания размахнуться и расквасить физиономию отцу. Поднимаясь к себе в спальню, он чувствовал, что он от всех отторгнут, но в то же время, что гнев его был справедлив. Он мужчина, на глазах у которого другой мужчина ударил беззащитное существо. Он не мог не вмешаться. Так повелось испокон веков. Мужчины всегда так поступают. Защищают слабых, обиженных и вступают в бой со злым великаном. А то, что слабой и обиженной оказалась его мать, а злым великаном – отец, лишь обострило ситуацию, но не изменило ее сути. Никоим образом. И незачем делать вид, что его толкнула на этот поступок любовь к матери. Слишком бестелесна, слишком призрачна была Руфь, чтобы внушать

любовь. Но как раз из-за своей бесплотности она и нуждалась в защите. Она не была замученной семейными обязанностями рабочей лошадью, отупевшей, согнувшейся под бременем домашних трудов и хлопот, запуганной грубияном мужем. Но в то же время не была она и сварливой мегерой, которая умеет постоять за себя и не лезет за словом в карман. Руфь была женщина неяркая, но вовсе не простая – она обладала утонченными манерами и всегда предпочитала прямым путем окольный путь. Она, кажется, довольно много знала, но очень мало понимала. Интересное наблюдение и совершенно неожиданное для него. Прежде ему не случалось размышлять над человеческими свойствами матери, усматривать в ней самостоятельно существующую личность, функции которой состоят не только в том, чтобы что-то позволять или запрещать ему.

Он надел куртку и вышел из дому. Было полвосьмого, еще не стемнело. Ему хотелось походить и подышать каким-то другим воздухом. Откуда ему знать, что он должен чувствовать, если он еще не знает, что ему думать. А думать было трудно в комнате, где поблескивала серебряная оправа щеток с буквами П. М. и на сиденье кресла, в котором только что сидел отец, еще виднелся отпечаток его зада. Разглядывая бледные звездочки, которые начали проступать на небе, Молочник пытался определить, что в рассказанной ему истории правда и какая часть этой правды имеет отношение к нему. Да и вообще, чего ради отец свалил на него эту, как он выразился, информацию? Ищет сочувствия? Интересно, как, по мнению отца, он теперь должен к ним обоим относиться? Ну, во-первых, не мешало бы узнать, правда ли все это. Правда ли, что мать... правда ли, что у нее было такое с собственным отцом? Мейкон говорит, что нет. Что доктор был импотентом. А откуда он знает? Впрочем, наверно, знает, раз говорит, потому что, если бы у него мелькнула хоть тень подозрения, будто такое возможно, уж он бы этого так не оставил. Тем не менее он допускает, что, даже будучи импотентом, можно что-то «придумать». «Черт бы его побрал, – сказал Молочник вслух, – на кой ляд он вздумал мне рассказывать всю эту фигню!» Не хотел он ничего об этом знать. Все равно ничем не поможешь. Доктор умер. Прошлого не переделаешь.

Его смятение внезапно перешло в злость. «Идиотство, – прошептал он, – форменное идиотство». Если ему хотелось просто утихомирить меня, думал Молочник, то почему бы прямо не сказать? Пришел бы как человек и сказал: «Не психуй. Ты не психуй, и я не буду психовать. Оба

перестанем психовать». И я ответил бы: «Ладно, годится». Так нет. Является ко мне и начинает черт-те что городить, объясняет, отчего и почему.

Молочник направлялся к Южному предместью. Может, удастся разыскать Гитару. Посидеть с Гитарой, выпить – сейчас бы самое оно. А не найдет Гитару, можно сходить к Агари. Хотя нет. Ему не хочется сейчас разговаривать с Агарью и вообще с женщинами. Разговаривать с ними о странном. А в самом деле, странная подобралась компания. Все ненормальные, вся их семейка. Пилат целыми днями распевает песни и плетет всякую чушь. Реба готова уцепиться за любые брюки. И Агарь ... ну что ж, Агарь просто милая, но и она ведь не такая, как все люди. Она тоже бывает с чудишкой. Но у них в доме хотя бы не скучно и никаких секретов нет.

Где он сейчас может быть, Гитара? Когда нужен, его сроду не найдешь. Какой-то попрыгунчик. То отсюда выпрыгнет, то оттуда, когда – не угадаешь, но только не вовремя. Молочник вдруг заметил, что нет-нет, да шепнет себе что-то под нос и на него глядят прохожие. И что это так много на улице людей в такое время? Куда они все прутся? Теперь он старался не произносить своих мыслей вслух.

«Тебе хочется быть человеком в полном смысле, ты и правду должен знать всю полностью», – сказал отец. А не могу ли я быть человеком в полном смысле и ничего такого не знать? «Располагай хотя бы некоторой информацией перед тем, как двинуть меня в следующий раз». Ладно. В чем же заключается информация? В том, что моя мама спала со своим папой. В том, что мой дедушка был светло-желтый негр, любил нюхать эфир и испытывал отвращение к людям с черной кожей. Тогда для чего же он позволил тебе жениться на его дочери? Для того, чтобы спать с ней, не вызывая подозрения соседей? А ты их хоть раз застал? Не застал. Но ты чувствовал, что тебя к чему-то не допускают. Возможно, к деньгам тестя. Он к ним тебя не допускал, ведь так? А его дочь не захотела помочь тебе, верно? И тогда у тебя возникла догадка, что они занимаются развратом на операционном столе. Если бы он предоставил в твое распоряжение все свои вклады в четырех банках и ты смог бы купить железную дорогу «Эри Лакаванна», ты бы позволил ему делать все, что угодно, да? Он бы мог в постель к тебе улечься, и вы резвились бы там втроем. Один... другой...

Молочник вдруг остановился как вкопанный. Его прошиб холодный пот. Прохожие его толкали: он мешал всем, торчал на дороге. Он что-то вспомнил. Или, может, ему показалось, будто вспомнил. А может быть, это приснилось ему когда-то во сне, и он вспомнил сон. Сперва ему представились двое мужчин и его мать с обнаженной грудью, но едва перед ним возникла эта картина, как ее перерезала трещина, и из трещины возникла новая картина. Зеленая комната, очень маленькая зеленая комната, мать сидит в расстегнутой блузке, кормит кого-то грудью, а этот кто-то – он сам. Значит... Что же значит? Мать кормила меня грудью. Все матери кормят грудью своих детей, так почему же у меня на шее вдруг выступил холодный пот? Он пошел дальше, не замечая прохожих, которые, толкая, обгоняли его, их сердитых, раздраженных лиц. Он пытался поподробней оживить в памяти картину, но у него это не получалось. Потом услышал звук, и он знал, что звук этот как-то связан с картиной. Смех. Кто-то, невидимый ему, находится в зеленой комнате и смеется... над ним и над матерью, и матери стыдно. Она опускает глаза и не смотрит на него. «Посмотри на меня, мама. Посмотри на меня». Но она не смотрит, смех же раздается теперь громко. Все смеются. Может, он напрудил в штаны? В какие штаны? Он ведь не носил тогда штанов. Его заворачивали в пеленки. Грудные дети всегда пачкают пеленки. Так почему же ему кажется, будто на нем штаны? Синие короткие штанишки. Вельветовые гольфики. Почему он так одет? Может быть, тот человек смеется над его одеждой? Грудной ребенок почему-то одет в синие гольфики? Он стоит на полу. «Посмотри на меня, мама» – вот и все, что он может сказать. «Посмотри на меня, ну пожалуйста». Стоит? Да ведь он же грудной. Мать держит его на руках. Он не может стоять.

«Я не мог тогда стоять», – произносит он вслух и подходит к витрине. Он смотрит на свое лицо, выглядывающее из поднятого воротника, и все делается ясно. «Мать кормила меня грудью, когда я был уже такой большой, что умел разговаривать, мог стоять, носить штанишки, и кто-то это увидел и стал хохотать, и... и поэтому все называют меня Молочником, и именно поэтому отец не называет меня так, и мать меня так никогда не называет, зато называют все остальные. Как же я забыл все это? И почему она делала так? И если она делала это со мной без всякой причины – ведь я уже тогда пил из стакана молоко и овалтайн [9], да и вообще я все пил тогда из стакана, – то, может быть, что-то другое она делала и со своим отцом?»

Молочник зажмурил глаза и снова их открыл. На улице еще прибавилось народу, и все двигались ему навстречу, из Южного предместья. Люди шли быстро, многие его толкали. Постояв еще немного, он заметил, что никто не идет по противоположному тротуару. На мостовой ни единой машины, улица освещена – уже зажглись фонари, – и видно, что она совершенно пустая. Он обернулся, пытаясь понять, куда же направляется поток прохожих, но увидел только спины и шляпы, торопливо устремляющиеся в ночную тьму. Снова посмотрел он на противоположную сторону Недокторской улицы. Ни души.

Он тронул за плечо какого-то мужчину в кепке, чуть на него не наткнувшегося.

– Скажите, почему все идут только по этому тротуару? – спросил он.

– Убери лапу, приятель! – огрызнулся прохожий и заторопился дальше.

Молочник снова зашагал в сторону Южного предместья, и ему не пришло в голову, что ведь и сам он мог бы перейти на другую сторону, где нет ни одного человека.

Ему казалось, он рассуждает спокойно и четко. Сам он никогда не любил мать, зато знал, что она его любит. И ему всегда казалось, что это правильно, что именно так и должно быть. Ее постоянная, неизменная любовь к нему, любовь, которой он даже не должен был добиваться, стараться чем-то заслужить ее, представлялась ему естественной. И вот все поломалось. Да существует ли хоть один человек на свете, который его любит? Любит просто за то, что он такой, какой он есть? Посещая питейное заведение тетки, он (во всяком случае, ему казалось так до разговора с отцом) становился объектом любви, подобной той, которую питала к нему мать. Мать любила его собственнической любовью, Пилат и Реба как-то иначе, но и они принимали его безоговорочно, и он чувствовал себя у них как дома. К тому же они относились к нему с уважением. Задавали разные вопросы и не пропускали его ответы мимо ушей – иногда смеялись, иногда сердились. Дома мать и сестры с безмолвным пониманием встречали любой его поступок, а отец – равнодушно или неодобрительно. Обитательницы домика в Южном предместье никогда и ни к чему не оставались равнодушны и никогда и ничего не понимали. Каждая его фраза, каждое слово были для них откровением, и они вслушивались в его речь, блестя глазами, как

вороны, трепеща от жгучего желания уловить и постигнуть все до единого звука. Сейчас он усомнился в них. Он во всех усомнился. Его отец ползком пробрался вдоль стены, а потом поднялся на верхний этаж, чтобы сообщить ему ужасные вещи. Теперь собственная мать перестала быть в его глазах просто матерью, обожающей своего единственного сына, и превратилась в порочного ребенка, играющего в бесстыдные игры с любым существом мужского пола – с родным сыном, с родным отцом. И даже его сестры, самые уживчивые и терпимые из всех знакомых ему женщин, изменились до неузнаваемости: у них стали чужие лица, а глаза обвело чем-то угольно-черным и красным.

Где же Гитара? Найти его, найти, ведь только он один всегда и неизменно ясен, и, если он находится в пределах их штата, Молочник его непременно разыщет.

Он нашел его именно там, где ожидал, – в парикмахерской Томми. Кроме Гитары, там оказалось еще несколько человек, и все они стояли, напряженно вытянув шеи, иные слегка пригнувшись, а некоторые подавшись всем телом вперед, и что-то слушали.

Войдя в комнату и увидев спину своего приятеля, Молочник так обрадовался, что тут же гаркнул:

– Гитара, привет!

– Тсс, – шикнул Железнодорожный Томми. Гитара оглянулся и сделал Молочнику знак: мол, подойди поближе, только тихо. Все собравшиеся в комнате слушали радио и что-то бормотали себе под нос и покачивали головами. Молочник не сразу понял, что их так взволновало. Сообщали, что в округе Санфлауэр, штат Миссисипи, найден труп юноши-негра, его забили до смерти ногами. Искать преступников не было необходимости: убийцы, не скрываясь, похвалялись своим подвигом, – да и мотивы убийства не являлись тайной. Парень свистнул вслед какой-то белой женщине и не стал запираяться, сказал: спал, мол, и с другими. Он был северянин, на Юг приехал ненадолго. Фамилия его Тилл.

Железнодорожный Томми все шикал, чтобы не шумели и дали ему дослушать все сообщение до последнего звука. Закончилось оно быстро, так как, кроме нескольких предположений и еще меньшего количества фактов, диктору было нечего сообщить. Как только он перешел к

следующей теме, парикмахерская загудела громкими голосами. Железнодорожный Томми, который раньше так старался всех утихомирить, в этом общем гомоне оставался безмолвным. Он подошел к ремню для правки бритв, а Больничный Томми в это время удерживал клиента, который порывался встать с кресла. Портер, Гитара, привратник Фредди и еще трое или четверо посетителей, стоявшие кто посередине комнаты, кто по углам, негодовали яростно и бурно, понося убийц последними словами. Кроме Молочника, молчали только Железнодорожный Томми да Небоскреб: Железнодорожный Томми потому, что правил бритву, Небоскреб же потому, что был придурковатым, а может, и немым, впрочем, в последнем уверенности не было. Вот насчет его придурковатости ни у кого не возникало сомнений.

Говорили все сразу, и Молочнику с трудом удавалось определить, кто на чью реплику отвечает.

– Завтра это будет в утренних газетах.

– То ли будет, то ли нет, – заметил Портер.

– По радио же передали! В газетах точно должно быть! – сказал Фредди.

– Белые в своих газетах не печатают таких известий. Вот если бы изнасиловали кого.

– Спорим, напечатают. На что поспорим? – настаивал Фредди.

– Чего тебе не жалко, на то и спорь, – отозвался Портер.

– Ставлю пять бумажек.

– Нет, погоди, – крикнул Портер. – Мы не обговорили где.

– Что значит «где»? Я ставлю пять бумажек, что это напечатают завтра в утренней газете.

– На спортивной странице? – спросил Больничный Томми.

– На страничке юмора? – добавил Нерон Браун.

– Нет, друг любезный, на первой странице. Я спорю на пять долларов, что это сообщение напечатают на первой странице.

– Да какая же, к чертовой матери, разница? – заорал Гитара. – Парнишку до смерти затоптали ногами, а вас тревожит только одно – напечатает ли про это какой-нибудь говнюк в своей газете. Затоптали его, спрашиваю, а? До смерти, а? За то, что парень свистнул вслед какой-то Скарлетт О'Хара[10]... белой дешевке.

– А зачем он это сделал? – спросил Фредди. – Он же знал, что он в Миссисипи. Он думал, какие там люди живут? Как в книжке про Тома Сойера?

– Ну свистнул! Ну и что? – ощерился Гитара. – Убить его за это надо?

– Он северянин, – ответил Фредди. – Приехал в южный штат, так смирненько себя веди. Чего он о себе вообразил-то? Да кто он такой, как он думает?

– Он думал, что он человек, так-то вот, – сказал Железнодорожный Томми.

– Ну и неправильно думал, – не сдавался Фредди. – В южных штатах черные – не люди.

– Не бреши. Там и черные – люди, – сказал Гитара.

– Это кто же, например? – спросил Фредди.

– Тилл. Вот кто.

– Он мертвый. Мертвец – это уже не человек. Мертвец – это труп. Просто труп, и все тут.

– Живой трус – тоже не человек, – сказал Портер.

– Ты о ком это? – Фредди мигом смекнул, что оскорбление относится к нему лично.

– Угломонитесь-ка вы оба, – сказал Больничный Томми.

– О тебе! – гаркнул Портер.

– Так это ты меня трусом назвал? – Фредди решил для начала уточнить факты.

– Подходит тебе такое название – забирай и пользуйся на здоровье.

– Если вы и дальше собираетесь так галдеть, выметайтесь из моего заведения, – сказал Больничный Томми.

– Объясни ты ему, дураку, – сказал Портер.

– Я вполне серьезно, – продолжал Больничный Томми. – Не о чем вам тут больше орать. Парень умер. Мама его плачет. Не может с ним расстаться, не дает его похоронить. Хватит уже, не слишком ли много пролито негритянской крови? Пусть и они заплатят своей кровью, те сволочи, что раздробили каблуками его череп.

– Ну, этих то поймают, – сказал Уолтерс.

– Поймают? Их поймают? – в изумлении переспрашивал Портер. – Ты что же, совсем дурачок? Ну да, поймают, доставят в муниципалитет, устроят в их честь банкет и выдадут медали.

– Во-во. Весь город готовится к параду, – сказал Нерон.

– Ну должны же их поймать!

– Должны, значит, поймают. А толку-то? Ты думаешь, им срок дадут? Да никогда!

– Как же можно не дать им срок? – Голос Уолтерса стал звонким, напряженным.

– Как? Да не дадут, и все, вот как. – Портер нервно теребил цепочку от часов.

– Так ведь об этом же теперь все знают. Везде и каждому известно. Что ни говори, а закон есть закон.

– Поспорим? Вот уж верный выигрыш, без риска!

– Дурак ты. Форменный дурак. Для цветных законов нет, кроме одного закона – сажать их на электрический стул, – сказал Гитара.

– Они говорили, у Тилла был с собой нож.

– Они всегда так говорят. Если бы у него вынули из руки жевательную резинку, они бы поклялись, что он гранату нес.

– И все равно ему следовало держать язык за зубами, – сказал Фредди.

– Это тебе следует язык за зубами держать, – отрезал Гитара.

– Эй, ты что это? – Фредди опять почувствовал: запахло угрозой.

– Мерзко на Юге, – сказал Портер. – Паршиво там. Ни хрена не изменилось в добрых старых Соединенных Штатах нашей Америки. Голову наотрез, отец этого парня в свое время отправился на тот свет где-нибудь в районе Тихого океана.

– А если до сих пор не отправился, то его теперь отправит какая-нибудь сволочь. Не забыл тех солдат в восемнадцатом году?

– Ууу! Лучше и не вспоминать...

И пошли истории о зверствах, сперва истории, услышанные от кого-то, потом случившиеся у них на глазах, а под конец и то, что с ними самими случилось. Длинный перечень унижений, насилий, оскорблений пролился стремительным потоком и, серповидно изогнувшись, уткнулся острием юмора в самих рассказчиков. Они вспоминали, с какой скоростью неслись, какие позы принимали, на какие пускались уловки, хохоча как сумасшедшие и таким образом доказывая, сколь возможно, что не такие уж они страшные трусы, просто люди как люди. Молчал только Небоскреб, стоя с метлой в руке и выпятив губы, и был похож на умненького мальчика десяти лет.

И Гитара. Оживление его прошло, лишь в глазах посверкивали искорки.

Выждав некоторое время, Молочник поманил его к дверям. Они вышли и, не говоря ни слова, зашагали по улице.

– Что стряслось? Когда ты вошел, вид у тебя был паршивый.

– Ничего, – сказал Молочник. – Выпить бы куда зайти.

- К Мэри?
- Нет! Там слишком много девок.
- Сейчас только полдевятого. «Кедровник» не откроют до девяти.
- А, черт! Придумай сам. У меня башка устала.
- Пошли ко мне, найдется кое-что.
- Это мысль. А ящик твой работает?
- Чего захотел! Никак не соберусь починить.
- Мне хочется музыки. Музыка и выпить.
- Тогда придется посетить мисс Мэри. А ее девушек я устраню.
- Правда? Интересно поглядеть, как ты будешь этими дамочками распоряжаться.
- Пошли, пошли. Здесь тебе не Нью-Йорк, выбор ограничен.
- Ладно, уговорил. Потопали к Мэри.

Прошагав несколько кварталов, они добрались до угла Рэй-стрит и Десятой.

Проходя мимо маленькой булочной, Гитара проглотил слюну и ускорил шаг. Заведение Мэри, выполняющее функции ресторанчика-бара, было самым процветающим на Донорском пункте – хотя на каждом из остальных трех углов имелись аналогичные забегаловки, – и причиной этого успеха была сама Мэри, смазливая, хотя и чересчур накрашенная официантка, она же совладелица бара, бойкая, игривая, острая на язык, приятная и занятая собеседница. Шлюхи чувствовали себя здесь в безопасности; одинокие пьянчуги имели возможность нализаться без всяких тревог; фраера там находили все – от желторотых цыплят до выдавших виды стервятников и даже подсадных уток; неугомонные домашние хозяйки упивались комплиментами и плясали так, что каблуки от туфель отлетали; подростки постигали здесь «правила жизни» – и никто из посетителей не скучал. Ибо освещение у Мэри было подобрано так, что все женщины выглядели красавицами, а если и не красавицами, то очень привлекательными. Музыка придавала

особый тон и стиль разговорам, от которых в другом месте мухи дошли бы со скуки. А напитки и еда побуждали посетителей к поступкам самого драматического свойства.

Впрочем, начиналось все это часов в одиннадцать. В половине же девятого, когда пришли Гитара и Молочник, ресторанчик был почти пуст. Они быстро юркнули в кабинку и заказали шотландское виски с водой.

Молочник сразу осушил свой стакан, заказал новую порцию и только после этого спросил Гитару:

- Отчего все называют меня Молочником?
- Почему я знаю? Насколько мне известно, это твое имя.
- Мое имя Мейкон Помер.
- И ты притащил меня в такую даль, чтобы сообщить мне свое имя?
- Мне нужно это узнать.
- А ну тебя. Ты лучше пей до дна.
- Ты свое имя знаешь, верно ведь?
- Отстань. Чего ты ко мне прицепился?
- Я сегодня врезал своему старику.
- Врезал?
- Да. Я его так ударил, что он упал на батарею.
- А что он тебе сделал?
- Ничего.
- Ничего? Ты ни с того ни с сего ему вмазал?
- Угу.
- Безо всякой причины?

– Он ударил мать.

– А...

– Он ее ударил. А я его ударил.

– Сочувствую.

– Угу.

– Я не шучу.

– Я знаю. – Молочник тяжело вздохнул. – Я знаю.

– Слушай. Я ведь понимаю, что у тебя сейчас на душе.

– Как же! Ни фига ты не понимаешь. Если с тобой такого не случилось, то не поймешь.

– Нет, я понимаю. Слушай, ты же знаешь, меня часто брали на охоту. У нас на Юге, еще когда я мальчонкой был...

– Вот не было печали. Опять пойдут истории про Алабаму?

– Я не из Алабамы. Из Флориды.

– Один черт.

– Не перебивай, Молочник. Послушай. Меня часто брали на охоту. Вот буквально только я начал ходить, и сразу же у меня прорезались способности к этому делу. Все говорили, я прирожденный охотник. Я мог услышать любой шорох, я чуял любой запах, я, как кошка, видел в темноте. Ты меня понял? Прирожденный охотник. И ничего я не боялся – ни темноты, ни крадущихся теней, ни непонятных звуков – и никогда не боялся убить. Я мог убить кого угодно. Кролика, птицу, змею, белку, оленя. А сам совсем еще малыш. И хоть бы что. Кто попадетсЯ, в того и стреляю. Взрослые просто со смеху помирали. Говорили, сама природа создала меня охотником. После того как мы с бабушкой перебрались сюда, я не скучал по Югу, скучал только по охоте. Поэтому, когда бабушка летом отправляла нас, ребят, на родину, я думал лишь о том, что снова смогу поохотиться. Запихнут нас, бывало, в автобус и отправят на все лето к бабушкиной сестре, тете Флоренс. И как только я туда приеду, сразу начинаю ждать, когда же мои дядюшки в лес соберутся.

Однажды летом – мне было тогда, по-моему, лет десять-одиннадцать – отправились мы все вместе на охоту, и я отбилсь от остальных. Мне показалось, я заметил оленьи следы. И плевать мне было, что сезон не для охоты на оленей. Я в любом сезоне когда видел их, то убивал. Насчет следов я не ошибся, следы оказались оленьи, только расположены как-то чудно – мне казалось, между ними расстояние должно бы быть пошире, – но все равно я видел: оленьи следы. Они, понимаешь, след в след себе попадают. Если ты не видел раньше их следов, то подумаешь: какая-то двуногая скотинка пробежала. Ну, я все равно иду, иду себе по следу, потом гляжу – кустарник. Свет падал удачно, и я вскоре разглядел среди ветвей оленя. Первым же выстрелом я свалил его, вторым – прикончил. Так приятно мне, знаешь ли, радостно стало. Представил себе, как показываю дядюшкам свою добычу. Но я добрался до места, где лежало тело – а шел я медленно, не торопясь, опасался, как бы не пришлось мне еще раз стрельнуть, – и увидел: это самка. Старая уже, но все равно – самка. И стало мне... тошно. Понимаешь ты, о чем я? Самку убил. Самку, понимаешь ты?

Молочник таращил на Гитару глаза со всей старательностью человека, желающего выглядеть трезвым.

— Вот почему я понимаю, что ты чувствовал, когда увидел, как отец ударил мать. Это все равно что выстрелить по самке. Мужчина этого не должен делать. Так что я вполне понимаю тебя.

Молочник кивнул, но Гитара не сомневался, что из его рассказа он не усвоил ровным счетом ничего. Вполне возможно. Молочник даже не знал, что такое самка, и, уж во всяком случае, он знал: это совсем не то что его мать. Гитара провел пальцем по краю стакана.

— Что она сделала, друг?

— Ничего. Улыбалась. Ему не понравилась ее улыбка.

— Чушь плетешь. Объясни все толком. И не торопись опять же. Беда вот, пить ты не умеешь.

— Как это я не умею пить?

— Извини. Ну, выкладывай.

- Я надеялся, мы серьезно поговорим, а ты несешь какую-то плешь.
- Я тебя слушаю.
- А я говорю.
- Говорить-то ты говоришь, да что? Папа врубил маме, потому что она ему улыбалась. Ты врубил ему, потому что он врубил ей. Так вот, хочется понять, ваша семья весь вечер этим занималась или ты мне еще что-то хотел рассказать?
- Потом был разговор у меня в спальне.
- С кем?
- С моим стариком.
- Что он тебе сказал?
- Сказал, я должен стать мужчиной в полном смысле слова и должен знать все правду полностью.
- Ну-ну.
- Ему хотелось когда-то купить «Эри Лакаванна», а мать ему помешала.
- Да? Так может, ее следовало ударить?
- Ты говоришь смешные вещи, друг.
- Почему же ты не смеешься?
- Я смеюсь. Внутренне.
- Молочник!
- А?
- Твой папа ударил по лицу твою маму? Верно это?
- Верно. Ударил.

- Ты его стукнул, верно?
- Верно.
- И никто тебе за это спасибо не сказал. Верно?
- Точно. Снова верно.
- Ни мать, ни сестры, а отец тем паче.
- Он тем паче. Верно.
- Разозлился и намылил тебе холку будь здоров.
- Верно. Хотя нет. Нет. Он...
- Он по-хорошему поговорил с тобой?
- Точно!
- Объяснил все, что и как.
- Ага.
- Насчет причины — почему он ее ударил.
- Угу.
- И оказалось, речь идет о каких-то давнишних делах? Все началось, когда тебя еще на свете не было?
- Точно! Ты мудрейший из темнокожих. Надо бы в Оксфордский университет сообщить, какое юное дарование объявилось у нас в городе.
- А тебе-то вовсе ни к чему, чтобы он выкладывал все эти давние секреты, не имеющие отношения к тебе, не говоря уж о том, что помочь ты все равно ничем не можешь.
- Суть изложена совершенно верно, Гитара Бэйнс, доктор философии.
- Но все-таки он тебя растревожил?

— Стой, я подумаю. — Молочник закрыл глаза и попытался подпереть ладонью подбородок, но это оказалось невыполнимым. Он слишком уж энергично старался напиться как можно скорей. — Точно. Растревожил. Пока мы шли сюда, мне было не по себе. Не знаю я, Гитара. — Он вдруг стал очень серьезен, на лице появилось застывшее, напряженное выражение, как у человека, который старается удержаться, чтобы его не вырвало... или чтобы не расплакаться.

— Забудь об этом, друг. Что он ни наговорил тебе — забудь.

— Я надеюсь, мне это удастся. Я правда надеюсь.

— Слушай, малый, люди ой-ой как чуют. Особенно мы, негры. Карты нам сданы паршивые, и, стремясь не выйти из игры — только для того, чтобы нас не вышибли ни из игры, ни из жизни, — мы чудим. Мы не можем иначе. Не можем не обижать друг друга. Почему — сами не знаем. Только вот что: близко к сердцу этого не принимай и на других не переваливай. Поломай над этим делом мозги, но, если не сможешь понять, выброси все из головы и будь мужчиной.

— Не знаю я, Гитара. Понимаешь, очень уж меня все это завертело.

— А ты не поддавайся. Или сделай так, чтобы все вертелось, как тебе удобно. Вспомни Тилла. Ведь и его завертело. А сейчас о нем передают по радио в вечерних известиях.

— Ну, он псих.

— Нет, совсем не псих. Молодой он, но не псих.

— Кому какое дело, спал он с белой девкой или нет? Подумаешь, достижение, с ними всякий может переспать. Нашел чем хвастаться. Кого это волнует?

— Белых подонков.

— Значит, они еще психовее его.

— Конечно. Только они живые психи, а он мертвый.

— Ладно, ну его куда подальше, Тилла. Думать сейчас нужно обо мне.

— Я тебя правильно понял друг?

— Вообще да. Но я не то хотел сказать. Я...

— Что же с тобой случилось? Тебе не нравится твое имя?

— Да. — Молочник прислонился головой к задней стенке кабинки. — Да, мне не нравится мое имя.

— Дай-ка я скажу тебе одну вещь, детка. Негры получают имена как придется, и точно так же они получают все. Как придется.

Глаза Молочника застлал туман, и речь его стала туманной.

— А почему мы не можем получить все как положено?

— Нам именно так и положено — как придется. Пошли. Я отведу тебя домой.

— Нет. Не могу я идти домой.

— Домой не пойдешь? А куда же?

— Можно я переночую у тебя?

— Брось, ну ты же знаешь, как я живу. Одному из нас придется спать на полу. К тому же...

— Я лягу на полу.

— К тому же ко мне может заявиться подружка.

— Без дураков?

— Без дураков. Вставай, пошли.

— Я не пойду домой. Ты меня слышишь, Гитара?

— Так мне что, тебя к Агари отвести? — Гитара поманил официантку.

— К Агари. Да... да. Солнышко мое, Агарь. Хотел бы я знать ее имя.

— Ты его только что сказал.

— Я фамилию имел в виду. Как фамилия ее панаши?

— Спроси у Ребы. — Гитара уплатил по счету и помог Молочнику дойти до двери. Па улице за это время стало ветрено, похолодало. Гитара съежился и энергично задвигал руками, чтобы согреться.

— Вот уж у кого не надо спрашивать, так это у Ребы, — сказал Молочник. — Реба и своей-то собственной фамилии не знает.

— Спроси у Пилат.

— Да. У нее я спрошу. Пилат знает. Она хранит свое имя в той идиотской коробочке, что у нее вместо серьги. Свое и имена всех прочих. Готов поспорить, там и мое имя хранится. Надо будет узнать у Пилат. А ты знаешь, как отец моего старика заполучил свою фамилию?

— Нет. Как он ее заполучил?

— Ему ее придумал один белый подонок.

— Да ну? И он даже не стал спорить?

— Нет, не стал. Как овца: поставили ему клеймо, а он и не смекнул. Захотел бы кто его убить — убил бы.

— На кой? Он ведь и так Помер.

ГЛАВА 4

Он снова покупал подарки к рождеству в магазине Рексолла. Он все тянул и тянул до последнего дня: сходить раньше в магазин и подобрать покупки с толком у него не было ни сил, ни охоты, уж очень он размяк. Тоска, которой он слегка прихварывал на первых порах, захватила его полностью. Делать ему ничего не хотелось, разговоры перестали увлекать. Предпраздничная суeta домашних казалась фальшивой, унылой. Мать, как перед каждым рождеством, ужасалась несусветным ценам на рождественские елки и масло. Можно подумать, в этом году елка будет чем-то отличаться от всех предыдущих — ветвистая махина, водруженная в углу и увешанная украшениями, которые мать хранит с детства. Можно подумать, ей в этом году удастся испечь съедобный фруктовый торт и хорошо прожарить индейку. Отец

роздал им всем конверты с различными суммами денег, и у него даже мысли не мелькнуло, что им, может быть, для разнообразия хочется, чтобы он сходил в универсальный магазин и сам выбрал подарки.

Молочник справился с делом быстро, да и подарков он купил немного. Одеколон и пудру для Магдалины, называемой Линой; прессованную пудру для Коринфянам; матери — пятифунтовую коробку шоколадных конфет. Отцу — бритвенные принадлежности. Все это он провернул за четверть часа. Единственной проблемой был подарок для Агари. Самое главное, он совсем не был уверен, что собирается еще долго с ней встречаться. Он редко водил ее куда-нибудь, кроме кино, и никогда не ходил с ней на вечеринки, на которых люди его круга танцевали, веселились и флиртовали. Все его знакомые знали про Агарь, но не считали ее настоящей подружкой Молочника, официальной, признанной, то есть такой, на которой можно жениться. Из всех женщин, за которыми он ухаживал «всерьез», только две сердились на него за связь с Агарью, остальные не считали ее соперницей.

Сейчас, когда они встречались уже больше двенадцати лет, она ему порядком надоела. Ее странности не представлялись теперь пикантными, а поразительная покладистость, с которой она ему отдавалась, перестала казаться величайшим благом, и его уже сердило, что Агарь ничего не делает, чтобы он этого блага добивался, преодолевал преграды и трудности ради него. За это благо не приходилось даже платить. Оно было таким доступным и изобильным, что утратило всякую прелесть. Агарь перестала его волновать, и при мысли о ней кровь не бурлила у него ни в голове, ни в сердце.

Она была как третья кружка пива. Не первая, которую пересохшая глотка выпитывает чуть ли не со слезной благодарностью; не вторая, усугубляющая и продлевающая удовольствие, полученное от первой. Третья кружка, которую пьешь, потому что она перед тобой стоит, и потому что вреда она принести не может, и потому что не все ли равно?

Возможно, конец года — самое подходящее время, чтобы прикрыть эту историю. Перспектив она не сулит никаких, он же разленился, как медведь, которому достаточно засунуть в дупло лапу, чтобы зачерпнуть целую пригоршню меду, и потому он утратил проворство

своих братьев, вынужденных лазать по деревьям и спасаться от пчел, зато они хранят воспоминание о том, как увлекателен поиск.

Он ей, конечно, купит что-нибудь на рождество, что-нибудь приятное на память, только не из тех вещей, которые могут навести на мысль, будто он решил на ней жениться. Вот, скажем, украшения для платья из полудрагоценных камней. Ей они, наверное, понравились бы, но они меркнут в сравнении с бриллиантовым кольцом, которое носит за пазухой Реба. Дамские часики? Она на них глядеть не будет.

Рассматривая разложенные в стеклянной трубке часики, он заметил, что начинает сердиться. До сих пор ему не приходилось ломать себе голову, выбирая для нее подарок. Все предыдущие годы на рождество он просто-напросто останавливался на чем-то (или предоставлял это сестрам) из длинного списка предметов, названных на этот случай Агарью. Предметов, совершенно неприменимых в ее домашнем обиходе: темно-синем атласном купальном халате (это для женщины, живущей в доме, где не имеется ванной); кукле; сетке для волос, украшенной бархатным бантом; браслете из горного хрусталя и таких же серьгах; туфлях-лодочках из патентованной кожи; одеколоне «Белые плечи». Сперва Молочник удивлялся такой требовательности и алчности, потом вспомнил: ни Реба, ни Пилат никогда не отмечают праздников. И в то же время щедрость их так безгранична, что выглядит просто беспечностью, и они ничего не жалеют, стремясь выполнить любой каприз Агари. Когда он впервые ее обнял, Агарь была довольно самовлюбленной и заносчивой особой. Ему нравилось облекать свои воспоминания в такую форму: он, мол, впервые обнял Агарь; на самом деле как раз она позвала его к себе в спальню и с улыбкой расстегнула пуговицы на блузке.

Он влюбился в нее с первого взгляда, когда ему было двенадцать, а ей семнадцать лет, и в ее присутствии попеременно то блистал остроумием, то изнемогал от смущения. Она обходилась с ним как с малым ребенком, не обращала на него внимания, дразнила — словом, делала все, что в голову придет; его же умиляли все ее поступки и перемены в ее настроении. Рвение, с каким он собирал с жильцов квартирную плату, объяснялось главным образом тем, что это занятие предоставляло ему возможность выбрать время и сбегать в питейное заведение тетки, где, как он надеялся, окажется Агарь. Его охотно

принимали там в любое время, и каждый день после уроков он норовил воспользоваться случаем и на нее полюбоваться.

Шли годы, но по-прежнему в присутствии Агари он трепетал, как птенец. Он преодолел мало-помалу этот трепет после того, как Гитара сводил его на вечеринку в Южном предместье, и после того, как он обнаружил, что может, не прилагая ни малейших усилий, пользоваться успехом у своих сверстниц, живущих в его районе. Но и когда ему исполнилось семнадцать, а Агари двадцать два года и он уже не трепетал, как птенец, в ее власти по-прежнему было взволновать его до предела. Эту власть она осуществила в один мартовский день, ничем не примечательный и заурядный, когда он на двухцветном папашином «форде» подкатил к домику тетки за двумя бутылками вина. Раздобыть для предстоящей вечеринки спиртное казалось чрезвычайно важным делом компании юнцов, из которых никто еще не достиг двадцати одного года, и поэтому на Молочника возлагались все надежды и упования остальных. Но, войдя в дом тетки, он оказался свидетелем семейной бури.

Новый дружок Ребы попросил у нее в долг небольшую сумму, а она ему сказала, что у нее совсем нет денег. Так как еще недавно она сделала ему два или три довольно ценных подарка, он решил, что она лжет и попросту надумала дать ему отставку. Во дворе за домом разгорелась ссора... односторонняя, так как участвовал в ней только приятель Ребы. Она же плакала и пыталась ему втолковать, что сказала чистую правду. Едва Молочник вошел в дом, как из спальни выскочила Агарь, наблюдавшая за этой сценой в окошко. Она крикнула сидевшей в комнате Пилат:

— Мама! Он ее бьет! Я сама видела! Кулаками, мама!

Пилат, занятая в этот момент чтением учебника географии для четвертых классов, подняла голову и закрыла книгу. Очень неторопливо, как показалось Молочику, она направилась к полке, висевшей над краном, положила учебник географии на полку, а оттуда сняла нож. Затем она так же неторопливо вышла через переднюю дверь, так как в доме не имелось черного хода, и, как только она распахнула дверь, до Молочника донеслись вопли Ребы и ругань ее кавалера.

У него не мелькнуло и мысли о том, чтобы остановить Пилат — вид ее был грозен, даже губы перестали шевелиться, а медная коробочка сверкала в ухе, — но он вместе с Агарью последовал за ней, и они оба видели, как Пилат обошла дом и, приблизившись к любовнику дочери сзади, обхватила его правой рукой за шею и приставила нож к сердцу. Она подождала немного и, когда он ощутил прикосновение ножа к своему телу, искусно продвинула его примерно на четверть дюйма, проткнув рубаху и кожу. Продолжая придерживать его шею рукой, так что видеть он ничего не видел, а только ощущал, как рубаха становится липкой от крови, она обратилась к нему с такими словами:

— Золотко, я вовсе не собираюсь тебя убивать. Ради бога, не волнуйся. Просто постой минуточку спокойно, потому как я держу ножик прямо у тебя под сердцем, но совсем не собираюсь совать его глубже. Ведь если сунуть его глубже, то сердце-то насквозь. Потому тебе не надо шевелиться, понял? Ты вот двинешься самую малость, а у меня рука может вздрогнуть. Сейчас-то, золотко, дырочка еще небольшая, так, словно оцарапали булавкой. Ложки две крови может вытечь, не больше. Так что, если ты, золотко, не будешь шевелиться, я выну ножик аккуратненько и ничего тебе не попорчу. Но сперва, я думаю, нам бы надо потолковать с тобой малость.

Мужчина зажмурил глаза. С его висков стекали струйки пота и катились по щекам. Несколько соседей, услышавших вопли Ребы, зашли во двор поглазеть и послушать. Все они сразу поняли, что мужчина приехал в их город недавно. В противном случае он знал бы кое-что о Ребе, скажем, знал бы, что у Ребы ничего не задерживается в руках, она все отдает немедля и, если б в доме оказалось хоть несколько центов, она отдала бы их своему кавалеру; самое же главное, не будь он чужаком в их городе, он вел бы себя очень осторожно во всем, что связано с Пилат, женщиной доброжелательной и миролюбивой, но в то же время, как полагали, способной сбросить с себя кожу, зажечь куст, находящийся от нее на расстоянии пятидесяти ярдов, и превратить человека в спелую брюкву — и все это благодаря тому, что у нее нет пупка. Поэтому пострадавший не вызвал большого сочувствия. Зрители только вытянули шеи, чтобы получше расслышать, что говорит ему Пилат.

— Видишь ли, миленький, она — единственный мой ребенок. Первое мое дитя, и, если бы ты обернулся и посмотрел на мое лицо, чего ты, конечно, не можешь, не то у меня рука вдруг дернется ненароком, ты бы понял, что других детей у меня уже не родится. Мы, женщины, глупые, понимаешь, матери же глупее всех. Сам ведь знаешь, что такое мама, верно? И у тебя ведь мама есть. Ну конечно, есть, и потому ты все отлично понимаешь. У мамы сердце ноет, мама места себе не находит, если кто-нибудь обидит ее ребенка. Первое большое горе в моей жизни приключилось, когда я узнала, что кто-то — маленький мальчонка, соплячок — плохо относится к моей девоньке. Со мной такое творилось, я просто места не находила себе. Мы стараемся, мы очень стараемся, но ведь силы-то у нас не мужские. Вот почему, когда мы видим, как здоровенный мужик колотит одну из нас, нам становится горько. Понял ты меня? Просто сил моих нет убрать ножик и отпустить тебя, чтобы ты еще когда-нибудь обидел мою девоньку. Уж одно-то я знаю наверняка: что бы она там ни натворила, ты от нее не видел ничего, кроме добра. И все-таки сил моих нету воткнуть ножик поглубже и заставить твою маму почувствовать то же, что чувствую сейчас я. Честно скажу тебе, сама не знаю, что делать. Может, ты мне посоветуешь? Ну скажи, как быть?

Мужчина попытался перевести дыхание, и Пилат слегка отодвинула руку, давившую ему на горло, но оставила нож в прежнем положении.

— Отпусти меня, — сказал он шепотом.

— М-ммм?

— Отпусти меня. Я ее больше никогда... не трону. Обещаю.

— Честно обещаешь, мой сладкий?

— Да. Честно. Вы меня больше и не увидите-то никогда.

Реба сидела на земле, обхватив руками колени, и наблюдала неподбитым глазом всю эту сцену, как в кино. У нее была расквашена губа и на щеке красовался огромный синяк, а из разбитого носа стекала тонкой струйкой кровь, хотя, судя по красным пятнам на руках и на юбке, она вовсю старалась приостановить кровотечение.

Пилат освободила своего пленника. Он слегка пошатнулся, взглянул на перепачканную кровью рубашку, потом вскинул взгляд на Пилат и медленно попятился к дому, сопровождаемый ее пристальным взглядом. И лишь когда он скрылся из виду и бегом помчался по улице, ее губы опять зашевелились.

Теперь все занялись Ребой, которой никак не удавалось подняться. Ей кажется, сказала она, у нее что-то сломалось в том месте, куда он пнул ее ногой. Пилат ощупала ей ребра и сказала, ничегошеньки у нее не сломалось. Но Реба захотела пойти в больницу. (Она мечтала стать пациенткой больницы, чего только не делала, чтобы туда попасть, поскольку в ее вскормленном кинофильмами воображении больница рисовалась шикарным отелем. Она сдавала туда кровь так часто, как ей только разрешали, и прекратила свои посещения, лишь когда донорский пункт перенесли в небольшую клинику типа конторы, расположенную неподалеку от «Приюта милосердия».) Сейчас она упорно стояла на своем, и Пилат пришлось подчиниться. Один из соседей предложил подвезти их на машине, и они тотчас укатили, велев Агари продать Молочнику вино.

Драматические события, разыгравшиеся на заднем дворе, привели Молочника в восторженное состояние, и он поспешил вслед за Агарью в дом, чтобы вдоволь нахохотаться и обсудить все подробно. Агарь была в такой же степени невозмутима, в какой он был возбужден, и столь же лаконична, сколь он многословен.

— Тоже мне подвиг! Она выше его на добрых два дюйма и еще жалуется, что силы у нее не мужские.

— Мы, женщины, и в самом деле слабы.

— По сравнению с чем? С «боингом-52»?

— Далеко не каждая женщина так сильна, как Пилат.

— Надеюсь. Даже в два раза слабей ее — и то уже немало.

— Дело ведь не в мускульной силе. Женская слабость во многом другом.

— В чем же? Перечисли. Какие у тебя есть слабости?

— Я не о себе. Я о других.

— А у тебя нет слабостей?

— Пока не замечала.

— Ты, наверное, считаешь, я должен делать все, что тебе захочется?

— Возможно, — сказала Агарь.

— Хм! Ну что ж, пожалуй, я не стану спорить. Того гляди, придет Пилат с ножом.

— Ты ее боишься?

— Ага. А ты не боишься?

— Нет. Я никого не боюсь.

Ясно. Ты зубастая. Я, между прочим, так и думал.

— Ничего я не зубастая. Я просто не люблю, когда мне говорят, что нужно делать. Я что хочу, то и делаю.

— Пилат тебе говорит, что нужно сделать.

— Но если мне не хочется, я не обязана ей подчиняться.

— Жаль, что у нас с матерью не так.

— Твоя мать тобой командует?

— Ну... не то чтобы так уж прямо командует. — Молочник замялся, не зная, как описать свою, как он считал, зависимость от материнских придирок.

— Сколько тебе лет? — спросила Агарь и слегка приподняла брони, как взрослая женщина, которая из вежливости интересуется возрастом малого ребенка.

— Семнадцать.

— Ты уже мог бы жениться. — Агарь явно намекала на то, что в его возрасте не следует позволять маме говорить, что нужно делать, а чего нельзя.

— Я подожду, пока ты за меня пойдешь, — сказал он с надеждой, что в этой фразе снова (или наконец-то) прозвучит дерзость выдавшего виды мужчины.

— Долго тебе ждать придется.

— Почему?

Агарь раздраженно вздохнула:

— Потому что я должна быть влюблена в того мужчину, за которого выйду замуж.

— А ты попробуй, выйди за меня. Там посмотришь.

— Слишком уж ты молод.

— Это зависит от настроения.

— Вот-вот. От моего настроения это зависит.

— Все вы женщины такие. Ждете прекрасного принца: мол, в один чудесный день он приедет верхом и остановится возле твоих дверей. А ты сбежишь навстречу ему с лестницы, и... ух ты! Он подхватит тебя на руки, посадит перед собой, и лошадь принца унесет вас вдаль навстречу ветру под звуки скрипок, а на крупе у нее будет штемпель: «Собственность «Метро Голдинг Мейер»[\[11\]](#). Верно?

— Верно, — сказала она.

— А чем ты занимаешься пока?

— Воспитываю маленьких мальчиков и делаю из них взрослых.

Молочник улыбнулся, но ему не было смешно. Агарь захохотала. Он бросился к ней, хотел ее обнять, но она улизнула в спальню и заперлась там. Он потер тыльной стороной ладони подбородок и

взглянул на запертую дверь. Потом пожал плечами и взял две бутылки вина.

— Молочник? — Агарь приоткрыла дверь и высунула голову. — Пойди сюда.

Он обернулся и поставил бутылки на стол. Дверь в спальню была открыта, но он не видел Агари, только слышал, как она смеется, тихо и лукаво, словно выиграла какое-то пари. Он бросился к ней так поспешно, что забыл пригнуть голову в середине комнаты и наткнулся на подвешенный к потолку спальни зеленый мешок. К тому времени, когда он до нее добрался, на лбу у него вскочила шишка.

— Что вы там держите, в этом мешке? — спросил он не без досады.

— Это не я, а Пилат держит. Говорит, это ее наследство.

— Что же она унаследовала? Кирпичи? Тут он увидел ее грудь.

— Вот чем я занимаюсь пока, — сказала она.

Они хихикали, гонялись друг за дружкой по спальне, страх и смущение больше не сковывали их, а вскоре они стали проводить в комнате Гитары, когда тот уходил на работу, столько же времени, сколько проводил там он сам, когда не ходил на работу. Она прочно вошла в его жизнь, но он скрывал — не очень тщательно — их отношения. Он никогда не знал, чего от нее ждать: то откликнется на его желание, а то вдруг откажет. И ни в том, ни в другом случае не поймешь, почему она так поступила. Он полагал, что Реба и Пилат знают об их новых отношениях, но они ни разу на это не намекнули. Он уже не восторгался ею с тем жаром, каким пылал в двенадцать лет, но в постели она была восхитительна, проказница и, несмотря на искушенность, сохраняла безыскусственность — одним словом, была увлекательнее любой из ее сверстниц. Иногда она не подпускала его к себе месяцами, а потом в один прекрасный день он приходил к ней, и она встречала его нежно и сияла радостно улыбкой.

Эти приливы и отливы ее страсти длились года три, затем отказы начали сходить на нет, и к тому времени, когда он ударил отца, ни о каких отказах давно уж не было речи. Мало того, теперь она с нетерпением дожидалась его, и чем больше времени у него отнимали

все другие стороны его жизни, тем надежнее и привязчивее становилась Агарь. Она капризничала, дулась, обвиняла его в том, что он ее не любит, не хочет ее больше видеть. И хотя он редко вспоминал о своем возрасте, Агарь свой возраст ощущала постоянно. Молочник, собственно, остался беспечным мальчишкой и в тридцать один год. Агари было тридцать шесть, и ее снедала тревога. Она стремилась связать его обязательством, он подумывал о том, как бы с ней развязаться.

Он расплатился с приказчиком за подарки и вышел из магазина, твердо решив, что историю эту надо прикрыть.

Мы ведь родственники — нужно ей напомнить, подумал он. Подарка вообще не нужно покупать, вместо подарка он вручит ей деньги, порядочную сумму. И объяснит, что хотел купить по-настоящему роскошный подарок, но побоялся скомпрометировать ее. Что ей нужен совсем не такой человек, как он. Человек ей нужен положительный, который сможет на ней жениться. Он же помеха на ее пути. И если к тому же учесть, что они родственники и все прочее, ей следует заняться поисками подходящего жениха. Ему больно, скажет он, ему очень больно, их ведь связывает столько лет, но если любишь кого-то так, как он ее любит, то приходится думать прежде всего не о себе. Нельзя быть эгоистом с теми, кого любишь.

Он так тщательно обдумал всю эту речь, что ему стало казаться, будто они уже поговорили и все утряслось. Возвратившись в контору, он вынул деньги из сейфа и написал Агари очень милое письмо, кончавшееся словами: «А еще спасибо. Спасибо тебе за то, чем ты была для меня. За счастье, которое давала мне все эти годы. Я подписываю это письмо, конечно, с любовью, но еще больше с благодарностью».

Он и в самом деле подписал его с любовью, но слова «благодарность» и бестактное в своей холодности «спасибо» отбросили Агарь туда, где все сверкало голубым, а воздух был легкий, и где всегда стояла тишина, а люди разговаривали шепотом или вообще обходились без слов, и все вокруг холодило, как лед, и лишь и се груди время от времени вспыхивало пламя, а потом, потрескивая, угасало, пока она наконец не кинулась на улицу разыскивать Молочника Помера.

Прошло уже немало времени после того, как Молочник вложил в конверт письмо и деньги, а он все еще сидел в конторе за отцовским письменным столом. В счетной книге появлялись новые колонки цифр, затем он их переписывал, так как каждый раз получалось то на восемьдесят центов меньше, то на восемьдесят больше. Он не мог сосредоточиться, и вовсе не потому, что его тревожило, как быть с Агарью. Незадолго до этого у них с Гитарой состоялся разговор по поводу случившегося недавно убийства. Юношу лет шестнадцати, возвращавшегося из школы домой, задушили, судя по всему — веревкой, и проломили ему голову. Представители полиции штата, действуя в контакте с местными полицейскими, пришли к выводу, что юноша убит способом, весьма напоминающим тот, каким был убит другой подросток в канун Нового 1953 года и четверо взрослых мужчин, убитых в 1955 году, — удушение и пролом черепа, наступивший в результате тяжелых ударов в лицо. В биллиардных и в парикмахерской Томми прошел слух, что это снова взялась за свое Уинни Рут Джад. Вспоминали с хохотом и пересказывали людям, приехавшим в их город недавно, как еще в 1932 году Уинни Рут, убийцу, уличенную в том, что она убивала свои жертвы топором, а затем разрубала на части и распихивала по чемоданам, поместили в местный дом умалишенных, как виновную в преступлениях, совершенных в неменяемом состоянии, и как она удирала оттуда по два, по три раза в год.

Однажды, прежде чем ее поймали, она прошла две сотни миль пешком по территории двух штатов. В декабре этого года, как раз в то время, когда Уинни Рут была на свободе, в их городе случилось зверское убийство, и все жители Южного предместья не сомневались, что это дело ее рук. С тех пор, стоило пройти молве о каком-нибудь особенно жестоком убийстве, негры приписывали его Уинни Рут. Их мнение основывалось на том, что Уинни белая, а ее жертвы тоже. Так они пытались объяснить себе явление, которое называли безумием белых, — убийство совершенно незнакомых людей, задуманное и осуществленное патентованным психом. Такие преступления могли совершить собратья по безумию и по расе, а под это определение вполне подходила Уинни Рут Джад. Негры были твердо убеждены, что представители их собственной расы убивают друг друга, лишь имея веские причины: покушение на чужую собственность (человека застали с чужой женой), несоблюдение законов гостеприимства (человек в гостях у друга лезет в горшок с тушеными овощами и неожиданно вытаскивает оттуда кусок мяса) или же словесные оскорбления, ставящие под сомнение чью-либо возмужалость, честность, доброту и душевное здоровье. Главное же,

они верили, что совершаемые ими преступления неподсудны, ибо они совершаются в пылу страсти: гнева, ревности, уязвленной гордости и так далее. Станные, немотивированные преступления смешили их — конечно, если жертвой не являлся чернокожий.

Насчет мотивов последнего преступления Уинни Рут высказывались разные предположения. Кто-то сказал, что она осатанела от длительного поста и отправилась на ловлю, но, смекнув, что взрослый мужчина едва ли на нее польстится, наметила своей жертвой школьника. Другой сказал, что ей, может, не нравятся модные ботинки, и, когда она сбежала из психушки и прошла, спасаясь от неволи, четыреста миль, первое же, что попало ей на глаза, был парнишка в таких ботинках, и она не выдержала — тут же его убила.

Шутки шутками, но в разговорах проскальзывал страх. Полиция сообщила, что один из свидетелей припоминает, будто видел «негра с кудлатой головой», удиравшего со школьного двора, где было найдено тело.

— Того же самого кудлатого негра они видели, когда Сэм Шепард зарубил жену топором, — сказал Портер.

— Он молотком ее прикончил, приятель, — поправил Гитара. — Двадцать семь ударов молотком.

— Иисусе милостивый! Почему двадцать семь? Какое зверское, жестокое убийство!

— Все убийства жестокие, — сказал Больничный Томми. — Убить человека — всегда жестоко. В фильмах вам показывают, как герой легонечко берет кого-нибудь за шею, а жертва еле кашляет и тут же отойдет в лучший мир. Не верьте им, друзья. Организм у человека живучий. В минуту смертельной опасности человек делается очень сильным.

— Томми, ты убил кого-нибудь на войне?

— Нескольких прикончил собственноручно.

— Прямо руками?

— Штыком. Солдаты 92-го полка имели обыкновение пользоваться штыками.

— Ну, а какое ощущение?

— Несимпатично. Чрезвычайно несимпатично. Даже зная, что в противном случае он сделал бы точно то же с тобой, все равно чувствуешь, что ты поступаешь на редкость вульгарно.

Все посмеялись, как всегда, над специфической манерой Томми.

— Так вот почему в армии служить не вмоготу, — заметил какой-то толстяк. — Ну, а если просто по городу гуляешь и вдруг встретишь зверюгу расиста?

— Я с удовольствием уколошил бы паразита, — сказал один из посетителей, крепкий, кряжистый человек.

— Давай, давай, повторяй-ка это почаще. Не сегодня-завтра за решетку угодишь.

— А у меня голова не кудлатая.

— Сделают тебе кудлатую, не беспокойся.

— Поработают как следует кастетом, все тебе приведут в порядок, и прическу, и саму башку.

Из всех собравшихся один Имперский Штат искренне засмеялся, смех остальных, показалось Молочнику, прозвучал натянуто и нервно. Каждый знал, его в любой момент могут задержать на улице, а там доказывай, как хочешь, кто ты и где находился во время убийства, допроса все равно не избежать, и процедура эта будет очень неприятной.

Да к тому же еще одно. С недавних пор у Молочника создалось впечатление, что какой-то негр и в самом деле то ли участвует в некоторых убийствах, то ли оказывается их свидетелем. Откуда это выплыло, например, что Уинни Рут не любит модных ботинок? На убитом юноше и в самом деле были такие ботинки? Об этом что, в газетах напечатали? Или это просто красочная деталь, вымышленная изобретательным шутником?

Владельцы парикмахерской объявили перерыв. «Закрыто, — сказали они новому посетителю, ткнувшемуся в дверь. — Мы закрываемся». Разговоры потихоньку смолкли, но, казалось, людям не хотелось расходиться. Медлил и Гитара, но вот наконец он накинул куртку, притворился, будто боксирует с Имперским Штатом, и догнал Молочника в дверях. Кое-где в лавчонках Южного предместья засветились витрины, украшенные тусклыми гирляндами. Они казались еще более тусклыми сейчас, перед рождеством, когда все фонарные столбы были увешаны развевающимися бумажными вымпелами и колокольчиками. И только в центре города огни были большими, праздничными, яркими и полными надежды.

Друзья шли по Десятой улице, направляясь в комнату Гитары.

— Муть какая-то, — сказал Молочник. — Отвратная, мерзкая муть.

— Вся наша жизнь такая, — ответил Гитара. — Мутная и отвратная.

Молочник кивнул.

— Железнодорожный Томми сказал, тот парень был в модных ботинках.

— Он так сказал? — переспросил Гитара.

— Он так сказал. Да, и ты это слышал. Мы тогда вес засмеялись, и ты вместе со всеми.

Гитара покосился на него.

— А что тебе-то?

— Я отлично вижу, когда меня хотят отшить.

— Видишь, ну и молодец. Порядок. Может, я не расположен это обсуждать.

— Ты со мной не расположен это обсуждать, верно я понял? Там, в парикмахерской, ты так и рвался все обсудить.

— Слушай, мы ведь давно дружим, правда? Но из этого совсем не следует, что мы с тобой одинаковые. Мы не можем обо всем быть одинакового мнения. Что тут особенного? На свете разные люди живут. Одни любопытные, а другие нет; одни разговаривают, а другие орут; одни пинаются ногами, а других пинают. Твой папаша, например. Он из тех, кто сам пинается. Когда я в первый раз в жизни увидел его, он нас вышвырнул пинком из нашего дома. Вот тут-то она проявилась - разница между тобой и мной, тем не менее мы стали друзьями...

Молочник остановился, взял за руку Гитару и повернул его лицом к себе.

— Я надеюсь, ты завел весь этот разговор не для того, чтобы читать мне какие-то идиотские лекции.

— Какие лекции? Я просто хочу, чтобы ты понял одну вещь.

— Так скажи мне эту вещь. И не пудри мне мозги своими вонючими идиотскими лекциями.

— А что такое лекция, по-твоему? — спросил Гитара. — Это когда тебе приходится молчать целых две секунды подряд? Это когда говорит кто-то другой, а сам ты слушаешь его молча? Это, по-твоему, лекция?

— Лекция — это когда с человеком тридцати одного года говорят, как с десятилетним мальчишкой.

— Ты мне все-таки позволишь закончить?

— Высказывайся. Сделай милость. Но не таким дурацким тоном. Словно ты — господин учитель, а я сопливый мальчишка.

— В том-то все и дело, Молочник. Тебя гораздо больше интересует мой тон, чем то, что я скажу. Я пытаюсь тебе втолковать, что нам совсем не обязательно по любому поводу друг с другом соглашаться, что мы с тобой разные люди, что мы...

— То есть у тебя есть какой-то говенный секрет и ты не хочешь им со мной делиться.

— Нет, просто существуют вещи, которые мне интересны, а тебе нет.

— А почему ты знаешь, что мне эти вещи неинтересны?

— Я знаю тебя. Я давно тебя знаю. Ты водишь компанию с разными пижонами, едешь на пикники на остров Оноре и готов посвятить пятьдесят процентов своей умственной энергии размышлениям по поводу чистейшего дерьма. Ты крутишь роман со своей рыжей сучкой, в Южном предместье у тебя тоже есть шлюха, и один черт знает, сколько ты их завел еще на промежуточных ступеньках общества.

— Я ушам своим не верю! Столько лет мы дружим, и для тебя так важно, на какой улице я живу?

— Не живешь, а приколотся. Ты ведь нигде не живешь. Ни на Недокторской, ни в Южном предместье.

— Ты мне завидуешь.

— Ни капли.

— Кто тебе мешает ездить повсюду со мной? Я ведь брал тебя на Оноре...

— Чхать мне на Оноре! Ты понял? Если я когда-нибудь отправлюсь в эту райскую обитель чернокожих, то прихватив ящик динамита и спички.

— А тебе ведь там нравилось.

— Никогда мне там не нравилось! Я просто ездил туда с тобой, но мне там никогда не нравилось. Никогда!

— Почему тебя так раздражают негры, покупающие летние домики? Что с тобой, Гитара? Ты готов обрушиться на всех негров, которые не занимаются мытьем полов и не убирают хлопок. Мы ведь не в Монтгомери, штат Алабама.

Гитара злобно взглянул на него и вдруг расхохотался.

— А ведь ты прав, Молочник. Прав, как никогда. Это точно не Монтгомери, штат Алабама. Слушай-ка, а что ты стал бы делать, если бы наш город вдруг превратился в Монтгомери?

— Я бы купил билет на самолет.

— Вот именно. Итак, сегодня ты узнал о себе нечто, о чем до сих пор понятия не имел: ты узнал, кто ты такой и что собою представляешь.

— Совершенно справедливо. Я человек, не желающий жить в Монтгомери, штат Алабама.

— Ничего подобного. Ты человек, который не может там жить. Если тебя прижмет, ты расквасишься. Ты не серьезный человек, Молочник.

— Серьезный — это то же, что несчастный. Я посмотрелся на серьезных. Серьезный мой старик. Мои сестры серьезные. А уж серьезней моей матери никого не найдешь. От серьезности она скоро зачахнет. Я как-то недавно видел из окна, как она возилась в садике

возле нашего дома. Холодина зверская, но она сказала, ей непременно надо посадить какие-то луковицы и сделать это до пятнадцатого декабря. И вот она ползает по промерзшей земле на коленях и выкапывает луночки в земле.

— Ну-ка, ну, я что-то не пойму, в чем тут суть.

— Суть в том, что ей хотелось посадить эти цветы. Ее никто не заставлял. Она сама любит сажать цветы. Очень любит. Но если бы ты видел ее лицо. Казалось, несчастнее ее нет никого на свете. Мученица. Так зачем же ей это? Я никогда не слышал, как она смеется. Иногда улыбается, это да, и даже, бывает, вроде бы хмыкнет. Но я знаю: мать ни разу в жизни не расхохоталась вслух.

И внезапно без малейшего перехода и даже не замечая, как это у него вышло, он стал описывать Гитаре сон, в котором ему приснилась мать. Он назвал это сном — ему не хотелось объяснять Гитаре, что все это произошло в действительности, что он на самом деле это видел.

Он стоял на кухне возле раковины и ополаскивал кофейную чашку, потом внезапно посмотрел в окно и увидел, что Руфь роет лунки в саду. Она выкапывала маленькие ямки в земле и засовывала в них что-то, похожее на небольшие луковицы. Он рассеянно глядел на мать в окно и вдруг заметил: из выкопанных ею лунок стали вырастать тюльпаны. Сперва из одной лунки поползла тоненькая зеленая трубочка, потом два листика раскрылось на стебле, один развернулся на одной стороне стебелька, другой — на второй. Молочник потер глаза и снова посмотрел в окно. Теперь уже несколько стеблей зеленело позади нее на земле. То ли она посадила их когда-то раньше, то ли они так долго пролежали в мешке, что начали прорасти. Трубочки тянулись ввысь, и вскоре их стало так много, что они наползали друг на дружку и на Руфь. А она по-прежнему не замечала их и не оглядывалась. Все копала, копала. Вот на кончиках некоторых стеблей начали распускаться цветы, кроваво-красные тюльпаны покачивались, прикасались к спине Руфи. И наконец она заметила их, увидела, что цветы выросли, раскачиваются и дотрагиваются до нее. Молочник думал, она отпрыгнет в испуге или хотя бы удивится. Но нет. Руфь отклонилась от цветов и даже оттолкнула их рукой, но с озорством, игриво. А цветы все росли, росли и под конец закрыли ее всю до плеч, и он лишь видел, как она машет руками над раскачивающимися

хищными головками цветов. Они душили ее, не давали вздохнуть, они тянулись к ее рту мягкими остроконечными губами. А она лишь улыбалась и отмахивалась от них, словно от каких-то безобидных бабочек.

Он знал: цветы опасны, вскоре они выпьют вокруг нее весь воздух, и на земле останется лишь ее бездыханное тело. Но мать, казалось, не догадывалась ни о чем. В конце концов цветы закрыли ее полностью, и он видел только холмик густо переплетенных тюльпанов, низко склонившихся над ее еще вздрагивающим телом.

Он подробно описал свой сон Гитаре, как бы в доказательство того, сколько угроз таит в себе серьезность. И хотя говорить он старался как можно беспечней, в конце рассказа Гитара посмотрел ему прямо в глаза и спросил:

— А почему ты не помог ей?

— Что?

— Почему ты ей не помог? Почему не вытащил ее оттуда?

— Но ей нравилось это. Ей было там хорошо. Ей все это нравилось.

— Ты уверен? — Гитара улыбался.

— Еще бы не уверен. Ведь сон-то мой.

— Но и мать тоже твоя.

— Слушай, для чего ты раздуваешь целую историю, когда вообще ничего не случилось? Подымаешь шум вокруг чистой ерунды с единственной целью — доказать, что ты прав? Сперва я оказался виноват, потому что не живу в Алабаме. Потом я оказался виноват из-за того, что неправильно вел себя в собственном сне. Теперь, оказывается, я еще виноват из-за того, что этот сон мне приснился. Ты мою мысль улавливаешь? Для тебя всякий пустяк делается вопросом жизни и смерти. Ты скоро станешь в точности как мой старик. Он считает, если вырезка из газеты попала не в тот ящик, я должен перед ним извиниться. Что с вами со всеми происходит?

— Похоже, все, кроме тебя, идут не в ту сторону, так, что ли?

У Молочника запершило в горле, он глотнул. Ему вспомнилось: давным-давно, в тот вечер, когда он ударил отца, прохожие валом валили по тротуару, и все они двигались навстречу ему. Никто не направлялся в его сторону. Похоже, Гитара подсмотрел и этот его сон.

— Возможно, — сказал он. — Но я знаю, куда я иду.

— Куда же?

— Туда, где будет вечеринка.

Гитара улыбнулся. Его зубы были так же белы, как снежинки, падавшие на куртку.

— Веселого рождества, — сказал он. — И счастливого Нового года.

Он помахал рукой и свернул за угол. Снежная мгла Южного предместья поглотила его прежде, чем Молочник успел спросить, куда он идет, или просто крикнуть: погоди!

Теперь он наконец-то закрыл счетные книги и перестал дописывать и переписывать колонки цифр. С Гитарой что-то происходит, с ним что-то уже произошло. Ему не нравится, как живет Молочник, и этот раздраженный разговор лишь один из многих — Гитару теперь не узнать. Молочник уже не врывается к нему, взбежав бегом по лестнице, чтобы потащить на вечеринку или в бар. Гитара не желает больше разговаривать о девушках и о том, как преуспеть. Если он о чем-то и говорит с интересом, то лишь о спорте да о музыке. Едва затронешь с ним другую тему, он сразу же насупится, а глаза станут словно золотые дыры. Да, он еще о политике говорит.

Его непривычная серьезность побуждает Молочника рассказывать ему гораздо больше о своей семье, чем ему бы хотелось, и с дерзкой беспечностью отражать постоянные нападки на его образ жизни. Красотки и вечеринки на острове Оноре. Неужели Гитара не знает, что его интересы далеко этим не ограничены? Его интересуют и другие вещи. «Какие, к примеру?» — спросил он себя. Ну, он, скажем, очень

хорошо помогает отцу по работе. Прямо-таки отлично, а не просто хорошо. В то же время следует признать, что на вопросах недвижимости для него свет клином не сошелся и он охотно передвинулся бы к каким-нибудь другим вопросам. Если ему предстоит до конца своих дней думать лишь о ренте и земельных участках, он с ума сойдет. Но ведь ему именно этим предстоит заниматься до самого конца своих дней. Отец сделал торговлю недвижимостью своей специальностью, и, в общем-то, предполагается, что и он сделал это своей специальностью.

Гитара, может быть, и прав... отчасти: он живет бестолково, бесцельно, и что греха таить, и в самом деле не особенно тревожится об окружающих. У него нет сильных желаний, таких, ради которых он мог бы чем-нибудь пожертвовать, причинить себе неудобство. Но Гитара-то какое имеет право его упрекать? Он ведь тоже не живет в Монтгомери; работает на автомобильном заводе, временами испаряется куда-то — совершенно неизвестно куда — да околачивается в парикмахерской Томми, вот и все его дела. Связи с женщинами длятся у него не больше чем несколько месяцев: он считает, что именно этот промежуток времени обычно требуется для того, чтобы женщина «почувствовала себя как дома, вслед за чем она начинает сновать, шуршать и шуровать».

Ему бы надо жениться, подумал Молочник. Мне, может быть, тоже. А на ком? Вокруг сколько угодно девушек, и, с точки зрения обитателей Оноре, он весьма завидная партия. Сделать, что ли, предложение? Ну, рыжей, например. Купить хороший дом. Отец поможет выбрать. Стать на равных компаньоном отца, а потом... Что потом? Потом должно прийти что-то еще более хорошее. Деньги его не волнуют. Ему никогда не отказывали в деньгах, и экзотической привлекательности они для него не имеют. Политика — особенно та, о какой судачат в парикмахерской Гитара и компания, — наводит на него сон. Ему скучно. Ему все надоело. А уж расовые проблемы, которыми так поглощен Гитара, надоели ему больше всего. Интересно, о чем бы они стали говорить, если бы не было проблемы черных и белых? Кем бы они стали, если бы их вдруг лишили возможности рассказывать об оскорблениях, насилиях, надругательствах, из которых состоит их жизнь... и телевизионные последние известия? Если бы нельзя было спорить по поводу Кеннеди и пророка Илии? Они считают, что им все

простительно. Каждая невыполненная работа, неоплаченный счет, болезнь и даже смерть — все это от бога. И Гитара делается в точности таким же, мало того, он и не ищет оправданий. Он просто, кажется Молочнику, рад присоединиться к любой жалобе, которую при нем произнесут.

Молочник прошел в ванную, служившую также буфетной, и включил электрическую плитку, чтобы быстро приготовить кофе. Из буфетной он услышал, как кто-то барабанит в окно конторы. Он зашел туда и увидел в просветах между буквами на витринном стекле глаза Фредди. Молочник отпер дверь.

— Привет, Фредди! Ты что?

— Ищу, где бы согреться. Весь вечер гоняют меня по улицам. Подходит рождество, вот я и ношусь по городу как угорелый. — С обязанностями привратника универсального магазина Фредди совмещал функции разносчика и посыльного.

— Тебе дали уже новый пикап? — спросил Молочник.

— Ты в своем уме? Пока мой драндулет хоть как-то ползает, мне не дадут замены.

— Я тут грею воду для кофе. Выпьешь чашечку?

— Как раз об этом я и мечтал. Увидел, у тебя свет горит, и подумал: вот где я разживусь чашкой горячего кофе. Слушай, а спиртного у тебя случайно не найдется, добавить в кофе?

— Случайно найдется.

— Красота!

Молочник возвратился в ванную, подошел к унитазу, поднял крышку с бачка и вытащил полупинтовую бутылку, которую прятал от Мейкона: тот пришел бы в ярость, если бы узнал, что в помещении конторы хранится алкоголь. Он отнес бутылку в кабинет, после чего вернулся в ванную заварить кофе. Когда он снова вошел в кабинет, Фредди постарался сделать вид, будто еще не прикладывался к бутылке. Они добавили спиртного в кофе, потом Молочник нашел сигареты.

— Тяжелые, парень, пришли времена, — сказал Фредди, отхлебнув глоточек кофе. — Тяжелые. — И неожиданно спросил таким тоном, будто заметил, что в комнате чего-то не хватает: — А где твой лучший друг?

— Это ты про Гитару?

— Ага. Про него. Куда он девался?

— Я его не вижу уже несколько дней. Ты ведь знаешь, какой он. Исчезнет, и все. — Молочник вдруг заметил, что у Фредди волосы совсем седые.

— Фредди, сколько тебе лет?

— Почему мне знать? Переспали как-то мои папаша с мамашей и сами не запомнили когда. — Он хихикнул. — Могу сказать, давненько я уже по белому свету болтаюсь.

— Ты родился в нашем городе?

— Нет, на Юге. Джэксонвилл, Флорида. До чего же скверно там. Сквернее не бывает. Ты понимаешь, там, в Джэксонвилле, даже приюта нет для чернокожих младенцев. Их помещают в тюрьму. Тут зашел у нас как-то разговор насчет разных каталажек, я и сказал: меня вырастили в тюрьме и воспитали, и ни хрена я не боялся там.

— А я не знал, что ты сирота.

— Ну, я не в полном смысле сирота. Родня-то у меня была кое-какая, только мама моя умерла, и никто не захотел меня взять. Из-за того братья не хотели, что умерла она не так, как все.

— Как же она умерла?

— Ее привидения убили.

— Привидения?

— Ты что, не веришь в них?

— Как сказать... — Молочник улыбнулся. — Вероятно, мне хотелось бы поверить.

— Так поверь. Они и правда тут.

— Тут? — Молочник еле удержался, чтобы не оглянуться по сторонам. За окном в непроглядной тьме выл ветер, а похожий на гнома Фредди вдруг сверкнул золотыми зубами.

— Я же не говорю тебе, что они непременно в этой комнате сейчас находятся. Хотя возможно. — Он наклонил голову набок и прислушался. — Нету. Я имел в виду, привидения вообще на свете существуют.

— Ты их видел когда-нибудь?

— Множество раз. Привидения убили мою мать. Как убили, я своими глазами, конечно, не видел, но потом мне приходилось их встречать.

— Расскажи мне о них.

— Нет, не буду. О тех духах, каких я видел, я не рассказываю никому. Они этого не любят.

— Ну так расскажи мне о том духе, какого ты не видел. О духе, который убил твою мать.

— А, про этого-то? Расскажу. Мать шла по двору с одной соседкой, своей приятельницей, и вдруг видят они, по дороге женщина идет. Они остановились и стали ждать: пусть, мол, подойдет поближе, поглядим, кто такая. Подходит она, тут соседка как вскрикнет, и сразу же та женщина превратилась в белого быка. Прямо у них на глазах. Мать хлоп на землю, и прямо тут же на месте у нее роды начались. Когда я родился, ей показали меня, она взвизгнула и умерла. Ни на минутку не пришла в сознание. Отец мой умер еще за два месяца до того, как я родился, а из родственников и из соседей никто не захотел взять к себе в дом младенца, который родился на свет из-за белого быка.

Молочник вдруг начал смеяться. Он не хотел обидеть Фредди, но удержаться никак не мог; наоборот, чем больше он старался, тем сильнее его разбирал смех.

Выражение лица у Фредди было скорее удивленным, чем обиженным.

— Выходит, не поверил ты мне, так?

Но Молочник так хохотал, что не мог в ответ ни слова выговорить.

— Ладно, — сказал Фредди и поднял руки вверх. — Ладно, смейся себе на здоровье. Но вообще-то много случается странных вещей, а ты о них и не слыхивал, парень. Ничего, еще услышишь. Множество странных вещей. И даже в городе у нас разные странности происходят.

Вот теперь Молочник справился с собой и перестал смеяться.

— Ты о чем это? Какие странности у нас в городе происходят? Я что-то не встречал на улице белых быков.

— Разуй глаза. Приятеля своего поспрашивай. Он знает.

— Какого приятеля?

— Ну Гитару, лучшего друга твоего. Расспроси его, какие, мол, странности у нас происходят. А еще спроси, какие такие дела вдруг появились у него с Имперским Штатом.

— С Имперским Штатом?

— Точно. Именно с ним.

— С Имперским Штатом ни у кого не может быть никаких дел. Он слабоумный. Стоит себе с метлой и слюни пускает. Он даже не умеет говорить.

— Он и правда никогда ни с кем не говорит. Но это совсем не значит, что он не умеет говорить. Он не разговаривает просто потому, что застал когда-то жену с любовником и с тех пор все не придумает, что же сказать.

— Ну, а Гитаре он зачем понадобился?

— Вопрос в самую точку. Полицейским тоже бы хотелось получить ответ на этот вот самый вопрос.

— Ну, с тобою не соскучишься. При чем тут полицейские?

— А ты еще не слышал? Говорят, полиция разыскивает какого-то цветного, который убил того белого парнишку возле школы.

— Я это знаю. Это знают все.

— Так вот Имперский Штат подходит под описание. А Гитара все время куда-то уводит его. Прячет, так мне кажется.

— Что же тут странного? Ты что ли, Гитару не знаешь? Он кого угодно станет прятать, если человека разыскивает суд. Он ненавидит белых, и особенно полицейских, так что всякий, кто скрывается от полиции, может рассчитывать на его помощь.

— Ты меня не понял. Они со Штатом не так себя ведут, что, мол, Гитара просто его прячет. Они ведут себя так, будто он и в самом деле убил.

— Ты выпил, что ли?

— Да, выпил, но от этого ничего не меняется. Слушай-ка. Ты помнишь, как был убит Эммет Тилл? В конце пятьдесят третьего? И сразу же вслед за ним убивают белого парнишку, и тоже на школьном дворе. Так?

— Не знаю. Я не держу в памяти даты убийств, которых я не совершал.

— Не знаешь? — недоверчиво переспросил Фредди.

— Да, не знаю. Ты считаешь, его Штат убил?

— Я считаю, он ведет себя так, что на то похоже, и считаю, Гитара все знает, и еще считаю, что-то странное творится тут у нас. А больше я ничего не считаю.

Он разозлился на меня, подумал Молочник, за то, что я смеялся над смертью его матери и над историей про белого быка. Вот он сейчас и отыгрывается.

— Да разуй же ты глаза, — сказал Фредди. — Не зажмуривайся, посмотри вокруг. — Он бросил взгляд на бутылку, увидел, что она пуста, и встал. — М-да. Странные тут у нас вещи творятся. Только, если что-нибудь услышишь, моего имени не называй. Вот так же было, когда тот страховой агент спрыгнул с крыши. Слышал эту историю?

— Вроде да.

— Случилась-то она, когда ты еще совсем маленьким был, в 1931-м. Тогда тоже всякая творилась чуднота. — Фредди застегнул куртку и нахлобучил поглубже теплую шапку. — Ну что ж, благодарю за кофе, парень. Очень кстати он пришелся. Очень кстати, да. — Он вытащил из кармана перчатки и двинулся к двери.

— На здоровье, Фредди. Веселого рождества, если мы до тех пор не увидимся.

— Тебе тоже. И твоей семье. Скажи мистеру Померу и матери, я желаю им веселого рождества. — Фредди снова улыбнулся. Когда он дошел до дверей, он уже натянул обе перчатки. Потом медленно обернулся и посмотрел Молочнику прямо в лицо. — А ведь знаешь, есть еще один человек, которому известно, что тут происходит. Коринфянам. Спроси у Коринфянам.

Он сверкнул золотозубой улыбкой и вышел.

ГЛАВА 5

Страх не исчезал. Молочник лежал на кровати Гитары, солнечный свет бил ему прямо в лицо, а он пытался представить себе, что он почувствует, когда в шею ему вонзится пешня для льда. Однако, подробно воображая себе, как хлынет струей кровь и как он, может быть, закашляется от удара, он ничего не добился. Страх давил ему на грудь, как две положенные крест-накрест лапы.

Он зажмурил глаза и заслонил рукой лицо, чтобы не передержать на свету свои мысли. И теперь, когда он погрузился в темноту, пешни замелькали быстрее, чем дождевые капли, которые он когда-то в детстве пытался поймать языком.

Пять часов тому назад, у порога комнаты Гитары, он стоял на верхней ступеньке, вымоченный до нитки летним дождем, который все еще барабанил в окно, и каждая дождевая капля представлялась ему крохотной металлической пешней. Потом он постучал.

— Да-да? — Голос прозвучал не очень дружелюбно. Гитара никогда теперь не открывал дверь на стук, предварительно не выяснив, кто к нему явился.

— Я... Молочник, — отозвался он, вслед за чем поочередно щелкнули три отпираемых замка.

Молочник вошел, поеживаясь в мокром пиджаке.

— Выпить не найдется?

— Пустые вопросы незачем и задавать.

Гитара улыбнулся, и его золотые глаза на миг затуманились. После памятного диспута «Алабама против Оноре» они встречались не часто, но после ссоры их отношения сделались проще, ясней. Теперь, когда не нужно было притворяться, им стало друг с другом легко. И когда беседа увлекала их на поле боя, пикировка была добродушной. Мало того, их дружбу постигло еще более существенное испытание. И она с честью его выдержала. Молочник вот уже полгода периодически подвергался опасности, и Гитара приходил ему на выручку вновь и вновь.

— Ну, тогда кофе, — сказал Молочник и опустился на кровать тяжело, как старик. — Надолго ты завязал?

— Навсегда. С этим делом кончено. Никаких пьянок. Чаю не хочешь?

— Иисусе!

— Тоже действует успокоительно. Спорим, ты считаешь, будто чай растет в маленьких коробочках.

— О господи!

— Как луизианский хлопок. Только темнокожие на чайных плантациях носят одеяния из узорчатой ткани и чалму. Так по всей Индии, куда ни глянь. Чайные кусты, покрытые белыми цветущими коробочками. Верно?

— Дай чаю, Гитара. Просто чаю. Без географии.

— Без географии? Отлично, пусть будет без географии. Ну а, скажем, чай в историческом аспекте? Или в социально-политическом... Хотя нет. Это опять же география. Сдохнуть мне, вся моя жизнь сплошная география.

— Слушай, ты чайники когда-нибудь ополаскиваешь?

— К примеру, сейчас я живу на Севере. Сразу же возникает вопрос: к северу от чего я живу? Что ж, известно: к северу от Юга. Стало быть, Север существует потому, что существует Юг. Но означает ли это, что Север чем-то отличается от Юга? Ни в коем случае! Просто Юг расположен южнее Севера...

— На кой черт ты бросаешь чаинки в кипящую воду? Чаинки нужно залить кипятком. Положи их в чайник, друг. В заварочный чайник!

— И все же обрати внимание: некоторая разница есть. Северяне — те, например, кто на Севере родился и вырос, — очень привередливы по части еды. Вернее, даже не еды. Им на еду-то, собственно, плевать. Привередливы они по части оформления. Понял ты? Заварочные чайники и прочая фигня. Ну, а что касается самого чая? Они не отличат «Эрл Грэй» от растворимой смеси старика Липтона.

— Я пью настоящий чай, а не размолотые пшеничные зерна.

— Старик Липтон прокрашивал размельченные клочки «Нью-Йорк таймс», укладывал их в красивые беленькие коробочки, и негры-северяне балдели от восторга. С ними творилось черт знает что. Ты обратил внимание, как они обожают беленькие коробочки?

— Иисусе!

— Кстати, Иисус ведь тоже северянин. Жил-то он в Израиле, зато северянин сердцем. Сердцем, истекающим кровью. Красивым, маленьким, истекающим красной кровью сердцем. Южане считают его своим, но это просто потому, что они его впервые увидели вздернутым на древе. Знаешь, они в чем-то правы. Повешенный и вешатель связаны между собой. Но у северян, конечно, больше оснований...

— О ком ты тут толкуешь? О белых или о черных?

— О белых? О черных? Э, да ты, оказывается, чернокожий расист. Тут хоть слово кто-нибудь говорил о черных? Это урок географии, и больше ничего. — Гитара протянул Молочнику дымящуюся чашку чаю.

— Ну, знаешь, если это называется чай, то я — яичница глазунья.

— Хоть теперь ты понял, о чем я толковал? Вы привереды. Почему это ты вдруг глазунья? Почему не омлет? Или просто тухлое яйцо? И вообще, почему ты — яйцо? Негр может быть кем угодно, но ни за что и никогда не будет он яйцом.

Молочник засмеялся. Здорово это выходит у Гитары. Вот еще совсем недавно он вошел сюда, мокрый до нитки, готовый рухнуть хоть сию

секунду на пол и умереть, и вот он уже хохочет, расплескивая чан, и от смеха еле выговаривает:

— То есть как? По какой причине негр не может быть яйцом? Он может быть яйцом, если захочет.

— А фиг тебе. Не может, вот и все. Не дано ему это. В генах не заложено. У него такие гены, что при всем старанье он не может быть яйцом. Ему природа этого не разрешает. «Нет, черномазый, не бывать тебе яйцом. Вот вороной можешь быть, если есть охота. Или большим бабуином. Но не яйцом. Яйца — это нечто сложное, недоступное, хрупкое. И белое».

— Бывают и коричневые яйца.

— Результат скрещивания. К тому же их никто не ест.

— Французы едят.

— Да... только во Франции. А в Конго уже не едят. Француз в Конго не притронется к коричневому яйцу.

— Почему?

— Боится. Вдруг у него кожа потемнеет. Как от загара.

— Французы любят загорать. Им очень нравится загорать. На Ривьере...

— Это они во Франции любят загорать, а в Конго совсем не любят. Терпеть не могут.

— Ладно, мое право выбирать, кем мне хочется быть, а мне хочется быть яйцом.

— Может, глазуньей?

— Сперва яйцом, потом глазуньей.

— Что ж, тогда кто-то расколет твою скорлупу.

Одна фраза, и все изменилось. Молочник вытер губы, избегая взгляда Гитары, он чувствовал: оба они опять натянуты, напряжены. Комнатка

замерла, вслушиваясь. Это была веранда, к которой пристроили стены, так что домовладелица могла теперь ее сдавать, приобретая таким образом два блага — деньги и бесплатного ночного сторожа. Отдельный вход превращал комнатушку в идеальное жилище для холостяка. В особенности такого скрытного, как Гитара Бэйнс.

— Можно будет мне занять твоё жилище на ночь? — спросил Молочник, внимательно разглядывая свои ногти.

— С подружкой?

Молочник покачал головой.

Гитара не поверил. Он не мог поверить, что его друг и в самом деле хочет провести в одиночестве ночь накануне того дня, когда его убьют.

— Да ведь жутко тебе будет тут. Ужас, как жутко.

Молочник промолчал.

— Слушай, тебе вовсе незачем демонстрировать свою отвагу. И уж во всяком случае, передо мной. Всем и так известно: когда дойдет до дела, ты парень смелый.

Молочник взглянул на него и опять промолчал.

— Тем не менее, — мягко продолжал Гитара, — твоё мужественное сердце может погибнуть под ударом ножа. И тогда ты станешь просто ещё одним смелым негром, который погиб ни за грош.

Молочник взял пачку «Пел-Мел». Сигарет там не оказалось, тогда он вынул длинный окурочек из крышки от банки для арахисового масла, служившей Гитаре пепельницей в тот день. Он растянулся на кровати и ощупал карманы в поисках спичек.

— Все спокойно, — сказал он. — Нигде ничего не горит.

— Черта с два, — сказал Гитара. — Очень даже горит. Все и везде. Даже на Северном полюсе. А не веришь, отправляйся туда и сядь голой задницей на глетчер — припечет так, что взвоешь. А если глетчер тебя не прикончит, остальное доделает белый медведь.

Гитара встал, выпрямился, чуть не уткнувшись головой в потолок. Безразличие Молочника его сердило, и он принялся убирать комнату, чтобы дать выход раздражению. Из-под стула в углу, наклонно прислоненного к стене, Гитара вытащил пустую корзину и начал сваливать в нее мусор: обгоревшие спички с подоконника, кости от съеденного позавчера жаркого. Он комкал гофрированные бумажные стаканчики из-под капустного салата и с размаху швырял их в корзину.

— Каждый мой знакомый негр стремится быть спокойным. Держать себя в руках. Весьма похвально, но держать-то можно себя, а не других.

Он искоса посмотрел на Молочника, но ничего не уловил в его лице и взгляде. Тот упорно молчал — так с ним никогда не бывало. Что-то должно случиться. Гитара искренне тревожился за друга, кроме того, он не хотел, чтобы в его комнате случилось что-то такое, из-за чего к нему может нагрянуть полиция. Он взял пепельницу - крышку от банки арахисового масла.

— Погоди-ка. Там еще остались неплохие бычки, — негромко проговорил Молочник.

Гитара тут же вытряхнул все содержимое пепельницы в корзину.

— Ну зачем? Ты же знаешь, у нас больше нет сигарет.

— Так оторви зад от кровати, сходи да купи.

— Перестань. Не идиотничай.

Молочник встал и протянул руку к корзине. Но тут Гитара внезапно сделал шаг назад, схватил корзину и швырнул ее через всю комнату, вновь рассыпав весь мусор, который так тщательно подобрал. И тут же по-кошачьему грациозным, скупым движением отвел руку в сторону и уперся кулаком в стену, не давая Молочнику сдвинуться с места.

— Не пренебрегай. — Его голос, прозвучал еле слышно. — Не пренебрегай советами, которые я тебе даю.

Лицом к лицу, нога к ноге, они застыли друг против друга. Левая ступня Молочника слегка не доставала до пола, и сердце его дрогнуло, когда

он посмотрел в мерцающие переливчатыми огоньками глаза Гитары, тем не менее он выдержал его взгляд.

— Ну, а если пренебрегу? Что тогда? Ты со мной разделаешься? Помнишь, как меня зовут? Я ведь уже Помер.

Гитара не улыбнулся, услышав знакомую шутку, но взгляд его смягчился — он ее оценил.

— Эти слова надо бы сообщить тому, кто покушается на твою жизнь, — сказал он.

Молочник хмыкнул и опять направился к кровати.

— Слишком уж ты беспокоишься. Гитара.

— Я беспокоюсь в самый раз. Но сейчас мне хотелось бы выяснить, ты-то почему совсем не беспокоишься? Ты ведь знаешь, сегодня тридцатый день. Значит, всякий, кто вздумает тебя разыскивать, рано или поздно явится сюда. И ты просишь, чтобы я оставил тебя тут одного. Объясни мне свое поведение.

— Знаешь что, — сказал Молочник. — Ведь всерьез я напугался только дважды: в самый первый раз и в третий. С тех пор я всегда благополучно выхожу из положения, верно?

— Верно-то верно, и все же на этот раз что-то неладно.

— Фантазируешь.

— Не фантазирую. У тебя что-то случилось. Неладно с тобой.

— Да ничего подобного. Я просто устал. Устал от сумасшедших, от этого шального города, устал бегать взад-вперед по улицам, и все без толку...

— Ну что же, если ты просто устал, могу тебя только поздравить. В скором времени ты будешь отдыхать и отдыхать. Мягкой постели, правда, не обещаю: владельцы похоронного бюро не снабжают клиентов матрасами.

— Может быть, она сегодня не придет.

— За полгода она ни разу своего дня не пропустила. Ты что, надеешься, она надумала взять выходной?

— Не могу я больше прятаться от этой суки. Пора эту историю кончать. Я не хочу, чтобы все снова повторилось через месяц.

— Поговори с ее родственниками, пусть что-нибудь придумают.

— Я тоже ее родственник.

— Помолчи-ка лучше, а то ты меня доведешь. Помолчи и минутку послушай. У этой стервы в прошлый раз был скорняжный нож. А знаешь, какой он острый? Разрежет, словно лазером.

— Знаю.

— Нет, не знаешь ты ничего. Ты тогда спрятался под стойку бара, а мы с Луной ее схватили.

— Но я знаю, что было у нее в руках.

— Сегодня в этой комнате Луна к тебе па помощь не придет. И Гитара, если я тебя слушаюсь, — тоже. А она может явиться с револьвером.

— Какой дурак даст негритянке револьвер?

— Такой же, какой дал когда-то Портеру дробовик.

— То было сто лет назад.

— Впрочем, меня даже не это тревожит. Мне не нравится, как ты себя ведешь. Впечатление такое, будто ты сам этого хочешь. Прямо ждешь с нетерпением.

— Откуда ты это взял?

— А ты взгляни, какой у тебя вид. При всем параде.

— Я же работаю в «Магазине Санни». Сам знаешь, мой старик велит мне одеваться так, когда я в конторе.

— У тебя было время переодеться. Уже за полночь.

— Не стану спорить. И так, я принарядился. И с нетерпением жду. Только что я сообщил тебе, что не желаю больше прятаться...

— По секрету сообщил? Ведь я вижу: у тебя появился какой-то секрет.

— Секрет сразу у двоих появился.

— У двоих? То есть у тебя и у нее?

— Нет. У тебя и у меня. Ты в последнее время весь окутался покровом тайны. — Молочник с улыбкой взглянул на Гитару. — А ты думал, я не замечаю ничего.

Заулыбался и Гитара. Теперь, когда он выяснил, что имеется какой-то секрет, он с легкостью свернул в проторенную колею их давно налаженных отношений.

— Ну добро, мистер Помер, сэр. Вольному воля. Не обратитесь ли вы к вашей посетительнице с просьбой немного тут прибраться перед уходом? Мне почему-то не хочется, придя домой, искать твою голову в грудке окурков. Весьма мило будет, если ее положат так, чтобы я ее сразу заметил. Ну, а если тут будет оставлена ее голова, запомни: полотенца в стенном шкафу.

— Успокой свои нервы, приятель. Тут никто не собирается терять голову.

Их насмешил нечаянный, но кстати прозвучавший каламбур, и Гитара, продолжая смеяться, накинул свою кожаную коричневую куртку и направился к дверям.

— Сигареты! — крикнул вслед ему Молочник. — Принеси сигарет, прежде чем ты испаришься.

— Сделаем! — отозвался Гитара, спускаясь вниз по ступенькам. Он уже не думал о Молочнике, мыслями он был в том доме, где его поджидало шестеро немолодых людей.

Этой ночью он не вернулся.

Молочник лежал на кровати, тихо, бездумно зажмурившись, чтобы солнце не било в глаза, и мечтал лишь об одном — закурить. Постепенно к нему возвратился и страх перед смертью, и тяга к ней. Больше же всего ему хотелось освободиться от того, что он знает, от того, что против его воли теперь навязано ему. А ведь все, что он узнал об этом мире, живя в нем, было рассказано ему другими людьми. Ему казалось, он — мусорный бачок, в который окружающие сваливают свою злобу, свои поступки. Сам же он ни разу ничего не сделал. Кроме того единственного случая, когда он ударил отца, он не совершал поступков, да и этот, единственный в его жизни, тоже обременил его знаниями, которых он не желал, и ответственностью за эти знания. После рассказа отца он разделял теперь его безразличное отношение к Руфи, но у него возникло ощущение, будто его провели, будто на него взвалили еще какое-то не заслуженное им бремя. Во всех этих делах он совершенно ни при чем, и не должны они отражаться ни на нем, ни на его мыслях, ни на его действиях.

Так он нежился на постели Гитары в ленивом сознании собственной правоты, той добродетельности, которая побудила его, уподобившись тайному агенту, выслеживать собственную мать, когда примерно неделю назад она ночью вышла из дому.

Возвратившись домой с вечеринки, он едва успел подогнать отцовский «бьюик» к обочине тротуара и погасить фары, как вдруг увидел мать, которая шла по Недокторской улице в сторону, противоположную той, откуда он приехал. Было полвторого ночи, но, несмотря на поздний час и на то, что мать приподняла воротник пальто, у Молочника не создалось впечатления, будто Руфь старается, чтобы ее не узнали. Наоборот, ее походка выглядела уверенной. Не торопливой и не бесцельной — просто ровная походка женщины, которая идет по каким-то своим делам, скромным и отнюдь не бесчестным.

Когда Руфь свернула за угол, Молочник переждал минутку и поехал следом за ней. Медленно, словно крадучись, он тоже свернул за угол. Руфь стояла на автобусной остановке, и Молочник остановил машину в темном месте и подождал там, когда подойдет автобус и Руфь в него сядет.

Конечно, это не любовное свидание. Человек, пришедший на свидание, встретил бы ее неподалеку от дома. Если ты испытываешь к женщине

хоть какое-то чувство, как можно позволить ей ездить ночью общественным транспортом, в особенности когда женщина так немолода? Да и кто станет назначать свидание женщине, которой уже за шестьдесят?

Дальше начался какой-то кошмар: автобус останавливался чуть ли не поминутно, стоял на остановках неимоверно долго, так что было очень трудно незаметно следовать за ним и, поставив машину в тени, наблюдать, выйдет ли Руфь на этой остановке. Молочник включил радио, надеясь, что музыка его успокоит, но она еще больше его взвинтила. Он разволновался и уже всерьез подумывал о том, чтобы вернуться.

Наконец автобус подкатил к зданию вокзала. Последняя остановка. Из автобуса вышло несколько оставшихся пассажиров, в том числе и Руфь. Она вошла в помещение вокзала. На какое-то время он уже совсем было решил, что потерял ее из виду. Разве увидишь, в какой поезд она сядет? Не вернуться ли ему домой, опять подумал он. Стояла глубокая ночь, он смертельно устал и отнюдь не был уверен, что хочет узнать о матери еще что-нибудь новое. Но он уж слишком ввязался в слежку и понимал, что отступаться на таком этапе глупо. Он оставил машину на стоянке и не спеша зашагал к станции. Может быть, она не уехала поездом, подумал он. Может быть, она еще в вокзальном помещении.

Внимательно оглядевшись, он приоткрыл дверь вокзала. Матери там не было. Здание небольшое, простенькое. Старое, но хорошо освещено. На потолке скромной комнаты ожидания виднелся большой герб штата Мичиган, сверкающий яркими красками, возможно коллективно исполненный классом живописи какой-нибудь школы. Два розовых оленя, поднявшихся на дыбы и обращенных мордами друг к другу, а между мордами парит орел. Крылья у орла раскинуты и напоминают поднятые плечи. Голова повернута влево, свирепый глаз хищно устремлен в глаз оленя. Под гербом вьется длинная лента, на ней багровыми буквами латинская надпись: «Si Quaeris Peninsulam Amoenam Circumspice»

. Молочник не понимал по-латыни, не понимал он к тому же, отчего штат, имеющий своей эмблемой росомаху, изображает на своем гербе оленя. Может, это самки? Ему вспомнился рассказ Гитары о том, как он случайно убил самку оленя. «Мужчина не должен так поступать». На

миг Молочника кольнуло нечто вроде укора совести, но он тут же подавил его и снова стал искать глазами мать. Он прошел в глубь станции. Нигде ее не видно. Тут он заметил, что на станции имеется еще и верхняя платформа, к которой ведет лестница, а также стрелку и рядом с ней надпись: ФЭРФИЛД И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ПРИГОРОДЫ. Возможно, Руфь поднялась на верхнюю платформу. Осторожно поглядывая вверх и по сторонам, он направился к лестнице. Внезапно тишину нарушил громкоговоритель, объявивший, что поезд № 215, следующий до Фэрфилд-Хайтс, отбывает с верхней платформы. Он тут же ринулся вверх по ступенькам, едва успел заметить, как Руфь садится в один из вагонов, и вскочить в соседний.

Поезд останавливался на десяти станциях, примерно через каждые десять минут, и каждый раз Молочник выглядывал с площадки своего вагона, не вышла ли мать. После шестой остановки он спросил кондуктора, когда пойдет ближайший обратный поезд. «В пять сорок пять утра», — ответил тот.

Молочник посмотрел на часы. Было уже три. Полчаса спустя кондуктор крикнул: «Фэрфилд-Хайтс. Последняя остановка». Молочник снова выглянул и на этот раз увидел, что Руфь вышла из вагона. Он юркнул за трехстенную деревянную загородку, где прятались от ветра ожидающие поезда пассажиры, и простоял там до тех пор, пока не услышал на ведущих вниз ступеньках мягкий стук ее резиновых каблучков.

Он глянул вниз на улицу и увидел сплошные ларьки и лавки, все они были уже закрыты: газетные киоски, кафе, билетные кассы - и ни единого жилого дома. Богатые жители Фэрфилда не селились поблизости от станции, отсюда с дороги виднелось всего два-три дома. Руфь, однако, шла по улице все тем же уверенным и мерным шагом и через несколько минут свернула на широкую извилистую тропу, ведущую к местному кладбищу.

Разглядывая железную арку над входом, Молочник вспомнил, сколько раз ему рассказывала мать, каких трудов ей стоило отыскать подходящее кладбище для отцовской могилы, так как ей не хотелось хоронить его на кладбище, где лежат одни негры. Сорок лет назад Фэрфилд был деревенькой с таким маленьким погостом, что людям было все равно, где там хоронить белых, а где негров.

Молочник, прислонясь к дереву, ждал ее у входа. Теперь уж никаких сомнений не осталось: все, что рассказал ему отец, — правда. Его мать — глупая, себялюбивая, чудаковатая женщина с некоторой тягой к извращениям. Ну просто наказание какое-то! Почему во всей их семье нет ни одного нормального человека?

Она вышла только через час.

— Привет, мама, — сказал он, стараясь даже звуком голоса передать охватившую его холодную злобу; кроме того, он постарался ее напугать, внезапно появившись из-за дерева.

Это ему удалось. Оторопев, она споткнулась и охнула.

— Мейкон! Ты? Ты здесь? Ах, господи. А я-то... — Она отчаянно старалась сделать вид, что ничего особенного не случилось: губы ее кривила бледная улыбка, глаза помаргивали, она прилагала все усилия, чтобы найти какие-то слова, держать себя, как нормальная цивилизованная женщина.

Он перебил ее:

— Приехала полежать на могиле своего папаши? Все эти годы сюда ездешь? Нет-нет, да в проведешь ночь со своим папашей?

У нее бессильно опустились плечи, но голос прозвучал неожиданно твердо:

— Пойдем-ка к станции.

Ожидая обратного поезда, они простояли в трехстенной загородке целых сорок пять минут, и ни он, ни она не сказали ни единого слова. Взошло солнце и открыло миру имена юных влюбленных, написанные на деревянных стенках. Несколько мужчин поднялось по лестнице к верхней платформе.

Подали поезд с запасного пути, а они по-прежнему молчали. И лишь когда наконец завертели колеса и прочистил горло локомотив, Руфь заговорила, и заговорила она прямо с середины фразы, словно все это время думала, непрерывно думала, начиная с того мига, когда она и сын сделали первые шаги, удаляясь от ворот фэрфилдского кладбища.

— ...дело в том, что я очень мала. Я не о росте говорю, а о том, что я маленькая по своей сути и стала такой потому, что на меня давили, меня ужимали. Я жила в большом, огромном доме, и дом этот давил на меня и превратил в такую вот мелочь. Друзей у меня не было, одни соученицы, которым нравилось щупать мои платья и мои белые шелковые чулки. Но, мне кажется, я и не нуждалась в друге, потому что друг у меня был. Я была маленькая, а он большой. Единственный человек во всем свете, которому действительно было безразлично, жива я или умерла. Жива я или нет — это многих интересовало, но только ему это было безразлично. Мой отец не был хорошим человеком, Мейкон. Не сомневаюсь, он презирал людей, мог поступить жестоко, неумно. Но ему было безразлично, жива ли я и как я живу, и на всем, на всем белом свете больше не было и нет такого человека. И за это я была предана ему всей душой. Для меня было очень важно находиться около него, возле его вещей, — вещей, которыми он пользовался, которые трогал. А позже для меня так же важно стало знать, что он существовал когда-то в этом мире. Он покинул этот мир, а я продолжала хранить в себе это чувство, которое он мне даровал, — что я кому-то безразлична.

Нет, я не странная женщина. Я просто незаметная, маленькая.

Понятия не имею, что тебе рассказал обо мне твой отец, — вы там сидите с ним в вашей конторе. Но я знаю так же точно, как свое собственное имя, что он рассказывал тебе только то, что выставляет его в выгодном свете. Уверена, он не рассказал тебе, что убил моего отца и хотел убить тебя. Ведь и ты, и отец отнимали у него мое внимание. Уверена, он этого тебе не рассказал. И уж конечно, он не рассказал, что он выбросил лекарство моего отца, а ведь это чистая правда. Он выбросил его, и мне не удалось спасти отца от смерти. Мейкон унес его лекарство, а я даже не узнала об этом, и тебя мне не удалось бы спасти, если бы не Пилат. Ей ты прежде всего обязан тем, что живешь на свете.

— Пилат? — спросил Молочник, словно просыпаясь. Сперва он слушал мать вполуха, как человек, уверенный в том, что его хотят одурачить.

— Пилат. Старая, сумасшедшая, милая Пилат. С тех пор как умер папа, а Лина и Коринфянам тогда еще пешком под стол ходили, у нас ни разу не было с твоим отцом близких отношений. В день смерти отца между

нами вспыхнула ужасная ссора. Он грозил убить меня. А я грозила, что пойду в полицию и расскажу, как он поступил с моим отцом. Все это так словами и осталось. Я думаю, папины деньги были гораздо существенней для него, чем удовольствие меня прикончить. А я с радостью бы умерла, если бы не дети. Но он сразу же перебрался в другую спальню, и с тех пор мы жили врозь, пока я не почувствовала: больше я не выдержу. Пока я не подумала: да я просто умру, если в моей жизни ничего не переменится. Если никого не будет рядом, кто бы ко мне прикасался или хотя бы смотрел на меня так, чтобы я понимала, что хочет коснуться. Вот тогда я стала ездить в Фэрфилд. Поговорить. Поговорить с человеком, который слушает меня охотно и не смеется надо мной. С человеком, которому я верю. И который верит мне. С человеком, которому... я интересна. Интересна сама по себе, И то, что человек этот лежит в земле, для меня не имело значения. Видишь ли, мне было всего двадцать лет, когда твой отец перестал жить со мной. Это тяжело, Мейкон. Очень тяжело. К тридцати годам, мне кажется, я просто испугалась: вот еще немного, и я умру.

И тут в наш город приехала Пилат. Приехала сюда, словно к себе домой явилась. Пилат, Реба и ребеночек Ребы. Агарь. Пилат сразу же зашла к Мейкону в гости, и едва она увидела меня, как поняла, что со мной творится. Однажды она спросила меня: «Ты его хочешь?» Я ответила: «Просто хочу мужчину». «Он ничем не хуже остальных, — сказала она. — К тому же ты забеременеешь и родишь ребенка. Надо, чтобы это был его ребенок. Сын. А иначе нашему роду конец».

Она начала давать мне указания — мне приходилось проделывать странные вещи. Потом велела положить ему в еду какую-то растертую зеленовато-серую травку. — Руфь засмеялась. — Я себя чувствовала так, будто я врач или химик, который производит очень важный эксперимент. И представь, подействовало. Мейкон навещался ко мне целых четыре дня. Он даже в середине дня прибегал домой из конторы, чтобы побыть со мной. Вид у него был озадаченный, но он ходил ко мне. А потом все прекратилось. Через два месяца выяснилось, что я беременна. Когда Мейкон узнал об этом, он сразу подумал, что тут не обошлось без Пилат, а мне велел избавиться от ребенка. Я не соглашалась, и Пилат поддержала меня, я ему пришлось отступить. Если бы не она, у меня не хватило бы сил воспротивиться. Она спасла

мне жизнь. И тебе, Мейкон. Она спасла и твою жизнь. Как родная мать приглядывала за тобой. Пока твой отец ее не выгнал.

Молочник прижался головой к холодному металлическому кронштейну, на котором крепилась полка.

Прижимался до тех пор, пока в его голову не проник холод металла. Тогда он повернулся к матери:

— Когда умер твой отец, ты лежала рядом с ним в постели? Голая?

— Нет. Но я стояла на коленях в одной комбинации рядом с постелью и целовала его прекрасные пальцы. Лишь они не подверглись...

— Ты кормила меня грудью.

— Да.

— Ты кормила меня грудью и тогда, когда я стал большим. Слишком большим для этого.

Руфь повернулась к сыну. Подняла голову и заглянула в самую глубь его глаз.

— Кроме того, я за тебя молилась. Каждый вечер и каждое утро. Я молилась, стоя на коленях. А теперь скажи, какой вред я тебе принесла, когда стояла на коленях и молилась?

Так началось. Теперь остался конец. Вскоре Руфь выйдет из вагона, и он уже не станет ее удерживать. А потом он забудет, кто он и где он. О Магдалине, называемой Линой, о Первом Послании к Коринфянам, об отце, хотевшем его умертвить еще до рождения. О взаимной ожесточенности отца и матери, об ожесточенности отполированной и твердой как сталь. И ему не будут сниться сны наяву, и в ушах его не будут звучать сказанные матерью ужасные слова: какой вред? Какой вред я тебе принесла, когда стояла на коленях и молилась?

Он слышал ее шаги, потом повернулась, щелкнула и снова повернулась дверная ручка. Не открывая глаз, он знал, что она стоит напротив за окном и смотрит на него.

Агарь. Смертоносная, вооруженная пешней для льда Агарь — что побудило ее вскоре после получения благодарственного рождественского письма каждый месяц шарить по бочонкам, буфетам и даже ступенькам подвала в поисках удобного и портативного оружия, чтобы убить любимого своего?

Его жестокое «спасибо» ее уязвило, но не из-за этого перебирает она содержимое буфетов, разыскивая орудие убийства. Это желание окончательно созрело в ней после того, как она увидела его руку, обнимающую плечи девушки, чьи шелковистые, медно-рыжие волосы рассыпались каскадом по рукаву его пиджака. Они сидели в ресторанчике Мэри и, улыбаясь, глядели на льдинки в бокале «Джек Дэниел». Со спины девушка немного напоминала Коринфянам и Лину, но, когда она, смеясь, повернулась к нему лицом и Агарь увидела ее серые глаза, из стиснутого кулака, который еще с рождества засел в ее груди, рывком выдвинулся указательный палец, как лезвие пружинного ножа. С тем же постоянством, с каким молодой месяц оглядывает водные просторы, маня к себе прилив, Агарь искала оружие, затем выскальзывала потихоньку из дому и отправлялась на поиски человека, которого считала своим суженым, посланным самой судьбою. Страсть ее ничуть не охлаждалась от того, что они родственники и она на пять лет его старше. Напротив, ее зрелость и родственные узы делали еще более лихорадочной эту страсть, и любовь теперь, скорее, стала недугом. Страшным нокдауном, который на ночь сваливал ее с ног и снова поднимал по утрам — сравнение это тем более справедливо, что, когда она добиралась до кровати, измученная еще одним проведенным «без него» днем, ее сердце било изнутри по ребрам, как боксерская перчатка. А по утрам, еще едва начиная просыпаться, она ощущала упорную и злую тягу, которая выдергивала ее из пустого, без сновидений, сна.

Она бродила по дому, выходила затем на крыльцо, шла по улице, заглядывая по дороге то в мясную лавку, то в овощной ларек, словно некий призрак, не знающий покоя и не обретающий его ни в чем и нигде. Ни в свежем помидоре, только что с огорода, разрезанном и

слегка посоленном заботливой бабушкиной рукой. Ни в наборе из шести блюд розового стекла, который Реба выиграла в театре Тиволи. И ни в узорчатой восковой свече, которую они смастерили для нее вдвоем: Пилат обмакивала в воск фитиль, а Реба пилкой для ногтей вырезала на свече крохотные цветочки, после чего они вставили свечку в настоящий, купленный в магазине подсвечник и поместили у изголовья ее кровати. И ни в жгучем полуденном солнце, стоящем в самом зените, и ни в темных, как океан, вечерах. Мысли ее постоянно были сосредоточены на губах, которые Молочник перестал целовать, на ногах, которые уже не несли ее поспешно к нему навстречу, на глазах, теперь уже не обращенных к нему, на руках, переставших его касаться.

Иногда она, забывшись, поглаживала себя, тело, грудь, потом это похожее на летаргию состояние вдруг обрывалось, сменяясь яростью, целенаправленной злобой, свойственной наводнению или снежному обвалу, которые представляются явлениями равнодушной ко всему природы лишь тем, кто наблюдает их из спасательного вертолета, жертвам же, готовым испустить последнее дыхание, известно, что стихия не бездумна и не равнодушна, а стремится погубить именно их. В душе Агари постепенно созревала расчетливая злобность акулы, и подобно каждой ведьме, летящей на метле для свершения ритуального детоубийства, возбужденной черным ветром и метлой, оседлав которую она пронзает ночь, подобно каждой знающей все приметы жене, которая швыряет в молодого мужа горсть овсяных зерен, а затем тревожится, насколько продолжительным окажется их действие и как велика будет роль щелока, который она смешала с зернами, и подобно каждой королеве и каждой куртизанке, любующейся красотой изумрудного перстня, из которого она только что высыпала яд в старое красное вино, — подобно всем им Агарь черпала силы в отдельных подробностях своей миссии. Она выслеживала его. Каждый раз, когда кулак, который колотился в ее груди, превращался в указующую руку, каждый раз, когда она ощущала, что ей легче любое соприкосновение с ним, чем отсутствие этих соприкосновений, она принималась его выслеживать. Его любви ей не дожидаться (и уж совсем невыносимо себе представить, что он даже не думает о ней), ну что ж, если не любовь, тогда пусть будет страх.

В такие дни ее кудри, словно грозовая туча, поднимались дыбом над ее головой, и она бродила и бродила по Недокторской улице и Южному предместью до тех пор, пока он ей не попадался. Иногда на это уходило два дня, иногда три, и люди, видевшие ее, говорили, что Агарь «опять пустилась за Молочником в погоню». Женщины глядели ей вслед из окон. Мужчины, прервав игру в шашки, судачили о том, сорвется или нет у нее и на этот раз. Их нисколько не удивляли пределы, до которых может довести мужчину или женщину измена в любви. Они видели женщин, которые срывали с себя платья и выли по-собачьи. Видели они и мужчин, полностью утративших представление о мужском достоинстве. «Благодаренье богу, — перешептывались люди, — благодаренье богу, на меня никогда не сваливалась эта могильщица-любовь». Имперский Штат — один из лучших ее примеров. Он женился во Франции на белой девушке и привез ее к себе на родину. Он был счастлив, как пчела, и так же трудолюбив, и прожил с ней шесть лет, как вдруг однажды застал ее с другим. Тоже с черным. И когда он обнаружил, что его белая жена любит не только его и не только этого второго черного, а всю их расу в целом, он сел, закрыл рот и ни разу в жизни не произнес больше ни слова. Железнодорожный Томми взял его к себе уборщиком и таким образом сразу спас от богадельни, исправительной тюрьмы и дома умалишенных.

И поэтому ежемесячно возобновляющая свои покушения на жизнь возлюбленного Агарь была причислена к загадочному сонму тех, кого любовь наделила одержимостью, проявления которой вызывали нешуточный интерес, последствия же ни малейшего интереса не вызывали. Если на то пошло, сам виноват, нечего было путаться со своей же двоюродной сестрой.

К счастью для Молочника, Агарь оказалась на редкость неумелой убийцей. От одного лишь присутствия жертвы она (даже в порыве гнева) млела, трепетала, и наносимые дрожащей рукой удары молотка, ножа и пешни для льда не достигали цели. Стоило, подойдя сзади, скрутить ей руку, или, подойдя спереди, схватить за плечи, или же вмазать как следует в челюсть, Агарь как бы впадала в забытие и источала слезы очищения — и тут же, прямо на месте, и потом, когда Пилат порола ее ремешком, а она покорно и даже с явным облегчением подвергалась порке. Пилат порола ее, Реба плакала,

Агарь сжималась под ударами. И так до следующего раза. Вот он и настал — Агарь берется за дверную ручку холостяцкой комнатки Гитары.

Дверь оказалась запертой. Тогда Агарь перекинула через перила крыльца ногу и попыталась отворить окно. Молочник слышал шум, он слышал, как трясется оконная рама, но не двигался — лежал, прикрыв рукой глаза. Он не тронулся с места, даже когда услышал, как звякнуло и задребезжало разбитое стекло.

Агарь просунула руку в пробитую в окне дырку и принялась поворачивать шпингалет. Ей очень долго не удавалось открыть окно. Стоя на одной ноге, она повисла над перилами.

Молочник упорно не хотел открыть глаза. Шея покрылась испариной, взмокли подмышки, и пот струйками катился по бокам. А вот страх ушел. Он лежал на кровати тихий, как утренний свет, и только впитывал в себя силы, копил их в себе. Копил, претворяя в желание. А хотел он, чтобы она умерла.

Пусть или убьет меня, или сама умрет, тут же, на месте. Я намерен жить так, как мне нравится, а иначе лучше не жить. Я согласен остаться в живых, только если она умрет. Или я, или она. Одно из двух. На выбор. Умри, Агарь. Умри. Умри. Умри.

Но она не умерла. Влезла в комнату и подошла к узкой железной кровати. Она держала большой нож, каким работают мясники, замахнулась, подняв руку выше головы, и ударила изо всех сил, направив острие на гладкую полоску шеи над воротничком рубашки. Удар пришелся по ключице, и нож скользнул к плечу, лишь слегка оцарапав кожу. Из ранки заструилась кровь. Молочник вздрогнул, но не шевельнул рукой и не открыл глаза. Агарь снова подняла нож, на сей раз сжав его обеими руками, но оказалось, руки не опускаются вниз. Как она ни старалась, плечи ее будто окаменели. Прошло десять секунд. Пятнадцать. Она словно парализована, он замер.

Еще несколько секунд, и Молочник понял, что победил. Он отвел руку и открыл глаза. Взгляд его наткнулся на ее задранные кверху, напряженно застывшие руки.

Ах, подумала она, когда увидела его лицо, я и забыла, как он прекрасен.

Молочник сел, рывком опустил с кровати ноги и встал.

— Держи в точности так руки, — сказал он, — а потом опусти их вниз, как можно прямее и быстро, тогда ты угодишь себе ножом как раз между ног. Неплохая идея, а? Сразу решатся все твои проблемы. — Он потрепал ее по щеке и отвел взгляд от ее широко раскрытых, темных, умоляющих запавших глаз.

Она долго простояла так, и еще больше времени прошло, прежде чем ее разыскали. Хотя не так уж трудно было догадаться, где она. Все догадывались, если замечали, что Агари давненько не видно. Это знала теперь даже Руфь. Неделю назад Фредди рассказал ей, что за последние шесть месяцев Агарь шесть раз пыталась убить ее сына. Ошеломленно глядя на его золотые зубы, Руфь переспросила: «Агарь?» Она уже много лет ее не видела; лишь раз в жизни побывала она в домике Пилат, и случилось это очень давно.

— Агарь?

— Да, Агарь, Агарь, которая живет у набережной.

— А Пилат об этом знает?

— Еще бы. Каждый раз такую порку ей задает, да все без толку.

У Руфи отлегло от сердца. В первое мгновение она вообразила себе, что Пилат, сперва как бы подарившая жизнь ее сыну, сейчас намерена ее отнять. Но вслед за облегчением пришла обида — почему Молочник ничего ей об этом не рассказал. А потом она вдруг осознала, что он вообще ничего не рассказывает ей и это тянется уже много лет. Да и она сама не привыкла видеть в сыне человека, который существует реально, сам по себе. Для нее он — чувство, страсть, и так было всегда. Ей так хотелось спать с мужем и родить ему еще одного ребенка, что находившееся в ее чреве дитя олицетворяло для нее давно желанную связь с Мейконом, прочность их отношений, восстановление ее в супружеских правах. Он еще не родился, а уже стал чувством, сперва тем сильным, острым чувством, которое внушал зловещий зеленовато-серый порошок, полученный от Пилат с указанием развести его дождевой водой и подложить мужу в еду. Но

чары длились всего несколько дней, а потом Мейкон просто с яростью вспоминал о них и, узнав о ее беременности, принуждал сделать аборт. В те дни ребенок олицетворял тошноту от касторки, которую ее заставил выпить Мейкон, затем горячий горшок, из которого только что вылили крутой кипяток и на который ей тут же велели сесть, затем спринцовку, наполненную мыльной водой, иглу с ниткой (муж расхаживал под самой дверью ванной, а она, рыдая и прислушиваясь с ужасом к его шагам, послушно присела на корточки, но рискнула воткнуть только кончик иглки), и наконец, когда он ударил ее кулаком в живот (она кормила его завтраком и как раз хотела убрать со стола его тарелку, и тут он взглянул на ее живот и ударил), — вот тогда она наконец побежала в Южное предместье к Пилат. Ей не приходилось прежде бывать в этой части города, но она знала, на какой улице живет Пилат, не знала только, в каком доме. У Пилат не было телефона, а на ее доме не значилось номера. Руфь спросила у какого-то прохожего, где живет Пилат, и он указал ей на покосившийся коричневый домишко, стоявший в глубине. Пилат сидела на стуле, а Реба подстригала ей волосы парикмахерскими ножницами. Вот тогда она впервые увидела Агарь, которой было годика четыре, а может быть, чуть побольше. Пухленькая, с четырьмя длинными косичками — две, как рожки, торчат спереди, две, словно хвостики, на затылке. Пилат успокоила Руфь, дала ей персик, но Руфь не смогла его есть — ее тошнило от пушка на коже. Пилат выслушала все, что рассказала ей Руфь, и послала Ребу в лавочку купить коробку кукурузных хлопьев «Арго». Она высыпала шепотку хлопьев себе на ладонь и протянула Руфи, а та послушно взяла ее и положила в рот. И едва она распробовала хлопья, ощутила на зубах их хруст, как попросила еще и до ухода съела полкоробки. (С тех пор она все время ела кукурузные хлопья «Арго», ела орехи, сосала кусочки льда, а однажды, не соображая, что делает, положила в рот несколько камешков. «Когда женщина в тягости, ей надо есть все, чего хочется ребенку, — сказала Пилат, — а не то он родится на свет голодным и его всегда будет тянуть к той пище, в какой ему отказала мать». Руфь жевала и жевала без конца. Просто не могла остановиться. Как кошке хочется точить когти, так ей все время хотелось чего-нибудь хрустящего, и, если ничего такого не находилось под рукой, она скрежетала зубами.)

Руфь с аппетитом похрустывала кукурузными хлопьями, а тем временем Пилат отвела ее в спальню, туго обернула самодельным

поясом и велела ей носить его, не снимая, до четвертого месяца, а также «не делать больше глупостей, которые велит ей Мейкон, и не спать с ним». Кроме того, она сказала, что беспокоиться больше не надо. Мейкон теперь ее не потревожит, это уж она, Пилат, берет на себя. (Лишь через несколько лет Руфь узнала, что Пилат положила на стул Мейкона в конторе маленькую куколку. Куколка была сделана в виде мужчины, между ног у нее торчала маленькая куриная косточка, а на животе нарисован был красный кружок. Мейкон сбросил ее со стула, зашвырнул линейкой в ванную, а там облил спиртом и зажег. Ему пришлось девять раз поджигать ее заново, прежде чем огонь добрался до соломы и ваты, которые были внутри. Но ему, наверное, запомнился огненно-красный круглый живот — Руфь с тех пор он оставил в покое.)

Когда же родился ребенок, на следующий день после того, как Руфь стояла на снегу и возле ног ее валялись красные бархатные лепестки, а над головой возвышался человек с широкими голубыми крыльями, она восприняла младенца как игрушку, как отдых, развлечение и даже чисто физическое наслаждение во время кормления грудью, пока Фредди (все тот же Фредди) ее не застукал; после этого малыш перестал быть плюшевой игрушкой. Он превратился в прерию, на которой они с мужем сражались, как ковбои и индейцы в кино. Оба они видели друг друга в совершенно искаженном свете. Каждый был уверен в чистоте собственных помыслов и возмущался выходками другого. Руфь, конечно, была индейцем, и ковбой лишил ее исконных ее земель, ее обычаев и независимости, и она, покоровшись судьбе, распласталась у него под ногами, но время от времени позволяла себе пустяковые бессмысленные выходки.

А что все-таки представляет собой ее сын? Лицо, фигура — это все ведь внешность, а внутри — чувства, о которых ей ничего не известно, зато известно кому-то другому, причем известно в такой степени, что его хотят убить. Мир вдруг раскрылся перед ней, как один из ее пышных тюльпанов, выставив зловещий желтый пестик. Раньше она знала лишь свою беду, лелеяла ее, пестовала, довела до степени искусства и подчинила ей всю свою жизнь. Теперь она увидела, что за пределами ее мирка лежит другой мир, еще более недобрый. За пределами кровати с пологом, где доктор Фостер пускал пузыри и гнил заживо (нетронутыми остались только его прекрасные руки; кстати, единственное, что унаследовал внук), за пределами садика и аквариума,

где умирали ее золотые рыбки. Она думала, что ей уже ничего не грозит. Что она победила касторку и раскаленный горшок, от которого у нее на коже оставались ожоги, такие болезненные, что она не могла сидеть за столом с дочерьми, когда девочки вырезали лепестки и сшивали из них цветы. Ребенок родился, несмотря на все преграды, и, хотя он не положил конец расколу между Мейконом и ею, самый факт его существования знаменовал ее единственный в жизни триумф.

А теперь вот Фредди толкует ей, будто она ничего не достигла и ей рано успокаиваться. Кто-то и сейчас пытается его убить. Лишить ее единственной, но блестящей победы, одержанной силой, с налета, в бою. Причем жизни его угрожает некто, в чьих жилах течет кровь Мейкона.

— Как тяжело, — сказала она вслух, складывая и засовывая в карман деньги, которые Фредди принес за квартиру. — Как тяжело, вы не представляете себе.

Она поднялась по ступенькам крыльца и вошла в кухню. Не сознавая, что делает, ударила ногой по дверце шкафчика под раковиной. Замок дверцы износился, и она с жалобным скрипом снова открылась. Руфь посмотрела на нее и опять стукнула ногой по дверце. Та снова скрипнула и тотчас отворилась.

— Я велю тебе закрыться, — прошептала она. — Закрыться.

Дверца не закрывалась.

— Закройся. Слышишь? Закройся! Закройся! Закройся! — пронзительно закричала она.

Магдалина, именуемая Линой, услышав крик, торопливо спустилась вниз. Она обнаружила, что мать в упор глядит па кухонную раковину и пререкается с ней.

— Мама?! — Лина испугалась. Руфь посмотрела на нее:

— В чем дело?

— Не знаю. Мне показалось, ты что-то говоришь.

— Пусть починят эту дверцу. Я хочу, чтоб она закрывалась. Плотно закрывалась.

Лина озадаченно посмотрела на мать, торопливо прошмыгнувшую мимо, и, услышав, как Руфь взбегаёт вверх по лестнице, приложила в изумлении палец к губам. Лина понятия не имела, что мать способна двигаться так быстро.

Страсти, обуревавшие ее, были, конечно, незначительны, но глубоки. Давно отвергнутая мужем, давно привыкшая к женскому одиночеству, она решила: неминуемая смерть сына отнимет у нее последний объект любви — кого ей любить, если его не станет?

Той же решительной поступью, какой шесть или семь раз в год она направлялась к кладбищу, Руфь вышла из дому и села в 26-й автобус на переднее сиденье, сразу за шофером. Она сияла очки и протерла их подолом юбки. Она была спокойна и целеустремленна, как всегда, когда смерть обращала свой взгляд на кого-нибудь из принадлежащих Руфи, как, например, тогда, когда дыхание смерти повеяло на реденькие волосы отца и взъерошило их. Вот такой же сноровистой и невозмутимой была она, когда ухаживала за умирающим отцом и отталкивала от его постели смерть, упираясь в ее грудь рукой, не допускала к нему смерть и заставляла отца жить даже вопреки его собственной воле, вопреки мучительному отвращению и ужасу, которые он испытывал при каждом вздохе, снова приносящем запах его гниющего тела. Заставляла вопреки тому, что, лишенный последних сил, он был уже не в состоянии противиться ее стараниям сохранить ему жизнь и знал одно лишь последнее чувство — всепоглощающую ненависть к этой женщине, которая мешает ему обрести покой и все смотрит и смотрит на него светящимися светлыми глазами, и глаза ее, словно магниты, удерживают его, не дают уйти в давно желанную узкую яму, которую для него выроют в земле.

Руфь старательно протерла очки, чтобы видеть из окна автобуса таблички с названиями улиц. («Ешь вишни, — как-то сказала ей Пилат, — и тебе не придется носить маленькие окошечки на глазах».) В голове у Руфи не было сейчас ни единой мысли, кроме одной: поскорее добраться до Дарлинг-стрит, где живет Пилат, и Агарь, наверное, тоже. Каким образом эта пухлая кроха, клонившаяся под тяжестью собственных косичек, превратилась в вооруженную ножом

женщину, которая, быть может, убьет ее сына? Если только Фредди не солгал. Как знать, может, и солгал. Посмотрим.

Кончилась торговая часть города, и замелькали шаткие домишки и лавчонки. Руфь потянула за шнур. Она вышла из автобуса и направилась к подземному переходу, прорытому под Дарлинг-стрит. Путь был долгий, и Руфь вспотела, когда добралась до домика Пилат. Дверь была открыта, но в доме никого не оказалось. Пахло фруктами, и Руфь вспомнила персик, от которого ее затошнило, когда она приходила сюда в прошлый раз. А вот и кресло, в которое она тогда рухнула. Вот стоит форма для отливки свечей и кастрюля, в которой самодельное мыло, сваренное все той же неутомимой Пилат, превращается, густея, в желто-коричневую вязкую массу. В прошлый раз Руфь вбежала сюда, как в укрытие, но и сейчас, несмотря на овладевшую ею холодную ярость, дом по-прежнему напоминает ей гостиницу, тихую пристань. С потолка спиралью свисала липучка от мух, на которой не было ни единой мухи, а неподалеку от липучки, также с потолка, свисал мешок. Руфь заглянула в спальню и увидела три узкие кровати — и, как Златовласка, подошла к ближайшей и присела на краешек. Задней двери в доме не имелось, а комнат — всего две: большая жилая комната и спальня. Был еще погреб, он находился снаружи, металлическая дверца откинута наклонно от стены дома к земле, а за дверцей — каменные ступеньки.

Руфь сидела неподвижно, она ждала, когда ее гнев, ее решимость застынут и обретут четкие формы. Ей захотелось узнать, на чью она села кровать, она приподняла одеяло и увидела один лишь голый тиковый матрас. То же самое она увидела и на следующей кровати, зато третья выглядела совсем не так. Там были простыни, подушка, наволочка. Это кровать Агари, подумала Руфь. И сразу гнев перестал застывать, расплавился и окатил ее волною. Она вышла из комнаты, стараясь унять свою ярость, ведь ей, может быть, предстояло еще долго ждать, пока кто-нибудь возвратится домой. Обхватив локти руками, она расхаживала из угла в угол по передней комнате, и вдруг ей показалось, будто за домом кто-то тихонько мурлычет песенку. Пилат, подумала она. Пилат все время потихоньку напевает и все время что-то жует. Вот у нее то Руфь и спросит, правду ли сказал Фредди. Ее спокойная рассудительность, уравновешенность, честность очень нужны ей сейчас. Руфь поговорит с ней и будет знать, что делать.

Перестать сжимать руками локти и выпустить наружу весь свой гнев или... Она снова ощутила восхитительную остроту и хруст кукурузных хлопьев «Арго». Слегка скрипнула зубами, выходя на крыльцо, и пошла вдоль дома, пробираясь сквозь заросли табака, вконец запущенные без присмотра и ухода.

За домом на скамейке сидела женщина, зажав между коленями руки. Не Пилат, другая. Руфь остановилась и посмотрела на ее спину. Совершенно непохоже на спину убийцы. В ней какая-то податливость, ранимость, она, пожалуй, напоминает голень — крепкая, но в то же время чувствительна даже к самой слабой боли.

— Реба! — сказала Руфь.

Женщина обернулась и устремила па нее взгляд, исполненный такой печали, какой Руфь никогда не видела.

— Реба ушла, — ответила она, и второе слово прозвучало так, как будто Реба ушла навсегда. — Может, я сумею вам помочь?

— Я Руфь Фостер.

Агарь окаменела. Волнение молнией пронзило ее. Мать Молочника — это ее силуэт мелькал по вечерам на верхнем этаже за шторами, когда она, Агарь, стояла на другой стороне улицы, поначалу надеясь перехватить его и увести с собой, потом просто увидеть и, наконец, лишь постоять вблизи от дома, где он живет, и от всего, что его окружает. Те, кто бодрствует по ночам в одиночку, особенно остро ощущают свое одиночество, ибо эти ночные бдения — символ всеобщего безумия. Раз или два отворялась боковая дверь, и в темноте проступали контуры женщины, которая стряхивала со скатерти крошки или выбивала коврик. Она забыла все, что ей рассказывал о матери Молочник, все, что она слышала о ней от Пилат и от Ребы, забыла все, потрясенная присутствием его матери. Ее охватило болезненное наслаждение, и Агарь не стала его подавлять, она улыбнулась. Руфь ее улыбка не удивила. Смерть всегда улыбается. И дышит. И кажется беспомощной, как голень, или как крохотные черные точки на лепестках розы «Королева Элизабет», или как пленка на глазу мертвой золотой рыбки.

— Вы хотите убить его, — резко сказала она. — Если с его головы упадет хоть волос, я вам глотку перерву, да простит меня господь.

Ее слова удивили Агарь. Она никого на свете не любила, кроме сына этой женщины, и страстно хотела, чтобы он жил, он, именно он... только вот одно лишь: ей никак не удавалось обуздать сидящего в ней хищного зверя. Ее любовь была любовью анаконды, и это чувство полностью захватило ее, ничего не оставив от прежней Агари — ни опасений, ни желаний, ни способности рассуждать. Вот почему она с глубокой искренностью ответила Руфи:

— Я попробую не делать этого. Но не могу вам обещать наверняка.

Руфь уловила в ее словах мольбу, и ей представилось, что перед ней не человек, а просто импульс, клетка, красное кровяное тельце, не знающее и не понимающее, почему оно обязано всю жизнь делать одно и то же: плыть вверх по темному туннелю к сердечной мышце или к главному нерву, которые его питают и питаются от него.

Опустив ресницы, Агарь жадно вглядывалась в эту женщину, которая до сих пор была для нее просто силуэтом. На женщину, которая спала в одном с ним доме и могла позвать его домой, а он обязан был прийти, на женщину, которая его родила и хранила в памяти с первого же дня всю его жизнь. Эта женщина знала его с головы до ног, она следила, как прорезывались его зубки, совала палец в его ротик и поглаживала набухшие десны. Она купала его, смазывала вазелином, обтирала чистой белой салфеткой губки. Кормила его грудью, а до этого носила под самым сердцем, в тепле и покое. Даже сейчас она может свободно войти в его комнату, если захочет, вдохнуть в себя запах его одежды, потрогать его ботинки и приложить голову к подушке, на то самое место, где недавно лежала его голова. Но важнее всего, гораздо важнее, что эта худая женщина с лимонно-желтой кожей совершенно уверена в том, за что Агарь охотно дала бы перервать себе глотку, — эта женщина уверена, что сегодня же его увидит. Ревность вздыбилась в Агари, и она задрожала. А что, если тебя, подумала Агарь. А что, если убить нужно тебя? Может быть, тогда он придет ко мне или позволит мне прийти к нему. Он мое прибежище в этом мире. И повторила вслух.

— Он мое прибежище в этом мире.

— А я его прибежище, — сказала Руфь.

— А ему на вас обеих начхать.

Женщины обернулись и увидели Пилат, облокотившуюся на подоконник. Ни Агарь, ни Руфь не знали, давно ли она слушает их из окна.

— И при этом не могу его осудить. Две взрослые бабы говорят о мужчине так, словно он дом или ищет дом. А он никакой вовсе не дом, он мужчина, и ищет он того, чего у вас обеих нет.

— Оставь меня в покое, мама. Оставь меня в покое, прошу тебя.

— Тебя уже и так оставили. Если тебе этого мало, я тебя так вздую, что ты своих не узнаешь, тогда некому будет жаловаться.

— Не серди меня! — закричала Агарь и вцепилась пальцами себе в волосы. Жест вполне обычный, выражающий безысходность отчаяния, но неловкость этого движения навела Руфь на мысль: а ведь с девушкой и в самом деле что-то не так. Вот она — пресловутая дикость Южного предместья! Не в нищете она, не в шуме и не в грязи или буйном разгуле страстей, когда даже любовь выражает себя ударом пешни, а в полном отсутствии запретов. Здесь каждый знает, что в любой момент любой может сделать все, что угодно. Не дикая пустыня, где существует все же своя система, своя логика жизни львов, деревьев, жаб и птиц, а дикая безудержность, лишенная всякой системы и всякой логики.

Она не замечала проявлений такой безудержности у Пилат, женщины уравновешенной и к тому же обладавшей огромной силой духа — кто, кроме Пилат, рискнул бы противоборствовать Мейкону? Тем не менее Руфь испугалась, когда увидела ее впервые, много лет назад. Пилат постучалась в кухонную дверь в поисках братца своего, Мейкона, как она сказала. (Руфь и сейчас немного побаивалась ее. Ее пугал и облик — волосы, остриженные коротко, как у мужчины, большие сонные глаза и постоянно шевелящиеся губы, и удивительно гладкая кожа — ни волоска, ни шрама, ни морщинки. Но главное — Руфь видела ее живот. То место посредине живота, где у каждого человека, кроме Пилат, расположен пупок. Даже если женщина, лишенная пупка, не

пугает вас, то, уж во всяком случае, она требует к себе самого серьезного отношения.)

Пилат властно подняла руку и велела Агари утихомириться.

— Сядь, посиди тихо. Со двора не уходи.

Агарь умолкла и поплелась к скамейке. Тогда Пилат посмотрела на Руфь:

— Войди-ка в комнату. Передохни, куда он денется, твой автобус?

Женщины сели друг против друга за стол.

— Жара такая, персики пересыхают, — заговорила Пилат и протянула руку к корзине с откинутой крышкой, где лежало несколько штук. — Но попадаются и хорошие. Нарезать тебе свежий сочный персик?

— Нет, спасибо, — ответила Руфь. Она даже немного дрожала. После напряжения, которое она перенесла, после вспышки гнева, сделавшей ее на время смелой, даже грозной, и после того, как Пилат обрушилась на внуку, этот светский тон разговора хозяйки и госты слишком уж внезапно вернул ее к привычной ей жеманной важности и выбил из колеи. Руфь опустила на колени стиснутые руки, пытаясь унять их дрожь.

Как различны они были, эти женщины. Одна черная, другая желтая, как лимон. Одна затянута в корсет, другая — в платье, одетом на голое тело. Одна начитана, но почти не бывала за пределами родного города. Другая прочла только учебник по географии, зато объездила из конца в конец всю страну. Для одной немыслима жизнь без денег, другая равнодушна к ним. Впрочем, все это пустяки. Существенно же то, что их объединяет. Обеих глубоко интересует судьба сына Мейкона Помера, у обеих не прервалась связь с отцами, после того как те покинули наш свет, и связь эта для них благотельна.

— В прошлый раз, когда я тут была, вы угощали меня персиком. Тогда я тоже приходила из-за сына.

Пилат кивнула и ногтем большого пальца разделила персик на две половинки.

— Ты не сможешь ее простить. Она ничего не сделала, но ты не сможешь простить ее даже за эти попытки. Хотя, сдается мне, ты смогла бы ее понять. Послушай-ка меня минутку. Тебе сейчас впору самой убить ее, ну, или, скажем, покалечить, потому как она хочет отнять его у тебя. Она враг тебе, потому что старается лишить тебя сына. А ты поставь себя на ее место, ведь и ее кто-то хочет его лишить. Он сам и хочет. Значит, он ее враг. Он, именно он старается, чтобы она его лишилась. И чтобы не позволить ему этого, она надумала его убить. Так что выходит, вы с ней оказались в одном и том же положении — беда у вас одна.

Конечно, я стараюсь ее удержать. Ведь и она мое дитя, ты знаешь, и все-таки после каждой новой попытки я ей ох какую взбучку задаю. Заметь, только за то, что пыталась, потому как я твердо знаю: дальше попыток дело не пойдет. Он еще и на свет не родился, а уже оборонялся, не давал себя убить. Он еще лежал у тебя в животе, а родной его папа старался его извести. И даже ты ему иногда помогала. А он, бедняжка, отбивался от касторки, и от иголки, и от горячего пара, И уж не знаю, чего там еще вытворяли вы с Мейконом. Но он отбился, он остался жив. Когда был совсем, совсем беспомощным. И теперь ему ничего не грозит, кроме одного — он не знает жизни и знать не хочет, и ни одной женщине в мире не суждено его убить. Скорей уж, женщина спасет ему жизнь.

— Но ведь никто не живет вечно, Пилат.

— Да что ты?

— Ну конечно.

— Говоришь, никто?

— Конечно, никто.

— Отчего бы это — не пойму.

— Смерть так же естественна, как жизнь.

— Ничего естественного в смерти нет. Самое неестественное, что есть на свете.

— Вы что, думаете, люди должны вечно жить?

— Не все, а некоторые. Я так думаю.

— А кто будет решать, кому из людей нужно жить, а кому не нужно?

— Сами люди и будут решать. Некоторым хочется жить вечно. А другим не хочется. Я считаю, они сами это как-то для себя решают. Люди умирают, когда захотят умереть и если захотят. Тот, кто не хочет, умирать не станет.

Руфь похолодела. Она всегда считала, что ее отец желал умереть.

— Хотела бы я разделять вашу веру, хотя бы в том, что касается моего сына. Только боюсь, поверив вам, я проявлю собственную глупость, и ничего больше. Вы видели, как умер ваш отец, а я видела, как умер мой; вы видели, как вашего отца убили. Что же, по-вашему, он хотел умереть?

— Я видела, как застрелили папу. Он сидел на заборе и взлетел на пять футов вверх. Я видела, как он упал потом на землю и дергался. Но я не только не видела, как он умер, я встречала его после того, как его застрелили.

— Пилат... Вы сами же его похоронили. — Руфь сказала это так, словно говорила с ребенком.

— Его хоронил Мейкон.

— Не все ли равно?

— Мейкон его тоже видел. После того, как похоронил его, после того, как папу сбили выстрелом с забора. Мы оба видели его. Я вижу его до сих пор. Он помогает мне, он очень помогает. Говорит всякие вещи, которые мне нужно знать.

— Какие вещи?

— Разные. Приятно чувствовать, что он со мной. Он, понимаешь ли, такой, что я всегда на него могу положиться. И еще я тебе вот что скажу. Кроме него, у меня никого нету. Мне ведь еще девочкой пришлось оторваться от других людей. Ты себе даже не представляешь,

каково это. После того как папу сбили выстрелом с забора, мы с Мейконом несколько дней бродили неподалеку от фермы, потом поссорились, и я ушла одна. По-моему, мне было тогда лет двенадцать. Как осталась я одна, так сразу двинулась в Виргинию. Мне вроде бы помнилось, что у папы там есть родня. Или у мамы. Вроде помнилось мне, будто насчет этого что-то говорили. Маму-то я не помню, потому как она умерла до моего рождения.

— До вашего рождения? Как же можно, чтобы...

— Мама умерла, а через минуту я родилась. Но когда я в первый раз вдохнула воздух, мамы уже не было в живых. И лица ее я никогда не видала. Я даже не знала, как ее звали. Но я помню: мне казалось, она из Виргинии. Так или иначе, надумала я туда пойти. Только решила сначала у кого-нибудь на время поселиться, там, где подручная или прислуга нужна, и заработать денег на дорогу. Я шла семь дней, потом устроилась в доме у одного проповедника. Хорошее оказалось место, только меня там заставили носить ботинки. Правда, в школу меня посылали. В школе там одна большая комната и все сидят. Мне уже сравнялось двенадцать, но, так как до тех пор я в школу не ходила, меня посадили с самыми маленькими. А мне было все равно; вообще-то говоря, мне очень понравилось в школе. Особенно уроки географии. Мне так хотелось все это узнать, что я старалась поскорее читать научиться. И учительница была довольна, что мне так география понравилась. Она дала мне учебник и позволила носить его домой и картинки смотреть. Все бы хорошо, но тут проповедник начал ко мне приставать. Я была такая дурочка, даже не знала, как его отвадить. Жена застала его один раз, когда он меня лапал, и выгнала меня из дома. Я унесла с собой учебник географии. Я могла бы в этом городе остаться, там было много цветных, какие взяли бы меня. В те времена все старики брали к себе в дом подростков. Все взрослые работали, а детей устраивали к чужим людям прислужой. Но оттого, что прежний мой хозяин был проповедником и всякое такое, я решила лучше дать тягу. В кармане у меня ни цента, потому как я работала на них бесплатно. Только за жилье и за харчи. Так что взяла я свою географию, да еще камешек подобрала на память, и пошла себе.

В воскресенье повстречались мне сборщики. Их теперь сезонниками называют, а в те времена звали просто сборщиками. Они меня взяли с

собой и обходились со мной хорошо. Я сперва работала в штате Нью-Йорк на уборке бобов, а потом мы перешли в другое место и еще что-то собирали. И везде, где я побывала, я подбирала какой-нибудь камешек. Сборщиков этих было четыре или пять семей, а работали все вместе, артелью. Все они приходились друг другу родней или состояли в свойстве. Люди они были добрые и со мной хорошо обращались. Я с ними года три, наверно, пробыла, главным образом, я думаю, из-за одной женщины, уж очень я к ней привязалась. Она меня многому научила, и с ней я не скучала по своей семье, по Мейкону и по отцу. У меня и в мыслях не было уйти от них, от сборщиков этих, но так уж получилось. Не хотела, а пришлось от них уйти. Потому как спустя некоторое время они сами же меня прогнали. — Пилат обсасывала косточку персика, и лицо у нее потемнело и стало неподвижным: она вспоминала, как еще девочкой ей пришлось «оторваться» от других людей.

Был там парнишка. То ли племянник, то ли двоюродный брат той женщины, с которой подружилась Пилат. Когда Пилат исполнилось пятнадцать лет, однажды зарядил такой ливень, что сборщики не выходили из хижин (те, у кого были хижины, другим пришлось отсиживаться в палатках), где уж там работать, когда всюду хлещет дождь, и Пилат и тот парнишка как-то взяли да и легли рядом. Совсем мальчик, ее ровесник, он восхищался в ней всем и ничему не удивлялся. Вот почему без всякого злого умысла он однажды после ужина сказал мужчинам (а женщины сидели тут же, неподалеку, и все слышали): мол, впервые он узнал, что у некоторых людей не бывает пупка. При этом его замечании и мужчины, и женщины с любопытством поглядели на него и попросили объяснить, что он имеет в виду. Он поначалу не мог сказать ничего связного — испугался, как бы ему не влетело, что соблазнил хорошенькую девушку с одной серьгой, — но вскоре понял: их волнует только сказанное о пупке, и тогда он все объяснил.

Проверить, правду ли он говорит, поручили той женщине, его родственнице, и через несколько дней она позвала Пилат к себе в хижину.

— Ложись, — сказала она, — мне тут нужно разобраться кое в чем.

Пилат послушно улеглась на соломенный тюфяк, обтянутый грубым тиком.

— А теперь задери вверх платье, — сказала женщина. — Еще. Совсем высоко задери. Еще выше.

И тут она вдруг выпучила глаза и прихлопнула ладонью рот в испуге. Пилат быстро села.

— Что случилось? Что? — Она встревоженно оглядывала себя, испугавшись, не залезла ли ей под подол змея или ядовитый паук.

— Ничего не случилось, — ответила женщина. И спустя немного времени: — Дитя мое, где твой пупок?

Пилат, никогда в жизни не слыхавшая этого слова, не поняла, о чем та говорит. Она недоуменно смотрела па свои голые ноги.

— Пупок? — переспросила она.

— Ну разве ты не знаешь? Вот это. — Тут женщина задрала подол собственного платья и потянула вниз трико, обнажив жирный живот. Пилат увидела маленькую, похожую на коротенький штопор выемку прямо посередине ее живота, кожу, сморщенную, словно для того, чтобы сливать туда воду, нечто похожее на крохотный водоворотик на берегу ручья. Такую штуку она видала на животе у брата. У него она была. У нее не было. Брат справлял малую нужду стоя. Она — присев. Устроено у них там тоже все по-разному, и опять же грудь: у него она плоская, а не бугрится. У него есть этот штопор посередине живота. У нее нет. Она думала, что это тоже одно из различий между мужчинами и женщинами. У мальчика, с которым она легла в постель, тоже была на животе такая штучка. Но ей еще ни разу не пришлось видеть живот какой-нибудь женщины. Хозяйка хижины смотрела на нее с таким ужасом, что Пилат поняла: не иметь такой штуки нельзя, почему-то это считается скверным.

— Для чего он нужен? — спросила она. Женщина судорожно глотнула.

— Он нужен для... он для тех людей, которые родились естественным образом.

Пилат ничего не поняла, впрочем, не поняла она и того, о чем разговаривала с ней потом эта женщина и другие женщины из их артели. Они сказали, ей нужно уйти. Им очень жаль ее, они все ее полюбили, к тому же она такая усердная и хорошо помогала им всем. Но уйти ей все равно нужно.

— Из-за живота? — Однако на этот вопрос женщины не ответили. Потупившись, они стояли и молчали.

В дорогу ей выдали большую долю, чем причиталось: женщины опасались, как бы она не ушла, затаив на них гнев. Они считали, если Пилат рассердится, она сможет навести на них порчу, да и простое чувство жалости примешивалось к страху, внушаемому тем обстоятельством, что они так долго жили рядом с существом, которое создал не бог.

Пилат ушла. Она снова направилась в Виргинию. Но теперь она уже знала, как работают в артели, и все приглядывалась, искала еще такую же артель или женщин, которые скопом сопровождали мужей, нанятых на сезон куда-нибудь на стройку, на металлургический либо судостроительный завод. За те три года, что она пробыла в артели, Пилат часто видела этих женщин — погрузив пожитки в фургон, они направлялись в города и поселки, куда уже раньше сманили и переправили их мужей предприниматели, пользующиеся дешевой рабочей силой — чернокожими, готовыми взяться за любую работу, в том числе и за такую, когда непогода сулит простой. Предприниматели не привечали жен сезонников, не желая наплыва в свои города цветных переселенцев, но женщины не обращали на преграды внимания, а переехав, селились в заброшенных зданиях или там, где квартиры были подешевле, и шли в прислуги либо работницами на ферму. Впрочем, Пилат не искала себе постоянной работы в деревнях и городах, где скопилось много цветных. Обосновавшиеся — и притом неплохо — в мелких городках Среднего Запада негры обходились с ней недружелюбно. Женщинам не нравилось, что взрослая девушка не носит лифчика, о чем они и сообщали ей. Не одобряли ее и мужчины: они считали, что Пилат слишком велика, чтобы ходить в рванье, как их же собственные ребяташки. Кроме того, ей нужно было идти дальше.

В конце концов ее прихватили с собой какие-то сборщики, которые возвращались на родину и останавливались на недельку-другую то

здесь, то там — где подвернется работа. И снова она с кем-то переспала и снова была изгнана. Только сейчас все было не так, как в первый раз, когда ее вежливо, но твердо попросили удалиться и щедрой рукой выделили заработанную ею долю. Сейчас ее просто бросили, снялись с места, пока она ходила в город купить ниток. Вернувшись, она обнаружила лишь догорающий костер, мешочек с камешками и учебник географии, пристроенный среди веток на дереве. Даже ее оловянную кружку бывшие спутники унесли с собой.

У нее осталось шесть медных центов, пять камешков, учебник географии и две катушки толстых черных ниток, номер тридцать. Пилат смекнула, что ей надо сразу же решать: продолжать ли свой путь в Виргинию или искать работу в городке, где ей, возможно, придется носить ботинки. Она выбрала и то и другое — начала с последнего, чтобы стало возможным первое. С шестью пенсами, учебником, камешками и катушками побрела она обратно в город. Негритянки в этом городке работали главным образом в двух местах: в прачечной и в расположенной через дорогу гостинице, она же бордель. Пилат предпочла прачечную и, войдя туда, спросила у трех девушек, которые стирали, погрузив по локоть в воду руки:

— Можно мне сегодня здесь переночевать?

— Здесь не ночуют.

— Я знаю. Можно?

Девушки пожали плечами. На следующий день Пилат нанялась прачкой за десять центов в день. Она работала тут, она тут ела, спала тут и усердно копила десятицентовики. Руки, покрывшиеся мозолями за те годы, что она работала на уборке урожая, вскоре перестали быть грубыми — они размякли в мыльной воде. Но не успели ее руки загрубеть по-новому, как на суставах пальцев — ведь она целыми днями терла и выжимала белье — стала трескаться кожа и в корыто для полоскания натекла кровь. Целая партия простыней чуть не пропала, но товарки выручили Пилат: они тут же прополоскали простыни еще раз.

Однажды она увидела дымок паровоза над удаляющимся от города поездом.

— Куда он поехал? — спросила она.

— На Юг, — сказали ей.

— А сколько это стоит?

Девушки засмеялись. Это товарные поезда, объяснили они. Во всем составе только два пассажирских вагона, и цветных туда не пускают.

— Так как же цветным доехать до того места, куда им нужно?

— Вроде считается, цветным никуда ездить не нужно, — ответили прачки, — но, если уж кому понадобилось, тот едет в фургоне. Спроси в платной конюшне, когда поедет следующий фургон. Тамошние служащие всегда знают, когда кто-нибудь собирается в путь.

Она послушалась совета и к концу октября, как раз перед началом холодов, уже ехала в Западную Виргинию, расположенную, если верить ее учебнику географии, совсем недалеко. Добравшись до Виргинии, она вдруг сообразила, что не знает, в какой части штата ей разыскивать свою родню. Она никогда еще не видела такого множества негров, и ощущение покоя и тепла, которое охватило ее здесь, среди них, запомнилось ей на всю жизнь.

Пилат привыкла, отвечая, как ее зовут, говорить лишь имя, без фамилии. Ее фамилия всегда производила неблагоприятное впечатление. Здесь ей, однако, пришлось спрашивать, не знает ли кто людей по фамилии Помер. Ей хмуро отвечали: «Нет, мы про таких сроду не слыхали».

Работая прачкой в гостинице в Калпепере, штат Виргиния, Пилат узнала, что существует целая колония чернокожих фермеров, обосновавшихся на острове, неподалеку от берега. Колонисты занимались огородничеством, разводили коров, гнали виски, немного приторговывали табаком. Держались они особняком, но другие негры их уважали. Добраться до острова можно было только на лодке. И вот в один воскресный день Пилат уговорила паромщика после окончания работы отвезти ее туда на ялике.

— Чего тебе там нужно? — спросил он.

— Хочу подработать.

— Ничего у тебя не выйдет, — сказал лодочник.

— Почему?

— Очень уж не любят пускать к себе чужих те негры.

— Отвези меня. Я заплачу.

— Сколько?

— Пятак.

— Превеликий боже! Договорились. Я здесь буду в полдесятого.

Колония на острове состояла примерно из двадцати пяти или тридцати семей, и, когда Пилат объяснила, что работы она не боится, а ей просто не нравится жить в городе, где каждая семья существует как бы сама по себе, колонисты приняли ее к себе. Она проработала там три месяца: мотыжила землю, удила рыбу, пахала, сеяла и помогала на винокурне. Главная ее забота, решила она, заключается в том, чтобы живот всегда был прикрыт. Она не ошиблась. Ей уже исполнилось шестнадцать, она завела дружка из местных и старалась каждый раз устроиться так, чтобы ее живот не оказался на свету. Она даже забеременела и, к величайшему недоумению колонисток, убежденных, что у них на острове проживают лучшие в мире женихи — чем иначе объяснить, что здесь заключают браки только с местными, — отказала своему дружку, мечтавшему, чтобы она стала его женой. Она боялась, что ей не удастся долго прятать свой изъясн от мужа. А он, увидев ее удивительный живот, поступит так же, как все до сих пор поступали. Но хотя ее решение показалось им нелепым, никому и в голову не пришло предложить ей покинуть остров. Ее старались оберегать, и по мере того, как близился срок, ей подыскивали все более легкую работу и не позволяли работать подолгу. Когда родился ребеночек — девочка, — две повивальные бабки были настолько поглощены процессом появления на свет младенца, что совершенно не обратили внимания на живот матери.

Зато молодая мать прежде всего взглянула на ее животик и с облегчением обнаружила — пупок на месте. Вспомнив, каким образом

она получила свое имя, Пилат по истечении положенных девяти дней попросила у одной из женщин Библию. Ей сказали, что на острове Библии нет, есть только сборник псалмов. А если кто захочет окрестить ребенка, тот должен съездить на материк.

— Вы можете назвать мне для девочки красивое имя из Библии? — спросила Пилат.

— Сколько угодно, — ответили ей женщины и тут же отбарабанили чуть ли не двадцать имен, из которых ей понравилось больше всего Ребекка; а сокращенно она звала девочку Реба.

Вскоре после рождения Ребы Пилат опять явился отец. Она страшно тосковала теперь в одиночестве. Отца ребенка не допускали к ней, пока роженица не окрепнет, и, бывало, целые часы тянулись в мраке и тоске, хотя перемежались радостными — когда просыпалась малышка. Отец сказал ей ясно как день: «Пой, пой», а немного позже заглянул в окно и сказал: «Нельзя же так просто бросить тело, а самим удрать».

Пилат ясно поняла, про что он сказал. Песни — а пела она превосходно — тотчас разогнали ее тоску. Она поняла также, что он велит ей возвратиться в Пенсильванию и унести останки того человека, которого они с Мейконом убили. (То обстоятельство, что сама она не нанесла ни одного удара, не имело ни малейшего значения. Брат убил, а она соучастница брата, потому что тогда он и она были одно целое.) Когда малышке исполнилось полгода, Пилат попросила бабушку девочки с отцовской стороны взять ее к себе на время, а сама переправилась на материк и уехала в Пенсильванию. Ее пытались отговорить, пугали надвигающейся холодной зимой, но Пилат не обратила на уговоры внимания.

Она вернулась через месяц с мешком, о содержимом которого никогда не упоминала, просто добавила этот мешок к учебнику географии, к мешочку с камешками и к двум катушкам черных ниток.

Когда Ребе сравнялось два года, Пилат внезапно охватило беспокойство. Словно учебник географии обрек ее скитаться по стране. Ее босые йоги прошли по всем — розовым, желтым, синим и зеленым — штатам. Она уехала с острова и стала бродить по стране, и кочевая ее жизнь продолжалась лет двадцать с лишним, до тех пор пока у Ребы

не родился ребенок. Такого места, как тот остров, ей не довелось больше найти. И, вспоминая свою длительную связь с отцом Ребы, она мечтала о другой, подобной, но не довелось ей больше встретить человека, хоть немного похожего на того колониста.

Спустя некоторое время она перестала тревожиться по поводу своего живота и уж не старалась его прятать. Ей внезапно открылось, что, хотя иному мужчине ничего не стоит переспать с безрукой женщиной, с одноногой, с горбатой или со слепой, с пьяницей или бандиткой, с карлицей, с несовершеннолетней, с другим мужчиной и черт знает с кем еще, их ничто не ужасает, кроме одного — им страшно переспать с нею, с женщиной без пупка. Они замирали при виде ее живота, гладкого, словно спина; они чуть в обморок не падали, они холодели, когда она, раздевшись донага, подходила к ним вплотную, нарочно выставляя гладкий, как колено, живот.

— Да кто же ты? Русалка какая, что ли? — возопил как-то один из них и торопливо стал натягивать носки.

Она была отрезана от всех. С детства лишенная семьи, она вслед за тем лишилась каких бы то ни было человеческих связей, ибо ей было отказано во всем — только раз на острове чуть улыбнулось счастье, единственный проблеск его, — в супружестве, в дружбе, в принадлежности к религиозной общине. Мужчины хмурились, женщины перешептывались и прятали за спину детей. Ее не взял бы в качестве экспоната даже бродячий цирк, так как в ее аномалии не хватало самого существенного — гротескности. На что смотреть-то! Ее изъян, и экзотический, и страшный, был несценичен. В нем не хватало интимности, скандальности, и любопытство не успевало разгореться до таких пределов, чтобы запахло драмой.

В конце концов ее терпение истощилось. Вопиюще невежественная, но наделенная острым умом, она усвоила, какая роль ей отведена в этом мире, отведена, по всей вероятности, навсегда, и, отбросив условности, начала с нуля. Прежде всего остриглась. Избавилась от ненужной заботы. Затем задумалась, как ей теперь жить и что для нее ценно в этом мире. Отчего ей весело, отчего грустно и почему так бывает? Что ей нужно знать для того, чтобы выжить? Что в этом мире истинно? Мысль ее блуждала по кривым закоулкам, забредала в тупики, итогом же порой бывал глубокий вывод, а порой — заключение, достойное

трехлетнего малыша. Путь, совершенный ею в поисках познания, пройденный нехоженой, хотя и простенькой тропой, привел к выводу: поскольку смерти она не боится (ведь она, можно сказать, частенько разговаривала с мертвецом), ей вообще ничего не страшно. Эта убежденность плюс сочувствие к людским тревогам, никогда не обременявшим ее самое, сделали ее такой, какою она стала, и — следствие приобретенных усилием мысли и опытом знаний — отвели ей место хоть и в пределах, но на самой грани весьма чувствительного к человеческим взаимоотношениям мира чернокожих. Ее одежда оскорбляла их в самых лучших чувствах, зато проявляемое ею уважение к чужим секретам — а негры ревностно оберегают свои личные дела от посторонних — заставляло забыть о небрежности ее туалета. Она имела привычку пристально смотреть людям в глаза, что в ту пору считалась среди негров крайне неприличным: так поступать могли лишь дети или опустившиеся люди... зато Пилат ни разу не позволила себе сказать что-либо неучтивое. Каждому вошедшему к ней в дом — в гости ли, по делу — она сначала предлагала что-нибудь отведать, а лишь затем вступала с ним в разговор. Она смеялась иногда, но никогда не улыбалась и, дожив к 1963 году до шестидесяти восьми лет, твердо помнила, что свою последнюю слезинку уронила в детстве, когда Цирцея принесла ей к завтраку вишневый джем.

Она явно утратила интерес к тому, как вести себя за столом, как соблюдать опрятность, но зато отношения между людьми были в ее глазах необычайно важны. Двенадцать лет, проведенные в округе Монтур, где отец и брат окружали ее нежной заботой и где сама она ухаживала за порученными ей животными на ферме, помогли ей сейчас выбрать оптимальную линию поведения. Оптимальную по отношению к мужчинам, называвшим ее русалкой, и к женщинам, заматавшим за ней на дороге следы и прислонявшим зеркальца к ее дверям.

Она обладала даром исцелять и не пугалась, когда рядом с ней разгоралась пьяная ссора или женщины начинали тузить друг дружку, и, случалось, устанавливала между забияками мир, длившийся на удивление долго, гораздо дольше, чем если бы в роли миротворца выступил обыкновенный человек. Самое же главное, она внимательно выслушивала указания своего наставника — отца, который ей время от времени являлся и всегда что-нибудь говорил. После рождения Ребы

он больше не приходил к Пилат в той одежде, что была на нем, когда он брел по опушке, а затем появился в пещере, после того как Пилат и Мейкон ушли от Цирцеи. Тогда он был одет в рабочий комбинезон и тяжелые башмаки-одежда, в которой его застрелили. Теперь на нем была белая рубаша с голубым воротничком и коричневая фуражка. Башмаков он не надевал (связывал за шнурки и перекидывал через плечо), наверное потому, что у него болели ноги — он все время потирал пальцы ног, сидя на полу возле ее кровати или на крыльце или прислонившись к стене винокурни. Пилат зарабатывала теперь на жизнь тем, что гнала вино и виски. Эта работа по мере того, как Пилат приобретала сноровку, предоставляла ей больше свободы, чем могло бы дать любое другое занятие женщине, совершенно не имеющей средств и не склонной продавать свою любовь за деньги. Поселившись в негритянском квартале какого-нибудь городка, она открывала там небольшое питейное заведение и редко сталкивалась с полицией или шерифом, так как не в пример другим такого рода заведениям не допускала у себя ни азартной игры, ни девок и очень редко продавала свой товар распивочно. Просто гнала спиртное и продавала в основном на вынос. Точка.

Когда Реба выросла и принялась кочевать из одной постели в другую, сделав передышку только для того, чтобы родить дитя, Агарь, Пилат решила, что в их жизни пора бы кое-что изменить. Не из-за Ребы, которая была вполне довольна их жизнью, а из-за внучки. Агарь оказалась чистюлей. Уже двух лет от роду она терпеть не могла безалаберщину и грязь. А в три года нрав ее явно отличался тщеславием и даже намечалась спесь. Ей очень нравились красивые платья. Пилат и Реба удивлялись ее просьбам, но им приятно было их исполнять. Они избаловали ее, а она в награду за потворство усердно старалась скрывать, что стесняется такой бабушки и мамы.

Пилат решила разыскать своего брата, если он еще жив, ведь девочке, Агари, нужна семья, родные, жизнь, вовсе не похожая на ту, какую ей могли предложить они с Ребой, а Мейкон то, насколько она помнит, должно быть, непохож на них. Он, наверное, преуспевающий, солидный и приличный, то есть из тех людей, какими восхищается Агарь. Кроме того, Пилат хотела с ним помириться. Она спросила у отца, где брат, но отец лишь потряс головой и потер ступни. Тогда Пилат впервые в жизни отправилась по собственной воле в полицию,

которая направила ее в Красный Крест, а тот направил ее в Армию спасения, а Армия спасения направила ее в «Общество друзей»^[13], которое направило ее обратно в Армию спасения, которая известила письменно все свои отделения во всех больших городах от Нью-Йорка до Сент-Луиса и от Детройта до Луизианы и обратилась к ним с просьбой просмотреть телефонные справочники, где Мейкона и в самом деле обнаружил секретарь одного из отделений. Пилат была удивлена успешным результатом, секретарь же отделения — ничуть не удивлен: ведь людей с такой фамилией едва ли так уж много.

Они путешествовали честь по чести (поезд, два автобуса), поскольку у Пилат накопилось порядочно денег: кризис 1929 года породил такое множество покупателей дешевой самогонки, что Пилат даже не приняла пособия от Армии спасения, которая произвела в ее пользу денежный сбор. Она прибыла с чемоданами, с зеленым мешком, со взрослой дочерью и с внучкой, брат же встретил ее грубо, негостеприимно, был смущен ее приездом и ничего ей не простил. Пилат уехала бы в тот же день, но осталась из-за жены брата — та медленно умирала тогда, потому что ей не хватало любви, да и сейчас, кажется, снова умирала по той же причине, во всяком случае, так показалось Пилат, которая, поглядывая через стол на невестку, рассказывала ей историю своей жизни с нарочитой неторопливостью, чтобы Руфь успокоилась и перестала думать об Агари.

ГЛАВА 6

- Я отвел ее домой. Она стояла посредине комнаты, когда я вошел. Я и отвел ее домой. Жаль ее. Ужасно жаль.

Молочник пожал плечами. Ему не хотелось разговаривать об Агари, но как иначе задержать Гитару и, уловив удобный момент, заговорить с ним на совсем другую тему?

— Что ты ей сделал? — спросил Гитара.

— Что я ей сделал? Ты же видел у нее нож и спрашиваешь почему-то, что я ей сделал?

— Я спрашиваю, что ты сделал ей до этого? Она ведь просто сама не своя.

— Сделал то же, что ты делаешь с ними каждые полгода, — сыграл отбой.

— Не верю.

— Я говорю правду.

— Нет, похоже, было что-то еще.

— Что же, я вру, по-твоему?

— Понимай как хочешь. Но этой женщине нанесена смертельная обида. И обидел ее ты.

— Ты что, ополоумел? Ведь буквально на твоих глазах она уже несколько месяцев пытается меня убить, а я ее даже пальцем ни разу не тронул. А теперь, оказывается, ты волнуешься не за меня, а за нее. Разговариваешь со мной, как следователь. Я заметил, ты теперь все время ходишь с нимбом вокруг головы. Белая мантия не требуется?

— Это ты к чему?

— А к тому, что мне надоели твои нотации. Знаю, мы с тобой на многое по-разному глядим. Знаю, ты считаешь меня лентяем... говоришь, я несерьезный, но мы все-таки друзья, и... Прости, я в твои дела не лезу?

— Ну что ты. Нет, конечно, нет.

Прошло несколько минут. Молочник покачивал стакан с пивом. Гитара отхлебывал чай. Было воскресенье. Они сидели в ресторанчике у Мэри. Прошло около недели после очередного покушения Агари на жизнь Молочника.

— Ты и курить бросил? — спросил Молочник.

— Да. Я больше не курю. И отлично, знаешь ли, себя чувствую. — Они опять помолчали, затем Гитара сказал: — Ты бы тоже бросил.

Молочник кивнул.

— Во-во. Буду общаться с тобой, обязательно брошу. Брошу курить, любовь крутить и пить... брошу все. Окутаюсь покровом тайны и начну куда-то шастать с Имперским Штатом.

Гитара нахмурился.

— Вот теперь ты лезешь в чужие дела.

Молочник вздохнул, а потом посмотрел ему прямо в глаза.

— Да, лезу. Мне хочется знать, почему на рождество ты все время где-то мотался с Имперским Штатом?

— У него были неприятности. Я помог ему.

— И все?

— А что еще?

— Не знаю, что еще. Я только знаю, что-то еще есть. И если мне не положено знать эти ваши дела, так и скажи, на том и кончим. Но я же вижу: с тобой что-то творится. И хочу узнать — что именно?

Гитара промолчал.

— Мы ведь очень давно с тобой дружим, Гитара. У меня от тебя нет секретов. Я тебе смело все рассказываю о себе: хоть мы и разные, я знаю, доверять тебе можно. Но в последнее время наша дружба стала вроде улицы с односторонним движением. Усекаешь? Я рассказываю тебе все, а ты мне ничего. Ты считаешь, мне нельзя доверять?

— Не знаю, может быть, и можно.

— Так проверь.

— Не могу. Тут замешаны другие люди.

— А ты не рассказывай мне об этих других. Расскажи о себе.

Гитара долго на него смотрел. Может быть, я так и сделаю, подумал он. Может быть, тебе и можно довериться. А может, и нельзя, но я все же рискну, потому что рано или поздно...

— Добро, — сказал он наконец. — Только учти: все, что я тебе расскажу, пусть дальше не пойдет. Если ты кому-нибудь проболтаешься, ты мне петлю на шею накинешь. Ну что, рассказывать?

— Ага.

— Точно?

— Точно.

Гитара подлил кипятку в чашку с чаем. Он внимательно глядел, как чаинки медленно оседают на донышко.

— Я полагаю, тебе известно, что по временам белые убивают негров, а люди только головами качают да приговаривают: «Ай-ай-ай, какой ужас».

Молочник поднял брови. Он-то думал, Гитара посвятит его в какое-то предприятие, которое он затекает. А тот опять зарылся в расовый вопрос. Говорил он медленно, так, будто в его речах нельзя пропустить ни единого слова и будто сам он внимательно вслушивается в то, что говорит.

— Я не способен цокать языком и приговаривать «ай-ай-ай». Мне нужно что-нибудь делать. Делать же возможно только одно: поддерживать равновесие, следить за тем, чтобы мы были квиты. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок способны оставить после себя потомство — от пяти до семи поколений, дальше начнется вырождение. Значит, каждая смерть — это смерть нескольких поколений. Этих сволочей не остановишь, они все равно будут нас убивать, стараться нас извести. И каждый раз, когда убийство им удастся, они уничтожают от пяти до семи поколений. Я помогаю уравнивать счет.

Есть такое общество. Оно состоит всего из нескольких человек, готовых пойти на опасность. Сами они не затекают ничего, даже кандидатур не намечают. Беспристрастны, как дождь. Но каждый раз, как белые убьют чернокожего ребенка, женщину или мужчину, а их закон, их суд и пальцем не пошевелинет, это общество намечает жертву — намечает ее наугад, но она должна соответствовать убитому или убитой возрастом и полом, — и приводит приговор в исполнение. Казнь, если

удастся, выбирают тоже соответственно тому убийству. Если негра повесили, вешают белого; если негра сожгли, то и белого сожгут; если женщину изнасиловали, а потом убили, то и белую женщину изнасилюют, а потом убьют. Если получится. Если же не удастся казнить намеченную жертву таким же точно способом, каким был убит чернокожий, тогда просто убьют, как сумеют, но непременно убьют. Члены этого общества называют себя «Семь дней». Состоит оно из семи человек. Всегда семь, ни больше и ни меньше. Если кто-нибудь из них умрет, или уедет, или не сможет больше выполнять свои обязанности, ему найдут замену. Не сразу, конечно, потребуется время. Но они и не спешат. Затаиться, потерпеть, пока подойдет время, — вот в чем их сила. Потерпеть и выжить. Расти они не хотят, так труднее будет затаиться. Они не пишут своих имен на стенах туалета и не бахвалятся перед девками. Терпение, молчание — их оружие, поэтому их никто не уничтожит, никогда.

А началось все в 1920-м, когда сперва изувечили, а потом убили солдата из Джорджии и сразу вслед за тем выкололи глаза фронтовику, вернувшемуся домой из Франции после первой мировой войны. С тех пор так и идет, без перерыва. Я сейчас — один из них.

Молочник выслушал все до конца, не проронив ни слова. Он съежился, как от озноба, когда Гитара наконец договорил.

— Ты... Ты будешь убивать людей?

— Не людей, а белых.

— Но почему?

— Я же тебе только что объяснил. Это нужно делать, это необходимо. Для поддержания постоянного соотношения.

— Ну а если этого не делать? Если оставить все, как есть?

— В таком случае наш мир — зверинец и я не смогу в нем жить.

— Но почему вы не отслеживаете настоящих убийц? Почему вы убиваете неповинных? Уж если мстить, то тем, кто виноват.

— Здесь неважно, кто убил. Убить способен каждый белый. Значит, выбирай любого. Среди белых нет неповинных, все они потенциальные убийцы негров, даже те, которые пока еще никого не убили. Ты думаешь, Гитлер очень их возмутил? Думаешь, они стали воевать против него, потому что считали его выродком? Да чем он хуже их? Он убивал евреев и цыган, потому что у него под рукой не было негров. Разве наши куклуксклановцы ужасаются, осуждают его? Ничего подобного, ты сам прекрасно это знаешь.

— Да, но люди, которые могут изувечить и убить человека... ведь они же сумасшедшие, Гитара, просто сумасшедшие.

— Каждый раз, когда над кем-нибудь из нас учиняют самосуд, все говорят, что линчеватели, мол, сумасшедшие или темные, невежественные люди. Точно так же можно бы сказать, что они были пьяны. Или страдали запором. Интересно, а почему это мы никогда не бываем так невежественны и пьяны, чтобы выколоть кому-нибудь глаза или вспороть живот? Почему мы недостаточно для этого безумны? Или недостаточно страдаем запором? И главное, как вышло, что негры, самая безумная и невежественная народность в Америке, никогда не доходят до такой степени безумия или невежественности? Чушь все это. Белые — просто нелюди. Нелюди вся белая раса. А чтобы бороться с нелюдьми и их победить, требуется волевое усилие.

— Но ведь есть же и хорошие. Среди белых есть такие, кто идет на жертвы ради негров. И на серьезные жертвы, не на пустяки.

— Что ж, значит, среди них есть двое-трое нормальных. Только они не в силах положить конец убийствам. Они гnevаются, а убийства продолжаются. Они могут даже выступать с речами, но и это не помогает. Мало того, они даже могут подвергнуть себя каким-то неудобствам, а убийства все продолжаются как ни в чем не бывало. Вот мы и взялись за дело.

— Но ты искажаешь факты. Не двое-трое нормальных. Таких много.

— Что ты говоришь? А знаешь ли ты, Молочник, что, если бы Кеннеди вдруг оказался жителем Миссисипи, сидел там у жаровни и, надрывшись в лоск, вдруг сильно заскучал, а тем временем его приятели надумали бы кого-то линчевать, он пошел бы с ними, просто

забавы ради. Вот и вылез бы в нем нелюдь в силу обстоятельств. Зато, к примеру, я, как бы крепко я ни напился и как бы сильно ни заскучал, линчевателем не стану, и ты не станешь, и вообще ни один чернокожий из всех, кого я знал и знаю или о ком я слышал, — никто из нас никогда не примет участия в суде Линча, в этом я уверен. Никогда. В каком краю бы он ни находился, в какое время бы ни жил, негр не способен вдруг отправиться на поиски какого-нибудь белого, чтобы разрезать его на куски. А они способны. И делают это даже не из-за выгоды, а они ведь из-за выгоды делают много чего. Зато негров убивают просто для забавы. Нелюди.

— Ну а как же... — Молочник постарался вспомнить, кто из белых несомненно проявил себя как защитник негров. — Швейцер. Альберт Швейцер. Он что, тоже стал бы убивать?

— Минуточку. Швейцеру было глубоко наплевать на африканцев. Он с таким же успехом мог заменить их крысами. Он, видишь ли, проводил исследование, испытывая самого себя, — доказывал, что способен работать с собачками в человеческом образе.

— Ну, а Элеонора Рузвельт?

— О женщинах я ничего не знаю. Не могу сказать, как поступили бы в таком случае их женщины, зато мне вспоминается картина: белые матери, вытянув руки, поднимают вверх детей, чтобы те получше разглядели, как горят привязанные к деревьям негры. В связи с чем у меня возникают некоторые сомнения по поводу Элеоноры Рузвельт. А вот насчет мистера Рузвельта никаких сомнений нет. Перетащи его в кресле на колесиках в пыльный городишко в Алабаме, дай ему плитку жевательного табаку, шахматную доску, немного виски и веревку — и, будь спокоен, он не задумываясь набросит ее какому-нибудь чернокожему на шею. Смысл моих слов заключается в том, что все белые при определенных условиях смогут убить. А мы при тех же самых обстоятельствах убивать не станем. Потому совершенно неважно, что некоторые из них пока еще никого не убили. Я слушаю радио, я читаю. И знаю теперь одну вещь: они сами тоже про это знают. Знают, что они нелюди. Их писатели и их актеры твердят им это уже много лет. Твердят, что они нелюди, твердят им, что они порочны. В книгах это называется трагедией. В кино — вестерном. То, что они воспевают как прекрасные, естественные человеческие черты, —

просто порочность. И зря они стараются. Болезнь в крови у них, она в структуре их хромосом.

— Ты, я полагаю, можешь все это доказать? На научной основе?

— Нет.

— А разве не следовало бы постараться сперва доказать, а потом уж приступать к подобным акциям?

— Они доказывают что-нибудь на научной основе перед тем, как убивают нас? Нет. Они сперва нас убивают, а потом пытаются научно доказать, почему мы обречены на гибель.

— Погоди-ка минутку, Гитара. Если они такие уж плохие, нелюди, как ты говоришь, почему ты так стараешься им уподобиться? Почему тебе не хочется быть лучше, чем они?

— А я лучше.

— Но ведь сейчас ты поступаешь, как самые худшие из них.

— Это верно, но я действую разумно.

— Разумно? Как тебя понять?

— А так понять, что я не развлекаюсь, это раз; не добиваюсь ни власти, ни внимания публики, ни земли, ни денег, это два, и не испытываю злобы — три.

— Ты не испытываешь злобы? Не верю!

— Не испытываю, уверяю тебя. Мне очень неприятно так поступать. И кроме того, страшно. Делать такие вещи ужасно трудно, если ты не злишься, и не пьян, и не накурился наркотиков, и не сводишь с кем-то личные счета.

— Я не вижу в ваших действиях никакого смысла. Ну кому это на пользу, кому?

— Я ведь объяснял тебе. Нужно уравнивать счет. Поддерживать равновесие. Постоянное соотношение. И потом, сама земля наша, почва.

— Что-то не понял.

— Наша земля пропиталась кровью чернокожих. А до нас — кровью индейцев. Белых ничем не исправишь, и, если так пойдет и дальше, не останется в живых ни одного из нас, и земли для тех, кто выжил, не останется. Поэтому мы должны поддерживать постоянное числовое соотношение.

— Но их ведь больше, чем нас.

— Только на Западе. И тем не менее не следует, чтобы соотношение менялось в их пользу.

— Но тогда нужно, чтобы все узнали о вашем обществе. Тогда, может быть, вы и сумеете прекратить убийства негров. Зачем вы держите все в тайне?

— Чтобы нас не сцапали.

— А вы не можете хотя бы как-то оповестить других негров, чтобы вселить в них надежду?

— Нет, этого нельзя.

— Почему?

— Нас могут выдать. Кто-нибудь нас может выдать.

— Ну, если так, то известите белых. Пусть они узнают. Ведь все же знают про мафию и клан; они напугаются и присмирят.

— Вздор городишь. Как это устроить, чтобы одни все знали, а другие — нет? Кроме того, мы не такие, как они. Мафия — сборище нелюдей. Так же как клан. Мафия убивает людей из-за денег, клан — ради забавы. И учти: у тех и у других огромные средства и сильные защитники. У нас ничего такого нет. Но нам совсем не нужно извещать кого-то. Мы даже выбранным для мести жертвам не говорим, что их убьют. Просто шепнем: «Твой день настал». Наша сила в том, что действуем мы тайно,

без шумихи. И ни один из нас никому не рассказывает об этом — нас к такому противоестественному удовольствию не тянет. Мы и между собой об этом не говорим, не касаемся подробностей. Просто даем задание. Если негра убили в среду, задание получает Среда; если негр убит в понедельник, то Понедельник отомстит за него. Выполнил задание — известил остальных, но без всяких там «кого» и «как». А если кто-то наконец не выдержит, то, чтобы не проболтаться, кончает с собой, как Роберт Смит. Или вот Портер. Мы заметили: это стало его угнетать. Решили передать кому-нибудь на время его день. Ему ведь просто нужно было отдохнуть, а теперь он снова в порядке.

Молочник внимательно посмотрел на него; дрожь ужаса, которую он долго сдерживал, охватила его на миг.

— Нет, Гитара, я этого не могу принять.

— Знаю.

— Уж очень у вас все неправильно.

— Что, например?

— Ну, во-первых, вас рано или поздно поймают.

— Может быть. Но если меня поймают, это значит, я умру несколько раньше, чем положено... но не легче, чем положено. А мне неважно, как я умру и когда. Ради чего я умру — вот что важно. Так же, как ради чего я живу. Кроме того, если меня поймают, меня смогут обвинить и убить за одно преступление, может быть, за два, но уж никак не за все. К тому же, остаются еще шесть «дней». Мы уже давно действуем, очень давно. И поверь, мы долго, очень долго еще будем действовать.

— Но вы не можете жениться.

— Ты прав.

— Не можете иметь детей.

— Не можем.

— И это жизнь?

— Да, жизнь. Именно у нас и жизнь.

— Без любви.

— Без любви? Наша жизнь без любви? Да ты слушал меня или нет? Все, что я делаю, я делаю не потому, что ненавижу белых. А потому, что люблю своих. Тебя люблю. Вся моя жизнь — любовь.

— Каша у тебя в голове, дружище.

— В самом деле? А когда евреи из фашистских лагерей после войны разыскивали нацистов, что их толкало — ненависть к нацистам или любовь к евреям, погибшим в лагерях?

— То совсем другое дело.

— Только потому, что в их распоряжении были деньги и гласность.

— Нет. Они отдавали нацистов под суд. А вы убиваете сами, и при этом не убийц. Вы убиваете неповинных людей...

— Я ведь сказал тебе, не существует...

— Вас вовсе не оправдывает то...

— Молочник, мы бедные люди. Я работаю на автомобильном заводе. Остальные еле сводят концы с концами. Где деньги, где то государство, та страна, которые возьмутся финансировать наше правосудие? Ты говоришь, евреи отдавали под суд нацистов. Есть у нас суд? Найдется ли в Америке хотя бы в одном городе такой суд, где присяжные осудили бы линчевателей? Даже в наше время есть такие места, где негры не имеют права давать показания против белых, где волею закона судья, присяжные, суд вправе не слышать ни единого слова, если оно сказано негром. А это значит, что чернокожего могут признать жертвой преступления лишь тогда, когда это подтвердит белый. Только в этом случае. Если бы существовало нечто, хотя бы отдаленно напоминающее правосудие или суд в тех случаях, когда белые подонки убивают негров, никому бы не понадобились наши «Семь дней». Но такого суда нет, поэтому мы существуем. И вершим правосудие без денег, без поддержки, без судейских мантий, без газет, без сенаторов и без иллюзий!

— Ты говоришь очень похоже на негра, который назвал себя Икс. Почему бы и тебе заодно не назваться Гитара Икс?

— Икс, Бэйнс — один черт. Плевать мне на фамилии.

— Ты, видно, не понял, чего он добивается. Он ведь хочет, чтобы белые узнали, что негр отвергает свою фамилию раба.

— А мне начхать на то, что знают белые, и даже на то, что они думают. И потом, я не отвергаю свою фамилию. Гитара — мое имя. Бэйнс — фамилия рабовладельца. То и другое связано со мной. Фамилия меня не волнует. Меня волнует положение раба.

— И положение это изменится из-за того, что ты прикончишь сколько-то там белых?

— Непременно.

— Не повлияет ли это как-нибудь и на мое положение?

Гитара усмехнулся.

— Повлияет, сам знаешь.

— Черта с два, — нахмурившись, сказал Молочник. — Что же, я сто лет проживу, оттого что члены вашего общества прочитают газету, а затем устроят засаду на какого-нибудь несчастного белого старичка?

— Сто лет тут ни при чем. Речь о том, как ты живешь и почему живешь. И о том, удастся ли твоим детям народить и себе детей. Речь о том, чтобы в один прекрасный день в нашем государстве белые задумались перед тем, как устроить очередной суд Линча.

— Да каким же образом вся эта дурь изменит мою жизнь и жизнь других негров? Ваши поступки безумны. Мало того, они входят в привычку. Напрактикуешься как следует — и будешь убивать кого угодно. Ты меня понял? Убийца есть убийца, он может убить и без причины. Не понравится тебе кто-то — прикончишь. Меня можешь убить.

— Мы не убиваем негров.

— Ты послушай, как ты говоришь. Негров. Не Молочника. Ты ведь не сказал: «Да что ты, Молочник, уж тебя-то я и пальцем не трону». Нет. Ты говоришь: «Мы не убиваем негров». Бред собачий! А что, если вы вдруг вздумаете изменить свои законы?

— «Семь дней» — это «Семь дней». Организация существует давно и законов своих не меняет.

Молочник задумался.

— И молодые у вас есть? Или все остальные постарше? Ты один там молодой?

— А в чем дело?

— Только в том, что сопляки страсть как любят менять правила.

— Ты беспокоишься за свою жизнь, Молочник? — посмеиваясь, спросил Гитара.

— Нет. В общем, нет. — Молочник погасил сигарету и достал новую. — А какой твой день, скажи-ка?

— Воскресенье. Я — Воскресенье.

Молочник потер лодыжку на той ноге, что была короче.

— Ох, друг, боюсь я за тебя.

— Забавно. А я за тебя.

ГЛАВА 7

Люди, живущие вдали от моря, понимают это. Понимают, что какие-нибудь случайные ручей Биттер и река Паудер, протекающие по штату Вайоминг, или большое Соленое озеро в штате Юта — в их краях единственная замена моря, и, лишенные возможности претендовать на побережье, довольствуются крутыми и отлогими берегами да отмелями. Они обычно мирятся с добровольным заключением, поскольку бежать все равно некуда. Но людей, живущих в районе Великих озер, сбивает с толку их окраинное положение, они живут на самом краю государства, но край этот — граница, а не побережье.

Поначалу и они, подобно жителям побережья, воображают, будто находятся на рубеже, откуда дорога ведет лишь в последний путь и бегство без возврата. Однако пять Великих озер, которые впитывают в себя через залив Святого Лаврентия дух морских просторов, тоже пленники суши, хотя извилистая река соединяет их с Атлантическим океаном. И как только жители озерного края обнаружат это, их так и тянет прочь от насиженных мест, и они неизбежно жаждут перемен, столь же неизбежно принимающих самые странные формы. То им вдруг захочется ходить по каким-то другим улицам, где свет солнца падает на мостовую иначе. То их потянет в незнакомую компанию. Или просто до смерти захочется хотя бы услышать, как у тебя за спиной громко захлопнулась дверь.

Вот Молочнику именно этого хотелось. Ему хотелось, чтобы тяжелая белая дверь их дома на Недокторской захлопнулась за ним, хотелось услышать, как в последний раз щелкнет за спиной замок.

— Тебе же все достанется. Все! И ты будешь свободен. Деньги — это свобода, Мейкон. Только деньги и дают нам настоящую свободу.

— Я знаю, папа, знаю, и все же мне надо уйти. Я ведь не уезжаю за границу, просто мне хочется начать самостоятельную жизнь. Ты сделал это в шестнадцать лет. Гитара — в семнадцать. Так поступают все. Все через это прошли. А я до сих пор живу в родительском доме и служу в твоей конторе — не потому, что лез из кожи вон, добиваясь этого места, а потому, что я твой сын. А ведь мне уже за тридцать.

— Ты нужен мне здесь, Мейкон. Если тебе так хотелось уйти, надо было сделать это пятью годами раньше. А сейчас уж я завишу от тебя. — Мейкон Помер не умел просить, но никогда еще его слова не были так похожи на просьбу.

— Только на год. Всего на один год. Дай мне денег на год и разреши уехать. Когда я возвращусь, я отдам этот долг: буду целый год работать на тебя бесплатно.

— Суть не в деньгах. Мне нужно, чтобы ты был тут и занимался моим делом. Тем самым, что я намерен тебе передать. Дело требует изучения, ты должен научиться сам всем распоряжаться.

— Дай мне часть твоих денег сейчас, когда они мне нужны. Не поступай, как Пилат, — та упрятала свои деньги в зеленый мешок и подвесила к потолку — ни себе, ни людям. Не заставляй меня ждать до тех пор...

— Что ты сказал? — С той же внезапностью, с какой старая собака, почуяв запах сырого мяса, перестает грызть башмак, умоляющее выражение лица Мейкона Помера сменилось на оживленное, у него даже ноздри раздулись.

— Я сказал, дай мне немного...

— Нет. Не о том. Насчет Пилат и мешка.

— А, насчет мешка. Да разве ты его не видел? Зеленый, он у нее в комнате висит. Говорит: это ее наследство. Там нельзя по комнате пройти — обязательно башкой о него стукнешься. Ты что, не помнишь?

Мейкон часто-часто заморгал, но потом все-таки взял себя в руки и сказал:

— Я сроду не переступал порог ее дома. Один лишь раз заглянул к ней в окно, но было темно, и я не заметил, чтобы что-нибудь свисало с потолка. Когда ты его видел в последний раз?

— Месяцев девять или десять назад. А что такое?

— Ты думаешь, он и сейчас там висит?

— А куда ему деваться?

— Зеленый, говоришь? Ты уверен, что он зеленый?

— Ну да... зеленый, как трава. А в чем дело? Почему ты так заволновался?

— Ты говоришь, она сказала тебе: там мое наследство? — Губы Мейкона кривила улыбка, до того коварная, что и не поймешь, улыбка ли это.

— Нет. Она мне этого не говорила, это сказала Агарь. Один раз я быстро прошел через комнату прямо к... мм... прямо к

противоположной стене, и, так как я высокий, я на него наткнулся. Здорово ударился головой. У меня даже шишка вскочила. Я спросил у Агари, что там такое, а она ответила: наследство Пилат.

— Ты стукнулся о него головой и у тебя вскочила шишка?

— Да. Такое впечатление, будто там кирпичи. А ты что, в суд на нее хочешь за это подать?

— Ты второй раз завтракал?

— Сейчас только пол-одиннадцатого, папа.

— Сбегай-ка в ресторанчик Мэри. Возьми у нее две порции жаркого на вертеле. Встретимся в парке против «Приюта милосердия». Там и поедем.

— Папа...

— Ступай. Делай, что тебе сказано. Ступай же, Мейкон.

Они встретились в небольшом общественном парке, через дорогу от «Приюта милосердия». Парк кишел голубями, студентами, пьяницами, собаками, белками, деревьями и секретаршами. Двое цветных присели на скамью, чуть в стороне от самой оживленной части парка, но не в глухом уголке. Одеты они были хорошо, слишком хорошо для того, чтобы есть свинину из коробочки, но в этот теплый сентябрьский день такая маленькая вольность не резала глаз, наоборот, она подходила к общей атмосфере благодушия, царившей в парке.

Молочника немного заинтриговало, но не встревожило волнение отца. Столько событий на него свалилось, столько перемен. К тому же он не сомневался, что дело, из-за которого отец сидит как на иголках и оглядывается, не подслушивает ли кто, имеет отношение к отцу, а к нему самому не имеет. Он трезвым взглядом смотрел на отца, после того как выслушал в поезде печальнейшую повесть матери. Ее слова и сейчас звучали у него в ушах: «Какой вред я тебе принесла, когда стояла на коленях и молилась?»

Где-то в глубине вместилища, в котором укрывалось его сердце, шевелилось ощущение: я оружие в чьих-то руках. Одни пользовались им ради чего-то, другие — в качестве чего-то. Его включали в свои планы, в разработку которых он не участвовал, избирали объектом своей мечты о богатстве, или любви, или мученичестве. Все, что они делали, вроде бы делалось ради него, только вот его желания никто и никогда не спрашивал. Так, сперва у него состоялась длинная беседа с отцом, в итоге отдалившая его от матери. А какое-то время спустя произошел доверительный разговор с матерью, и он узнал, что еще до рождения, еще до того, как в материнской утробе зародились первые клетки его организма, он стал предметом розни и ожесточенной борьбы. Потом оказалось, что женщина, которая клянется, будто любит его больше жизни, больше ее собственной жизни, на самом деле любит его больше его жизни, ибо вот уже полгода как старается избавить его от земного существования. А Гитара? Единственный из его знакомых нормальный и спокойный человек, без всяких фокусов, вдруг понес какую-то кровавую околесицу. Имперский Штат теперь ему компания. Вот почему он с любопытством, но без волнения, и без надежды ожидал: что еще от него потребуется?

— Значит, слушай. Ешь и слушай. И не перебивай, а то я потеряю нить своей мысли. Я рассказывал тебе как-то давно о том времени, когда я был еще мальчишкой и жил на ферме. Рассказывал о Пилат и о себе. Рассказывал, как убили нашего отца. Но я рассказал тебе не все. То, о чем я умолчал, касается только меня и Пилат. Я предупредил, чтобы ты держался от нее подальше и сказал тогда: она змея. Сейчас я объясню тебе — почему.

К его ногам подкатился красный мяч, Мейкон поднял его и бросил девчухе. Лишь убедившись, что она благополучно возвратилась к скамье, где сидела мать, он продолжил свой рассказ.

Через шесть дней после того, как скончался первый Мейкон Помер, его дети, двенадцатилетняя Пилат и шестнадцатилетний Мейкон Помер, остались без крыши над головой. Растерянные, убитые горем, отправились они в ближайший дом, где жила знакомая им чернокожая женщина — Цирцея, повивальная бабка, которая принимала их обоих, присутствовала при кончине их матери и спорила с отцом, когда он вздумал дать девочке имя Пилат. Она служила в большом доме-

особняке неподалеку от Данвилла, у фермеров-господ, как называли их тогда. Осиротевшие брат и сестра еще с ночи поджидали на огороде и, едва заметили над кухонной печью дымок, стали звать Цирцею. Она впустила их в дом, то и дело всплескивая от радости руками и повторяя, как она счастлива, что видит их живыми. Она не знала, что случилось с ними, после того как убили отца. Мейкон рассказал, что сам похоронил отца на берегу ручья в «Райской обители Линкольна» — там они, бывало, удили с отцом рыбу, — а могилу он вырыл на том самом месте, где поймал однажды девятифунтовую форель. Могила была мелковата, но он навалил сверху камней.

Цирцея предложила приютить их, пока они не решат, что делать и куда идти. Ей нетрудно было спрятать их обоих в доме. Там были комнаты, куда хозяева заглядывали редко, но, если даже они что-то заподозрят, она охотно пустит ребят в свою собственную комнату (уж туда-то никто не заглянет). Правда, комната у нее маленькая, поэтому порешили на том, что они займут две комнаты на третьем этаже, которые служили только для хранения продуктов. Цирцея будет приносить им еду, воду для мытья и выносить за ними помойное ведро.

Мейкон спросил, не наймет ли их здешняя хозяйка на работу. Они могли бы помогать на кухне, на скотном дворе — словом, делать все, что угодно.

Цирцея чуть не онемела от удивления.

— С ума ты сошел? Сам же сказал, вы видели, как те люди убили вашего отца. Так ты думаешь они не видели вас? Если они взрослого могли убить, то уж вас-то и подавно. Так что не лезь на рожон. Подумаем все вместе и решим, как вам дальше быть.

Мейкон и Пилат пробыли в доме ровно две недели, на большее их не хватило. Мейкон работал на ферме лет с пяти или шести, Пилат, словно зверек, привыкла к воле. Им все здесь было трудно: бесшумно двигаться, сидеть взаперти, тосковать от безделья, нарушавшегося только тем, что они ели и бегали к помойному ведру. Мука мученическая весь день ходить по половикам, есть пресную пищу белых и глядеть на небо лишь украдкой в щелку между шторами цвета слоновой кости.

Пилат расплакалась, когда Цирцея принесла ей на завтрак подсушенные ломтики белого хлеба с вишневым джемом. Девочке хотелось своих вишен, сорванных в своем саду, вишен с косточками и на черенках, а не это приторное месиво. Ей казалось, что она умрет, если не попьет парного молока, прямо из вымени, не сорвет на огороде помидор и не съест его тут же. Ей так хотелось привычной еды, что она не находила себе места. А тут еще после операции, которую она произвела себе самолично, разболелась мочка уха, и от всех этих мук ей просто выть хотелось. Перед тем как они с Мейконом ушли со своей фермы, Пилат вытащила из Библии клочок коричневой бумаги, на котором было нацарапано ее имя, долго колебалась, взять ли маленькую металлическую коробочку для нюхательного табака или широкополую шляпку с голубыми лентами, и наконец выбрала коробочку — она когда-то принадлежала их матери. Тоскуя в пустой комнате особняка, она надумала положить в табакерку бумажку со своим именем и по целым дням ломала голову, как изготовить из табакерки серьгу. Пилат нашла кусочек проволоки, но он не прикреплялся к табакерке. Наконец ей удалось разжалобить Цирцею, та сходила к негру-кузнецу, и он приделал к табакерке маленький кусочек золотой, проволоки. Пилат долго растирала ухо, пока оно не занемело, раскалила концы проволоки на огне и продернула сквозь мочку. Мейкон завязал кончики проволоки узлом, но мочка распухла и гноилась. Цирцея посоветовала ей приложить к больному месту паутину, чтобы вытянуть гной и остановить кровотечение.

В тот день, когда она расплакалась из-за вишен, они с Мейконом засиделись допоздна за разговором и решили уйти из этого дома, как только заживет ранка. Цирцее нелегко их прятать тут, а если их обнаружат хозяева, она может даже лишиться места.

Как-то утром Цирцея взобралась на третий этаж, неся накрытое крышкой блюдо со свининой, запеченной в тесте из кукурузной муки, и обнаружила, что обе комнаты пусты. Беглецы не взяли даже одеяло. Только нож и жестяную кружку.

В первый день они готовы были плясать от радости. Ели яблоки и малину, сняли башмаки и наслаждались прикосновением росистой травы и прогретой солнышком земли к босым подошвам. На ночлег

они устроились в стогу и так радовались, что спят под открытым небом, что им казалось вполне приятным соседство полевых мышей и клещей.

Был хорош и следующий день, хотя ликовали они уже не так бурно. Они искупались в Саскуэханне, а затем полями, лесами, по заброшенным тропам и берегам небольших рек побрели, как они полагали, к югу, в Виргинию, где, по мнению Мейкона, жила их родня.

На третье утро, проснувшись, они увидели ярдах в пятидесяти сидящего на пне человека, который был как вылитый похож на их отца. Он не смотрел в их сторону — просто сидел на пне. Они хотели его окликнуть и подбежать к нему, но он смотрел как бы сквозь них, как-то странно смотрел, будто вдаль, и ребятам стало жутко. Они убежали в испуге. Весь день время от времени он попадался им на глаза: то он вглядывался в воду пруда, где плавали домашние утки, то возникал в развилке платана, то, заслоняя рукой глаза от солнца, обозревал простиравшуюся перед ними широкую и плоскую долину. Каждый раз, заметив его, они отходили назад потихоньку и шли в обратном направлении. Теперь уж им внушала ужас и сама земля, такая родная, такая знакомая. Сверкало солнце, воздух был ласковый и теплый, но стоило пробежать по листьям ветерку, с легким шорохом пройти фазаньей курочке по зарослям многолетнего клевера — ужас множеством иголок вонзался в них. Кардиналы, белки, ужи, бабочки, лесные сурки и кролики — все эти добрые создания, окружавшие их всю жизнь, внезапно превратились в зловещих вестников чего-то, что рыскало вокруг, преследовало их. Даже журчание реки звучало словно клич огромной глотки, река струилась, поджидая, подкарауливая их. И это днем! А ночью-то совсем жуть!

Перед самым наступлением темноты, когда солнце их покинуло и ребята, выйдя на опушку леса, огляделись, нет ли на вершине ближнего холма какой-нибудь фермы или заброшенного сарая — словом, чего-нибудь, где можно переночевать, они увидели пещеру, а у входа в пещеру стоял отец. На этот раз он поманил их к себе. Оказавшись перед выбором, провести ли бесконечную ночь в лесу или пойти за человеком, похожим на их отца, ребята предпочли последнее. Ведь если это в самом деле отец, он, конечно же, их не обидит.

Они медленно приблизились к пещере и вошли туда, а отец время от времени оглядывался на них и манил за собой.

Заглянув в пещеру, они ничего не увидели, лишь бездонную утробу тьмы. Отец исчез. Они решили, что если пристроиться здесь у самого входа, то, пожалуй, лучшего места для ночевки не найти; может, он и поманил их сюда, просто чтобы показать им, где заночевать. Из высокого, по пояс, нагромождения камней выступала будто гладкая скамья, и они отлично на ней устроились. В глубине пещеры не видно ни зги, лишь чуть тревожно делалось при мысли, что там наверняка есть летучие мыши. Но ведь это сущие пустяки по сравнению со страшной темнотой там, снаружи.

На рассвете Мейкон, спавший неглубоким, беспокойным сном, проснулся от резкой боли в животе — сказала жизнь на воле: они уже три дня питались только дичками. Потихоньку, чтобы не разбудить сестру, Мейкон слез с каменной скамьи; он постыдился справлять нужду на вершине холма при свете восходящего солнца и отошел в глубь пещеры. Спустя немного времени окружающая его тьма слегка рассеялась, и он увидел футах в пятнадцати от себя спящего человека. Мейкону хотелось потихоньку застегнуться и отойти, не разбудив его, но сучки и листья захрустели у него под ногами, и незнакомец, который, очевидно, и так некрепко спал — он все время вздрагивал во сне, — окончательно проснулся. Он поднял голову, посмотрел на Мейкона и улыбнулся. Он был очень стар, очень бел, и улыбка его была ужасна.

Мейкон попятился, вытянув руку назад, и почему-то ему в тот миг вспомнилось, как дергалось в предсмертных судорогах тело отца на земле. Продолжая пятиться, он прикоснулся к степе пещеры, и внезапно от нее отвалился камень. Мейкон зажал его в руке и швырнул в ухмыляющееся лицо старика. Удар пришелся прямо над бровью, кровь хлынула и смыла с бледного лица улыбку, но старик не остановился, он подходил ближе, ближе и все время вытирал лицо рубашкой, пачкая ее кровью. Мейкон схватил еще один камень, но на этот раз промахнулся. А старик все приближался.

Мейкон уже подумал, что пришел его последний час, как вдруг громкий крик разнесся по пещере и всполошил летучих мышей. Раненый оглянулся на крик, увидел чернокожую девочку, и, пока он глядел на нее, Мейкон вытащил нож и всадил его в спину старика. Тот упал ничком, но затем обернулся и взглянул на них. Его губы

шевелинулись, и он пробормотал какие-то слова, что-то вроде: «За что?» Мейкон вонзил в него нож еще раз и еще и вонзал его до тех пор, пока старик не перестал шевелить губами, стараясь им что-то сказать, и его лежащее на земле тело не перестало подскакивать и дергаться. Тяжело дыша от напряжения, ведь каждый удар ножа пробивал грудную клетку старика, Мейкон побежал за его одеялом. Он хотел, чтобы мертвец исчез, хотел закрыть его, спрятать, хотел от него избавиться. Он поднял рывком одеяло и вместе с ним большой брезентовый мешок и увидел три доски, положенные, как ему показалось, поверх небольшого углубления. Немного подумав, он отшвырнул доски ногой. Внизу лежали, как яйца в гнезде, маленькие серые, туго набитые мешочки, завязанные проволокой. Мейкон поднял один из них и подивился, до чего он тяжелый.

— Пилат! — окликнул он сестру. — Пилат!

Но она как приросла к месту и, приоткрыв рот, смотрела на мертвеца. Мейкон схватил ее за руку и потащил к ямке, где лежали серые мешочки. Ему не сразу удалось развязать стянутую узлом проволоку, даже пришлось пустить в ход зубы, но наконец он все же раскрыл один мешочек и вытряхнул на валявшиеся у них под ногами сучки и листья его содержимое — золотые самородки.

— Золото, — прошептал он и тут же, как грабитель, в первый раз участвующий в «деле», вскочил и помочился.

Жизнь, безопасность, роскошь — неожиданно дарованные ему блага — замаячили перед ним, сверкая, как павлиний хвост, и, пока Мейкон с восхищением разглядывал самородки, он вдруг заметил по другую сторону ямки покрытые пылью ботинки отца.

— Это папа! — вскрикнула Пилат. И отец, словно в ответ, со вздохом закатил глаза, прошептал загробным голосом: «Пой. Пой» — и вновь растаял в воздухе.

Пилат бросилась искать его, она бегала по пещере, кричала: «Папа! Папа!», а Мейкон тем временем укладывал мешочки с золотом в брезентовый мешок.

— Пойдем, Пилат! Нам пора уходить.

— Нельзя брать с собой это, — сказала она, указывая пальцем на мешок.

— Что? Оставить тут? Да ты с ума сошла!

— Это ведь кража. Мы его убили. За нами пошлют погоню, будут нас искать. Если мы заберем с собой деньги, подумают, что мы из-за денег его убили. Это нужно здесь оставить, Мейкон. Боже упаси, чтобы нас поймали с деньгами.

— Да это ведь не деньги, тут золото. Его хватит нам на всю жизнь. Мы сможем купить себе новую ферму. Мы сможем...

— Хватит, Мейкон! Хватит! Пусть его найдут на том самом месте, где оно лежало. — И она снова принялась кричать: «Папа! Папа!»

Мейкон ударил ее по лицу, и медная коробочка закачалась под ухом. Пилат придержала ее ладонями, а потом прыгнула на Мейкона, как антилопа. Они колотили друг друга в двух шагах от мертвеца, глядевшего на них неподвижным взглядом. Пилат почти не уступала Мейкону в силе, но, конечно, ей было не сладить с ним, и он, может быть, избил бы ее до потери сознания, если бы девочка не завладела ножом, на котором еще не просохла кровь старика, и не приставила его прямо к сердцу Мейкона.

Мейкон замер и не мигая смотрел ей в глаза. Он стал ругать ее обидными словами, но она молчала. Тогда он, пятась, вышел и отошел в сторонку от пещеры, но недалеко.

Весь день он ждал, когда появится Пилат. Весь день она не покидала пещеру. Спустилась ночь, он сел под деревом, и все, казавшееся таким жутким вчера, сегодня его не пугало; он следил во все глаза за входом в пещеру — не высунется ли лохматая голова Пилат. Так он прождал всю ночь, ничего не увидел и не услышал ни звука. На рассвете он потихоньку пополз к пещере, приостанавливаясь на каждом шагу, чтобы не разбудить Пилат и напасть на нее, пока она спит. И тут он вдруг услышал лай собак и понял: где-то близко идет охота. Он стремглав помчался по лесу и остановился, лишь когда собачий лай остался далеко позади.

Затем он целый день и целую ночь пытался разыскать обратный путь к пещере и не наткнуться на охотников, если они еще где-то тут. Он добрался до нее три дня и две ночи спустя. Мертвец глядел на Мейкона все тем же безмятежным взглядом, а брезентовый мешок и золото исчезли...

Секретарши покинули парк. Дети и собаки тоже. Остались только голуби, пьяницы и деревья.

Молочник почти не прикоснулся к еде. Он напряженно вглядывался в лицо Мейкона, блестящее от пота и разгоревшееся от воспоминаний.

— Она унесла это золото, сын. После всего, что случилось, она же и унесла его.

— Откуда ты знаешь? Ты же не видел, как она его уносила.

— Брезентовый мешок был зеленый. — Мейкон Помер потирал руки. — Пилат приехала в этот город в 1930-м. Через два года вышел закон, запрещающий частным лицам хранить золото. Я-то думал, она его растратила за те двадцать с лишним лет, что мы не виделись, ведь они жили как нищие, когда приехали сюда. Вполне естественно, я решил, что она растратила все свое богатство. И вдруг ты говоришь мне, что у нее есть зеленый мешок, набитый чем-то таким твердым, что, когда ты ткнулся в него головой, у тебя вскочила шишка. Вот оно где золото, мальчик мой. Вот оно где!

Тут он взглянул прямо в лицо сыну и облизал пересохшие губы.

— Добудь это золото, Мейкон, и я тебе отдам ровно половину; тогда уезжай, куда хочешь. Добудь его. Для нас обоих. Прошу тебя, добудь его, сын. Добудь это золото.

ГЛАВА 8

Каждую ночь теперь Гитара видел во сне лоскутки воскресных платиц — белые и сиреневые, цвета морской волны, розовые и белые, кружева и тюль, бархат и шелк, ситец и атлас, вышивка ришелье и ленты гро-гро. Лоскутки мерещились ему всю ночь напролет, и он вспоминал, как Магдалина, именуемая Линой, и Коринфянам ловили подхваченные ветром бархатные, алые, как сердца, лепестки, которые

парили в воздухе перед застывшим взором мистера Роберта Смита. Только лоскутки, которые снились Гитаре, были совсем другими. Клочки воскресных платиц не летали по воздуху, они повисли неподвижно, как нотные знаки в последнем такте пасхального гимна.

В церкви для цветных произошел недавно взрыв, при котором погибли четыре чернокожие девочки, и Гитаре предстояло умертвить по возможности подобным способом четырех белых девочек, и сделать это в какое-нибудь воскресенье, поскольку воскресенье — его день. Он не мог избрать орудием убийства кусок проволоки или пружинный нож. Ему требовалась взрывчатка, или револьвер, или ручные гранаты. А на это нужны деньги. Он знал, что в их организации все время будут возрастать расходы — и будут так же возрастать групповые убийства белых, поскольку непрерывно возрастают групповые убийства негров. Смерть в одиночку стала быстро выходить из моды, и «Семи дням», конечно, не следовало отставать.

Поэтому, когда к нему пришел Молочник и предложил совместно украсть золото, спрятанное в тайнике, Гитара оживился.

— Золото? — переспросил он, не веря собственным ушам.

— Золото.

— Сейчас ни у кого нет золота, Молочник.

— Ни у кого, кроме Пилат.

— Хранить у себя золото запрещено законом.

— Поэтому-то оно у нее и есть. Продать его она не может, и сообщить в полицию, что его украли, тоже не сможет. Именно потому, что ей не полагается его иметь.

— А как мы сами сбудем его с рук... в смысле... обменяем на бумажные деньги?

— Предоставим это моему отцу. У него есть знакомые в банках, а у его знакомых в свою очередь имеются связи. Они обменяют это золото на законные платежные средства.

— Законные платежные средства, — повторил Гитара и негромко засмеялся. — А много за него дадут нам законных платежных средств?

— Вот это мы и выясним в ближайшее время.

— Как делить-то будем?

— На троих.

— Папаша твой про это знает?

— Пока нет. Он думает, мы с ним все разделим пополам.

— Когда ты ему скажешь?

— Не сейчас, потом.

— А вдруг не согласится?

— Интересно, как это он может не согласиться?

— Когда пойдем брать золото?

— Да когда угодно.

— Заметано. — Гитара протянул ему руку. Молочник хлопнул по ней ладонью. — Законные платежные средства. Замечательное выражение. Оно звучит, как, скажем, «девственная невеста». — Гитара потер рукой шею и с блаженным видом запрокинул лицо к солнцу.

— Нам надо придумать, что туда прихватить с собой. Ведь не возьмешь же его просто так, — сказал Молочник.

— А ты не беспокойся. Ни о чем не думай, и конец. — Все так же блаженно Гитара улыбался солнцу и жмурил глаза, словно для того, чтобы подготовиться к встрече с золотом, ему нужно было сперва хоть немного пообщаться с солнцем.

— Ни о чем не думать? — Теперь, когда Гитара рвался в бой, возбуждение Молочника утихло. Почему-то ему стало досадно, что его друг получит свою долю без всяких хлопот. Нет, у них должны быть трудности, так уж гладко их затея не пройдет. — Ты считаешь, мы как

ни в чем не бывало явимся туда, схватим мешок и привет? А если Реба и Пилат начнут возражать, мы их просто отшвырнем, чтобы не путались под ногами, да? Тебе это так представляется, да? — Он старался, чтобы его вопросы звучали как можно более ядовито.

— Пораженческие настроения. Вот как это называется. Пораженческие настроения.

— Это называется — здравый смысл.

— Ладно, хватит плакаться, старик. Твой папаша преподносит тебе отличный подарок, так борись за него.

— Бороться я не собираюсь. Мне бы выбраться из этой передраги живым и здоровым, а то схватить-то добычу я схвачу, а толку чуть. Мне вовсе не хочется отдать ее нейрохирургу, который будет извлекать из моего затылка пешню для льда.

— Твой затылок никакая пешня не пробьет, негритянское ты отродье.

— Не затылок, так сердце.

— А сердце тебе на кой?

— Сердце гонит по артериям кровь. И мне бы хотелось, чтобы оно гнало ее и впредь.

— Хорошо, уговорил. У нас есть проблема. Маленькая глупенькая проблемочка: как двое здоровенных мужиков вынесут пятидесятифунтовый мешок из дома, где живут три женщины, которые, если их взвесить, не потянут все разом и трехсот фунтов.

— Чтобы спустить курок, не обязательно взвешиваться.

— Какой еще курок? У них в доме ни у кого нет револьвера.

— Агарь достанет что угодно.

— Послушай, друг. Агарь уже почти год пытается тебя укокошить. Все, что она доставала, она тут же пускала в ход, но револьвером ни разу не пользовалась.

— Ну и что же? Может, не додумалась пока. Подождем до следующего месяца.

— До следующего месяца долго ждать — вдруг она свой шанс упустит? — Гитара склонил голову к плечу и улыбнулся Молочнику мальчишеской милой улыбкой. Давно уже, очень давно Молочник не видел его таким непринужденным, таким сердечным. Может быть, он ради этой улыбки и пригласил его участвовать в их затее. Ведь он, конечно, мог все проверить и в одиночку, вероятно, ему просто хотелось увидеть прежнего Гитару, шутливого и добродушного, увидеть на его лице открытую улыбку, а не угрюмый оскал Смерти.

Затем они встретились в воскресенье, на 6-м шоссе, вдали от негритянских кварталов. По обе стороны шоссе находились площадки с поддержанными автомобилями на продажу, дешевые закусочные и кафе — «Белый замок», «Королева молочниц». Этим утром здесь было пусто, лишь изредка шум проезжающего автомобиля нарушал кладбищенскую тишину площадок, где машины выстроились, словно могильные плиты.

После их последнего разговора — того, серьезного, когда Гитара рассказал, чем он занимается (позже им приходилось, случайно встретившись, болтать о том о сем, но это уже не в счет), — Молочнику не давало покоя желание, набравшись храбрости, задать Гитаре вопрос, который его все время тревожил: «А ты хоть раз сделал это?» Облечь этот вопрос в слова было трудно даже в мыслях, и, уж само собой, он никогда не задаст его вслух. Рассказ Гитары произвел на него тяжелое впечатление: он ощутил всю жуть и всю значительность деятельности «Семи дней» и нависшую над ними опасность. Гитара сказал, что они даже друг с другом никогда не говорят о подробностях, поэтому Молочник был уверен: стоит ему хоть раз спросить, и Гитара снова станет хмурым. Хмурым и отчужденным. А вопрос так и вертелся на языке: «А ты хоть раз?.. Ты и вправду убил кого-то?» Он, как старики с Десятой улицы, покупал теперь и утренние, и вечерние газеты, а также выходящую раз в две недели «Газету черных» и торопливо просматривал страницы в поисках сообщения об убийстве, которое выглядело бы подозрительным, беспричинным. Обнаружив нечто такое, он принимался следить за отделом новостей, пока не поступало сообщение, что кто-то арестован по подозрению в этом убийстве.

Затем он принимался проверять, не убивал ли в последнее время кого-нибудь из цветных человек белой расы.

«Ну что, было уже?» Он стал как девочка-подросток, изнемогающая от желания узнать, потеряла ли ее подружка невинность — она так изменилась в последние дни: и вид другой, и держится иначе, все молчит и думает о чем-то своем. «Ну что, было уже это? Знакомо оно тебе, ни разу не испытанное мною чувство, такое ординарное и одновременно экзотическое? Ты теперь знаешь, что испытывает человек, в одиночку подвергающий опасности свою жизнь? Как это? Страшно? Стал ли ты другим? А если я это сделаю, я тоже стану другим?»

Возможно, он когда-нибудь и спросит об этом Гитару, но не сегодня, когда все стало как в старые времена. Они шли сегодня на опасное вдвоем, совсем как в ту пору, когда Молочнику было двенадцать, а Гитаре немного побольше и они мотались по улицам и валяли дурака: то вышагивают, медленно и важно, то вдруг нагнутся, то присядут, то встанут, гордо, широко расставив ноги, и все это с единственной целью — ввязаться в драку или хоть кого-то напугать: других мальчишек, девчонок, собак, голубей, старух, учителей, пьяниц, продавцов мороженого и лошадей, впряженных в телеги с утилем. Если это им удавалось, они покатывались со смеху и даже прикрывали рот рукой. А когда не удавалось, когда кто-нибудь резко их обрывал, или не обращал на них внимания, или заставлял пуститься наутек, они с досады обзывали оскорбителя всякими обидными словами и изощрялись в остроумии до тех пор, пока не высыхали их взмокшие от смущения ладони. Сейчас, когда они стали взрослыми, желание внушать людям страх, пусть просто для того, чтобы самим его почувствовать, возникало реже, но с прежней остротой. Власть, завоеванная и основанная на том, что ты кого-то держишь в страхе, по-прежнему казалась слаще власти, достигнутой каким-нибудь иным путем. (За исключением власти над женщиной, которую предпочтительно завоевывать обаянием, а удерживать безразличием.)

И вот сейчас все стало как прежде, и Молочнику хотелось это настроение сохранить.

И еще одно. Гитара по собственной воле и даже с охотой ввязался в дело, связанное со смертельной опасностью. Потребности Молочника

были скромней: его возбуждало одно присутствие людей, которые внушали страх, например отца, Пилат, Гитары. Его тянуло к таким людям, их бесстрашие внушало ему зависть, даже бесстрашие Агари, хотя она уже перестала быть источником опасности, а превратилась просто в дуру, которая добивалась не столько его смерти, сколько его внимания. Гитара же по-прежнему вызывал такое ощущение, будто ты ходишь по краю пропасти. И Молочник обратился к нему со своим предложением не только в надежде на помощь. Главным образом он обратился к Гитаре потому, что затеянную им авантюру просто необходимо было осуществить именно с этим ощущением — будто ходишь по краю пропасти. Залучив себе такого сообщника, как Гитара, он мог теперь рассчитывать, что будет и весело, и страшно.

Не торопясь прошли они по 6-му шоссе, то и дело останавливались, осматривали машины и, оживленно размахивая руками, обсуждали, как совершить кражу со взломом в доме, где, по словам Гитары, «нет ни единой задвижки ни на окнах, ни на дверях».

— Зато там живут люди, — возражал Молочник. — Целых трое. И все сумасшедшие.

— Там живут женщины.

— Сумасшедшие женщины.

— Там только женщины.

— Ты, видно, забыл, Гитара, как это золото досталось Пилат. Чтобы вынести его из пещеры, она пробыла там трое суток наедине с мертвецом, а ведь ей было тогда всего двенадцать лет. Если она в двенадцать лет была способна на такое, чтобы завладеть этим золотом, как ты думаешь, что она может натворить, чтобы не отдать его сейчас, когда ей под семьдесят.

— Мы не должны применять насилие. Нужно действовать только хитростью.

— Ясно. И какой же хитростью ты их заставишь покинуть дом?

— Минутку, я подумаю.

Гитара перестал почесывать спину о телеграфный столб. Он зажмурился, то ли блаженствуя от безделья, то ли, наоборот, сосредоточившись; Молочник в поисках вдохновения устремил взгляд к небесам и, обозревая крыши контор, расположенных на площадках для продажи автомобилей, неожиданно увидел белого павлина, опустившегося на кровлю длинного приземистого строения, служившего штаб-квартирой распродажи подержанных «нельсон-бьюиков». Он уже готов был счесть появление этой птицы одним из сновидений наяву, посещавших его каждый раз, когда его нерешительный характер сталкивался с суровой реальностью, как вдруг Гитара открыл глаза и сказал:

— Вот чертовщина! Откуда вдруг?

— Наверно, из нашего зоопарка, — с большим облегчением сказал Молочник.

— Из нашего занюханного зоопарка? Да ведь там никого нет, кроме двух полудохлых обезьян и нескольких гадюк.

— Ну а откуда же?

— Спроси чего полегче.

— Смотри... она слетает с крыши. — Молочник снова испытывал тот необузданный восторг, который охватывал его каждый раз, когда он видел нечто летающее. — Летит, словно фокстрот танцует! Села. А походка-то какая.

— Он.

— А?

— Это он, а не она. Только у самцов такие хвосты, прямо россыпь драгоценностей. Ах ты сукин сын! Да ты на него погляди. — Павлин распустил хвост еще шире. — Давай его поймем. Пошли, пошли, — и Гитара бросился к изгороди.

Молочник побежал за ним следом, спрашивая на ходу:

— А зачем? Что мы с ним сделаем, если поймем?

— Съедем, — крикнул Гитара. Он легко перемахнул через двойной ряд труб, огораживающих площадку, и двинулся в обход, наперехват павлину, он даже слегка отвернулся, чтобы одурачить птицу, направлявшуюся важной походкой к зеленовато-голубому «бьюику». Павлин сложил хвост и волочил его, как шлейф, по земле.

— Надо же, такая птица, а летает не выше курицы, — сказал Молочник.

— Хвост слишком большой. Все эти драгоценности тянут его вниз. Вот так же тянет вниз тщеславие. С такой нагрузочкой не полетишь. Если хочешь полететь, ты должен сбросить с себя все барахло, чтобы не тянуло вниз.

Павлин вскочил на крышу «бьюика» и снова распустил хвост — показной блеск «бьюика» померк.

— Барахольщик, — сказал Гитара и тихо засмеялся. — Белый барахольщик.

Молочник тоже засмеялся, и они еще немного постояли среди подержанных «бьюиков», разглядывая снежно-белого павлина.

Павлин, однако, свое дело сделал: настроил их на мечтательный лад. Они прекратили спор о том, как будут действовать, и стали фантазировать, на что они потратят золото после того, как обратят его в «законные платежные средства». Гитара, отрешившись от своих новых аскетических воззрений, тряхнул стариной: позволил себе помечтать о том, сколько всякой всячины он накупит для бабушки и ее брата, дядюшки Билли, того самого, который после смерти их отца приехал из Флориды помочь сестре поднять внучат; как он поставит на отцовскую могилу резную мраморную плиту, «розовую, всю в лилиях»; каких вещей накупит для сестер, для брата и племянников. У Молочника тоже разыгралась фантазия, но, не в пример Гитаре, увела его куда-то далеко. Молочнику хотелось покупать пароходы, автомобили, самолеты, хотелось, чтобы его распоряжения выполняло множество верных помощников и слуг. Деньги дадут ему возможность быть эксцентричным, щедрым и таинственным. Но со смехом разглагольствуя о том, как он будет жить и что делать, он чувствовал: его голос звучит принужденно. Деньги-то ему нужны — нужны, он думал, позарез, — но не для того, чтобы просто уехать из города,

удалиться от Недокторской улицы, «Магазина Санни», ресторанчика Мэри и наскучившей ему Агари, — он не мог себе представить, что где-то может быть совсем другая жизнь. Новые люди. Новые города. Власть. Вот чего ему хотелось. Поэтому он равнодушно слушал, когда Гитара рассказывал, какие элегантные костюмы купит он себе и брату, какие пышные пиры он будет задавать в честь дядюшки Билли и как станет участником карточных игр, в которых партия длится неделю, ставка же равна полутора королевствам или черт знает чему с половиной. «Ух ты!» — вскрикивал он, когда Гитара излагал ему свою программу, но чувствовал себя неловко — ведь сам он не знал нужды, жил не только с комфортом, но, пожалуй, даже и не без излишеств. Молочнику же просто хотелось уйти от прошлого родителей, ставшего также их настоящим и грозившего сделаться заодно и его настоящим тоже. Ему были глубоко противны неприязненные отношения между матерью и отцом, то упорство, с которым каждый из них цеплялся за сознание собственной непогрешимости. Он пытался не замечать их взаимной вражды, отгородиться от нее, но его попытки удавались, лишь когда он занимался чем-нибудь веселым, не влекущим за собой серьезных последствий. Он старался избегать сильных чувств, не брать на себя обязательств и не принимать решений. Ему хотелось знать как можно меньше, отдаваться эмоциям лишь настолько, чтобы дни проходили приятно, быть интересным лишь в той мере, чтобы возбуждать в окружающих любопытство, а не глубокую, всепоглощающую страсть. Агарь уже одарила его безумной страстью, волнений ему выпало с избытком. Раньше он считал, что его детство прошло в атмосфере безупречной чистоты, но рассказы Мейкона и Руфи облекли воспоминание о детских годах в грязные простыни, от которых разило болезнью, горем и жестокосердием. Если он и восставал когда, то лишь по пустякам и всегда совместно с Гитарой. А этот вот последний рывок к свободе, в духе волшебной сказки — хотя отец и подсказал ему, что делать, и даже чуть ли не приказал, — сулил какую-то надежду на успех.

Он опасался, что Гитара поднимет его на смех, откажется стать его соучастником, добавив что-нибудь обидное, — ведь теперь он связан и окружен тайной, у них там дело о жизни и смерти идет. Однако, пристально взглядевшись в лицо Гитары, расписывавшего, какими благами он сможет располагать, не сделав для этого почти никаких усилий, Молочник окончательно понял: клюнуло. Может быть, убийца-

профессионал уже пресытился или вообще переменял взгляды? Кстати, он?.. «Что, было уже это?..» Слушая, как тот подробно описывает дядюшкины трапезы, костюмы, могильные плиты, Молочник подумал: а вдруг Гитара просто не устоял перед искушением, польстился на то, чего у него никогда в жизни не было, — на деньги?

А Гитара улыбался солнцу и с восторгом говорил о телевизорах, медных кроватях, карточных партиях, длящихся неделю, но мысли его сосредоточились на чудесах, совершаемых тротилом.

К тому времени, когда они растратили воображаемые богатства, было уже около полудня и они снова оказались на окраине Южного предместья и вернулись к прерванной теме — стали обсуждать план действий. Гитара рвался в бой, Молочник осторожничал. Его осторожность рассердила Гитару.

— Я тебя не понимаю. То ты втягиваешь меня в рискованное предприятие, и мы три дня обсуждаем, как нам его повернуть, и я радуюсь, как перед свиданием с хорошенькой девчонкой, но, едва лишь доходит до дела, ты, как идиот, вдруг начинаешь мне объяснять, по какой причине у нас ничего не выйдет. Может, ты надумал отшить меня?

— Зачем мне тебя отшивать? Я же мог тебе вообще ничего не рассказывать.

— Не знаю. Я не знаю даже, зачем тебе все это. Насчет меня нетрудно догадаться, почему я участвую в деле. Но ты-то никогда не нуждался в деньгах.

Молочник не стал задумываться по поводу причин, побуждающих Гитару «участвовать в деле», и лишь холодно ответил:

— Деньги мне нужны, чтобы уехать отсюда. Я ведь уже говорил тебе. Мне необходимо вырваться отсюда. Хочу пробиться самостоятельно.

— Самостоятельно?! Ничего себе самостоятельно, с миллионом долларов в кармане.

— Пошел к черту. Не все ли тебе равно, зачем мне деньги?

— А я, знаешь, не уверен, что они тебе нужны. Во всяком случае, настолько, чтобы ради денег ты решился на воровство.

— Я хочу, чтоб все прошло спокойно. Без шума. Без... А, что говорить: кража со взломом — серьезное преступление. И я вовсе не намерен закончить свои дни в...

— Какая кража со взломом? При чем тут взлом? Дом принадлежит Пилат.

— Ну и что?

— Как что? Эти люди — твои родственники.

— Тем не менее они — люди, а люди могут закричать.

— Ну и что? Что с нами может случиться? Мы заберемся в дом, так? Допустим, что все три окажутся на месте. Три женщины. Что они нам сделают? Побьют?

— Может быть.

— Ого! Это кто же? Агарь? Как налетит на тебя. Пилат? Дурачок, она тебя любит. Она и пальцем тебя не тронет.

— Ты в самом деле так считаешь?

— Да, я так считаю. Послушай, у тебя вроде сомнения появились? Объясни мне, из-за чего? Может, потому, что ты им родственник? Так ведь твой папаша им еще больший родственник, чем ты, а между тем все это он затеял.

— Не в том дело.

— В чем же?

— В том, что они ненормальные. Никто не может угадать, что они выкинут. В том числе и они сами.

— Что они психи, я знаю. Как еще назвать людей, которые торгуют пятидесятицентовым вином, вместо туалета пользуются ведерком, а

над их счастливыми головами висит миллион долларов? А ты что, боишься сумасшедших? Если боишься, значит, ты тоже псих.

— Я просто не хочу, чтобы меня поймали. Мне в тюрьме неохота сидеть. Вот я и хочу обсудить все заранее, чтобы мы не попались. Что тут такого? Человек хочет все обсудить.

— Не очень-то это похоже на обсуждение. Скорей, ты надумал увильнуть.

— Нет, это обсуждение. Нам надо обсудить, как их выманить из дома. Как нам туда забраться. Как срезать с потолка мешок, а после вытащить его из окна и пронести по улице. А с ними трудно что-нибудь предугадать. Они шалые бабы. И жизнь у них шальная, порядка нет. Да к тому же к ним шляются пьяницы за самогонкой. В любое время кто-нибудь может вломиться в дом. Эти женщины не по часам живут, Гитара. Мне кажется, Пилат и время-то умеет определять только по солнцу.

— Ночью они спят.

— Кто спит, тот может проснуться.

— Кто проснется, того можно уложить ударом кулака.

— Я не хочу никого укладывать ударом кулака. Я хочу, чтобы их не было в доме, когда мы придем туда.

— Ну а что может заставить их покинуть дом? Молочник потряс головой.

— Не знаю. Что-нибудь из ряда вон выходящее.

— Так давай устроим нечто из ряда вон выходящее.

— Каким образом?

— Подожжем дом. Подсунем туда скунса. Или медведя. Мало ли кого.

— Бога ради, разговаривай серьезно.

— Я стараюсь. Я очень стараюсь, дружок. Они что, никогда не уходят из дома?

— Все разом?

— Да, все разом.

Молочник пожал плечами.

— На похороны. Верно, на похороны они ходят. И в цирк.

— Ничего себе! Так нам придется ждать, пока кто-нибудь умрет? Или наш город посетит бродячий цирк?

— Что ты прицепился? Я просто хочу сообразить, велик ли риск. Сейчас действовать — рискованно.

— Знаешь, когда действовать рискованно, остается только одно средство — рискнуть.

— Ну, будь благоразумен.

— Благоразумен? Благоразумному золота не видать, как своих ушей. У благоразумных не бывает золота. К чертям благоразумие, если хочешь разбогатеть. Неужели ты не знаешь этого?

— Но послушай...

— Хватит, я уже наслушался. Теперь слушай ты. Дана тебе жизнь? Так живи. Пользуйся жизнью и не канючь! Пользуйся!

Молочник широко открыл глаза. Он очень старался не сглотнуть в этот момент, но от призывного металла в голосе Гитары ощутил вкус соли во рту. Соли со дна морского, соленого лошадиного пота. Этот вкус могуществен, он побуждает жеребцов галопом мчаться к солончакам. Вкус этот был нов, восхитителен и безраздельно принадлежал ему. Неуверенность, сомнения, тревога слетели с него без следа.

Теперь он понял, почему он колебался. Не потому, что ему хотелось чрезмерно усложнить простое дело, и не потому, что ему хотелось подчинить себе Гитару. Просто раньше он не верил в успех.

Когда отец рассказал ему всю эту длинную историю, она действительно напомнила Молочнику приключения из детской книжки. Сказочки. Он не верил, что золото действительно висит в комнате Пилат, не верил, что это действительно золото, что он действительно может его забрать. Слишком уж доступно. Но Гитара верил, он влил живую струю конкретности в их затею, главное же — представил ее как действие, реальное, значительное, требующее отваги. Молочник чувствовал, как в нем рождается новое «я», вполне определенное, отчетливое. Если раньше на собраниях у Железнодорожного Томми он только смеялся и всегда молчал, то теперь он мог бы там заговорить. Он мог бы рассказать там об этом. До сих пор в его жизни был только один решительный поступок, но, если бы он стал рассказывать у Томми о том, как он ударил своего отца, его рассказ не вызвал бы одобрительного оживления аудитории.

Все эти мысли смутно пронеслись у него в голове. Зато он вполне определенно почувствовал вкус соли и услышал в голосе Гитары звуки охотничьего рожка.

— Завтра, — сказал он. — Завтра ночью.

— В каком часу?

— В половине второго. Я за тобой зайду.

— Чудесно.

Далеко от них, на том конце шоссе, павлин распустил хвост.

Осенними ночами ветер с озера доносит сладковатый запах до некоторых улиц. Пахнет засахаренным имбирем, а может, сладким чаем со льдом и гвоздикой. Чем объяснить это явление — неизвестно, поскольку, скажем, 19 сентября 1963 года в озере было такое количество фабричных отходов, включая ядовитые химические вещества с завода пластмасс, что пышные кудри прибрежных ив поблекли и поредели. Волны озера выбрасывали на берегдохлых карпов, а врачи в «Приюте милосердия», хотя и не делали

официальных предупреждений, твердо знали, что никому из тех, кто рискнет поплавать в этих водах, не избежать ушных болезней.

Тем не менее этот густой пряный запах напоминает о Востоке, о полосатых шатрах, о позвякивание браслетов на лодыжках. Люди, живущие у озера, этого запаха почти не замечают — они включают кондиционеры, закрывают окна и под гудение мотора спят неглубоким сном.

Так, никем не замеченный, запах засахаренного имбиря проносится по улицам, над крышами, между деревьев и наконец, уже отчасти потеряв свою густоту и силу, достигает Южного предместья. А здесь, где в некоторых домах нет не только кондиционеров, но даже сеток от moskitov, все окна широко распахнуты, и ночь врывается в них без преград. Запах имбиря пробирается в комнаты, и он отчетлив, настолько отчетлив, что спящим кажется, будто то, о чем они страстно мечтали, уже произошло. Ну а тем, кому не спится в ночные часы, кажется, будто все их движения и мысли приобретают какую-то особенную нежность и отрешенность. Двое мужчин, остановившихся в тени сосен на Дарлинг-стрит — рядом с коричневым домиком, куда любят заглядывать пьянчуги, — тоже ощущали этот запах, но он им не напоминал об имбире. Им казалось, так пахнет свобода, или справедливость, или роскошь, или возмездие.

Вдыхая этот запах, который мог бы, пожалуй, царить где-нибудь на рыночной площади в Аккре, они, как им казалось, простояли там довольно долго. Один из них прислонился к дереву; его левая нога слегка не доставала до земли. Наконец его приятель взял его за локоть, и они вместе двинулись к открытому окну. Они проникли в комнату без малейших усилий. Хотя они нарочно долго простояли в тени, глубокая тьма комнаты их ошеломила. Они даже не представляли себе, что бывает такая непроглядная тьма. Но еще больше, чем темнота, их обескуражило то, что, хотя за пределами дома стояла ужасная духота (густая, пряная, навевающая сон духота, от которой становились потными все складочки на шее), в доме у Пилат было холодно, как в леднике.

Внезапно взошла луна и осветила комнату, как фонарем. Оба приятеля сразу же увидели мешок. Он свисал с потолка, тяжелый и зеленый, как зеленое пасхальное яйцо, которое слишком долго продержали в

краске. И как пасха, он сулил все: воскресение сына человеческого и исполнение заветной мечты. Неограниченную власть, и полную свободу, и величайшую справедливость. Гитара встал перед ним на колени и сплел пальцы рук, образовав нечто вроде ступеньки. Опершись рукой о голову Гитары, Молочник взобрался на эту «ступеньку», а затем переместился выше и уселся ему на плечи. Гитара медленно встал на ноги. Молочник провел руками по мешку и нащупал его верх. Он думал, что мешок завязан веревкой, перерезать которую будет нетрудно, и с досадой обнаружил вместо веревки проволоку. Они никак не ожидали, что им придется иметь дело с проволокой, а потому не захватили ни клещей, ни кусачек — пришлось действовать ножом.

Раздался ужасающий скрежет. Этаким шум кого угодно разбудит, подумал Молочник. Наконец ему удалось перепилить несколько волокон, и сразу же вслед за тем темнота слегка рассеялась. Они думали, что мешок с таким грузом, обрушившись на них, свалит их с ног, И потому условились, что, перерезав веревку, Молочник шепотом предупредит Гитару, а тот согнет колени и присядет, так что ноги Молочника коснутся пола почти в тот же миг. Но, как выяснилось, не было ни малейшей нужды в этом акробатическом этюде: мешок оказался намного легче, чем они предполагали, и Молочник опустил его на пол без труда. Как только они оба выпрямились, прочно утвердившись на ногах, раздался легкий, но глубокий вздох, который каждый из них приписал другому. Молочник отдал нож Гитаре, тот закрыл его и сунул в задний карман. Тут опять раздался глубокий вздох, и они похолодели. Держа мешок обеими руками, Молочник вслед за Гитарой пошел к окну. Гитара перепрыгнул через подоконник и обернулся, чтобы помочь Молочнику. Переливчатый лунный свет был, наверное, тому виной: Гитаре вдруг почудилось, что прямо за спиной у его друга кто-то стоит. Снова погрузившись в жаркую духоту, из которой они вынырнули всего несколько минут назад, они поспешили прочь и скоро уже шли по улице.

Из расположенного в той же стороне дома распахнутого окна, того самого, возле которого была раковина, где мыла волосы Агарь, а Реба замачивала фасоль, выглянуло женское лицо. «На кой черт он им понадобился?»- изумленно сказала женщина. Затем она принялась ковырять подоконник, отломила щепочку и сунула ее в рот.

ГЛАВА 9

Переписчица. Она выбрала именно это слово, и, коль скоро оно принадлежало девятнадцатому веку, мать одобрила его: огромное удовольствие ей доставляли растерянные взгляды приятельниц, когда она им сообщала за чаем, какую должность выполняет ее дочь при лауреате конкурса поэтов их штата. «Она переписчица у Майкл-Мэри Грэм». Замысловатое старинное слово придавало работе, выполняемой ее дочерью (а ведь она, собственно говоря, вполне могла бы и не работать), некую загадочность, необычность и вполне соответствовало полученному ею образованию. И гости уже не решались расспрашивать о подробностях (они старались лишь запомнить, как оно произносится, но им так и не удалось обнаружить его в словаре) — имя Майкл-Мэри Грэм производило должное впечатление. Все это, конечно, ложь, и даже более простое слово «секретарша» не соответствовало истине, однако Руфь, не смущаясь, говорила «переписчица», ибо верила, что это правда. Она еще не знала и в дальнейшем оставалась в неведении, что Коринфянам служит горничной у мисс Грэм.

Ей нелегко было найти работу, достойную ее положения в обществе, поскольку, кроме изготовления алых бархатных роз, она ничего не умела. Три года проучилась в колледже, из них первый год — во Франции, и, будучи внучкой знаменитого доктора Фостера, рассчитывала со временем носить туалеты более элегантные, чем форма горничной, висевшая в подвальном этаже особняка мисс Грэм. Она до сих пор не могла понять, как случилось, что все ее преимущества ничего ей не дали. Никто не сомневался, что она и Магдалина, именуемая Линой, сделают хорошие партии... но на Коринфянам возлагались особые надежды, ведь она посещала колледж и там ее обучали, как стать просвещенной женой и матерью, способной внести свою лепту в цивилизацию, или (в ее случае) способствовать вящей цивилизованности окружающего общества. А если замуж выйти не удастся, есть целый ряд профессий: учительница, библиотекарь... словом, что-нибудь интеллигентное и общественно полезное. Но судьба не спешила определить ей роль, и она просто ждала, ничего не предпринимая. Тоненькая и очень светлая, она разделяла убеждение Руфи, что такая жена, как она, истинная находка для цветного мужчины, принадлежащего к среднему классу. А потому

предпринимались разные поездки в другие города на уикенды и каникулы, а также визиты и званые чаепития в их городе, когда приезжали такие мужчины. Первый чернокожий врач, который переехал в их город в сороковых годах, вскоре после того, как она окончила колледж, имел единственного сына, который был моложе ее на пять лет. У второго, дантиста, были две малолетние дочери; третий был древний старичок (по слухам, алкоголик), и оба его сына уже давно обзавелись семьями. Были также учителя, два адвоката, владелец похоронного бюро, но в тех редких случаях, когда среди них появлялся подходящий жених, оказывалось, что Коринфянам ему не по вкусу. Она была, в общем-то, хорошенькая и держалась мило, и у отца ее водились денежки, на которые в случае нужды мог рассчитывать зять, ей одного лишь не хватало — кипения жизненных сил. А женихам этим нужны были поворотистые жены, еще не избалованные благополучием среднего класса, а потому честолюбивые, жадные до жизни, напористые. Им нужны были жены, которые бы с удовольствием стремились возвышаться, достигать и не ленились бы трудиться, чтобы сохранить достигнутое. Им нужны были жены, способные на тяжкий труд и способные оценить тяжкий труд супруга. Коринфянам была слишком утонченной. Колледж Брин Мор в 1940 году. Поездка во Францию в 1939-м. Как-то несколько уж чересчур. Фиск, Ховард, Талледега, Таугалу — вот что представляли собой их охотничьи угодья. Женщина, которая говорит по-французски и путешествовала на «Королеве Марии», возможно, будет слишком высокомерно держаться с пациентами или клиентами; учителя же сторонились женщины, получившей лучшее образование, чем они. Дошло даже до того, что подходящими женихами стали считать служащих почтовой конторы, но это уж когда Коринфянам и Магдалине стало под сорок и Руфь смирилась с абсурдной мыслью: ее дочери не выйдут замуж за врачей. Это было ударом, но они справились с ним, опасаясь оказаться перед еще более очевидной истиной: скорей всего, они не выйдут замуж вообще.

Магдалина, именуемая Линой, по-видимому, покорила судьбе, но Коринфянам, проснувшись однажды утром и осознав, что она в этом мире не кто иная, как сорокадвухлетняя изготовительница розовых лепестков, впала в тяжелое депрессивное состояние, продолжавшееся до тех пор, пока она не приняла решения вырваться из дома любой ценой. Коринфянам энергично начала искать работу, и это нанесло ей

удар номер два. Она окончила колледж двадцать один год тому назад, и это обстоятельство лишило ее возможности получить место учительницы. Она не прослушала целый ряд «новейших» курсов по различным предметам, считавшихся теперь совершенно необходимыми. Коринфянам решила восполнить этот пробел и даже зарегистрировалась в канцелярии Государственного высшего педагогического училища. Но торчащие груди, обтянутые пушистыми голубыми свитерами, и откровенная призывность молодых лиц произвели на нее такое впечатление, что ее вымело из канцелярии и с территории училища, словно листок, подхваченный дуновением бури. Что было весьма печально, поскольку она практически ничего не умела. Брин Мор оказал на нее именно то воздействие, которое предназначена оказать четырехлетняя доза «свободного» образования, — сделал для нее недоступными восемьдесят процентов полезной деятельности, существующей в мире. Во-первых, приучив ее к бездумному безделью и комфорту неработающей женщины. Во-вторых, недвусмысленно дав ей понять, что она слишком хороша для какой-то там учительской работы. В результате после окончания колледжа сферу ее деятельности ограничил мирок, где цветные девушки независимо от их положения в обществе могут рассчитывать лишь на одну-единственную работу. И в 1963 году Коринфянам заботило только то, чтобы дома у нее не узнали, что она уже два года ее выполняет.

Встречаясь с другими горничными на улице, она их избегала, а те из них, кто постоянно ездил с ней в автобусе, предполагали, что она занимает более высокое положение в штате домашней прислуги, поскольку ходит на работу в туфлях на высоких каблуках, чего не выдержит женщина, которой весь день приходится сновать по дому. Коринфянам была осторожна, она не возила с собой хозяйственную сумку, куда можно сунуть тапочки, передник, форму. Она брала с собой книгу. Небольшой серый томик, на обложке которого было вытиснено золотом: «Альфонс Доде». И только в доме у мисс Грэм она надевала форму (да и то не белую, а голубую) и мягкие кожаные тапочки и лишь после этого опускалась на колени рядом с ведром, наполненным мыльной водой.

Мисс Грэм была в восторге от платья Коринфянам и ее слегка высокомерных манер. Это придавало европейский стиль ее дому, а она

стремилась к европейскому стилю, ибо в их городе олицетворяла собой самую сердцевину, дыхание литературного мира. Майкл-Мэри Грэм очень бережно относилась к Коринфянам. Когда она устраивала большой званый обед, то нанимала шведа-повара, а все тяжелые работы выполнял старый пьянчуга белый, услугами которого она пользовалась совместно с «Гудвилл индастриз». И притом ее не раздражала однообразная стряпня Коринфянам, ибо Майкл-Мэри ела несколько раз в день, всегда понемногу и только самые простые кушанья. Да к тому же просто отдыхаешь душой, имея горничную, которая читает романы и, кажется, даже слыхала о нескольких великих писателях. Как приятно вручить горничной на рождество не банальный конверт с деньгами, а томик Уолдена и рассказывать потом об этом друзьям. В мире, где обитала Майкл-Мэри Грэм, ее умеренный либерализм — следствие богемной молодости и положения лирической поэтессы — воспринимался как анархизм.

Коринфянам была наивна, но все же не круглая дура. Она ни разу не дала хозяйке понять, что когда-то посещала колледж, или ездила в Европу, или знает хоть одно французское слово, которому не обучила ее самолично мисс Грэм (как, например, слово *entrez*^[14]). Говоря по правде, Коринфянам нравилась ее работа. В этом доме она получила то, чего не имела в собственном, — у нее появилась ответственность. В каком-то смысле она ощутила твердую почву под ногами, и уверенность сменяла по временам ее напускную надменность. Конечно, унизительно носить форменное платье горничной, даже голубого цвета, и обманывать людей, но эти неприятные стороны ее работы смягчало искреннее воодушевление, которое охватывало ее при мысли, что она теперь сама зарабатывает деньги, а не получает их, как девочка, на карманные расходы. К тому же она с удивлением обнаружила, что аккуратная пачечка банкнот, вручаемая ей каждую субботу в полдень, всего лишь на два доллара меньше той суммы, которую еженедельно приносят домой настоящие секретарши.

Если не считать того, что ей приходилось старательно мыть выложенный плиткой пол и кафельные стены на кухне, а также натирать до блеска паркет, ее работа не была тяжелой. Поэтесса жила одна, и ее время и поступки были подчинены суровым требованиям, налагаемым служением искусству. Посвятив себя поэзии, она, конечно, почти не имела возможности заниматься другими делами. Замужество,

дети — все было принесено в жертву Великим Мукам Творчества, и ее домашний алтарь являл собой свидетельство утонченности ее призвания (а также щедрости завещания ее отца). Выбор обстановки, мебели, тонов и красок диктовался только одним — их способностью вызывать вдохновение. И если ей не нравилась какая-нибудь вещь, она любила выражать свое неодобрение словами: «Я не смогу написать ни строчки, пока это у меня в доме». «Это» могло оказаться и вазой, и новым унитазом, только что поставленным водопроводчиками, и комнатным растением, и даже лавровым венком, преподнесенным ей третьим классом школы святого Иоанна в благодарность за растрогавшее аудиторию чтение стихов на рождественском празднике. Каждое утро от десяти до полудня Майкл-Мэри писала стихи, а днем — от трех до четверти пятого. Вечера обычно отводились встречам и дискуссиям: местные поэты, художники, композиторы и прозаики восхваляли или хулили других служителей искусства, с презрением отзывались о рынке и заискивали перед ним. Майкл-Мэри Грэм была царицей этих сборищ, ведь ее стихи печатались: в 1938 году вышел первый сборник, под названием «Души моей времена года», в 1941 году вышел второй сборник-«Дальние берега». Мало того, ее стихотворения публиковались по крайней мере в двадцати тонких литературных журналах, в двух иллюстрированных журналах для широкого круга читателей, в шести университетских журналах и в воскресных приложениях к бесчисленному множеству газет. За двадцать лет, между 1938 и 1958 годами, она девять раз на всевозможных конкурсах была признана лучшим поэтом года и в конце концов достигла апогея — стала лауреатом конкурса поэтов штата. Весьма почетный приз. На церемонии вручения этой почетнейшей награды ансамбль певцов и чтецов школы святого Иоанна исполнил самое знаменитое произведение поэтессы, «Девиз». Все эти триумфы не уменьшили, однако, упорного нежелания ее издателей выпустить в свет полное собрание сочинений мисс Грэм (предварительный вариант заглавия «Дальние, дальние берега»). Но Майкл-Мэри не сомневалась, что рано или поздно издателям придется уступить.

Первое знакомство с Коринфиянам отнюдь не произвело на мисс Грэм отрадного впечатления. Прежде всего потому, что будущая горничная явилась для назначенной ей беседы на десять минут раньше срока, и Майкл-Мэри, соблюдавшая свой распорядок дня с точностью до

минуты, была вынуждена отворить ей дверь в ситцевом пеньюаре. Рассерженная уже с самого начала такой неаккуратностью, мисс Грэм еще больше разочаровалась, увидев, какая она хрупкая. Разумеется, такая горничная не сможет вставлять в окна сетки от насекомых, выставлять вторые оконные рамы, и у нее не хватит сил убрать как следует дом. Но затем она спросила, как ее зовут, и музыка этого имени — Первое Послание к Коринфянам — настолько заворожила ее, что она наняла ее сразу же. Как она говорила впоследствии друзьям, ее поэтическое чутье одержало верх над здравым смыслом.

Они отлично ладили, горничная и хозяйка, и, когда Коринфянам проработала у нее полгода, Майкл-Мэри предложила ей поучиться печатать на машинке. Таким образом Коринфянам приближалась к тому, чтобы стать и в самом деле переписчицей.

Спустя несколько дней после того, как мисс Грэм сделала ей лестное предложение освоить искусство машинистки, с тем чтобы приходить иногда на помощь хозяйке, в автобус на сиденье рядом с Коринфянам сел какой-то чернокожий. Она не обратила на него особого внимания, лишь заметила, что он скверно одет и немолод на вид. Однако вскоре ей показалось, что он смотрит на нее во все глаза. Она взглянула на него украдкой, проверить, и ее взгляд был встречен широкой улыбкой. Коринфянам отвернулась и сидела так, пока он не вышел из автобуса.

На другой день он появился снова. Она еще раз недвусмысленно продемонстрировала ему свое презрение. Все оставшиеся дни недели на нее никто не смотрел. Но в следующий понедельник он появился опять и буквально ел ее глазами. Эти случайные встречи продолжались примерно месяц. У Коринфянам мелькнула мысль, что ей следовало бы опасаться незнакомца, так как по всему его поведению чувствовалось: он выжидает, спокойно и уверенно выжидает. А затем однажды утром, перед тем как выйти, он уронил рядом с ней на сиденье белый конверт. Конверт долго пролежал там, но, вставая, чтобы дернуть шнур, она не удержалась и взяла его, стараясь сделать это незаметно для других пассажиров.

Позже, стоя у плиты и дожидаясь, когда закипит молоко, она вскрыла конверт; в нем оказалась поздравительная открытка. На конверте над букетом из синих и желтых цветов выпуклыми буквами было написано

«Дружба». Это же слово служило заголовком четверостишья, помещенного на открытке:

Дружба — протянутая рука,
Улыбка любви нежной.
Дарю ее тебе навсегда
В знак страсти своей безбрежной.

Белая рука, неясно — мужская или женская, держала еще один букет из синих и желтых цветов размером поменьше первого. Подписи не было.

Коринфянам бросила открытку в бумажный мешок для мусора. Открытка провалялась там весь день, но весь день ей вспоминалась. Когда наступил вечер, Коринфянам, прежде чем выбросить мусор, отыскала открытку, пошарив рукой под кожурой грейпфрута, чаинками, кожицей от салями, протерла ее и положила в сумочку. Она сама не понимала, почему так поступила. Поклонник анекдотический, а его ухаживание для нее оскорбление. Но ведь давно уже никто, совершенно никто не пытался (всерьез не пытался) ухаживать за ней. Да и вообще, такая открытка — настоящий экспонат, ее просто жаль выбрасывать. Досадно, что на ней нет подписи, не потому, что Коринфянам хотелось узнать имя этого мужчины, просто с подписью открытка выглядела бы более достоверной, а так можно подумать, будто она сама же ее купила.

В течение двух недель незнакомец не появлялся в автобусе. Когда Коринфянам наконец опять увидела его, она едва удержалась, чтобы ничем не показать, что ждала его и узнала. Подъезжая к тому месту, где он обычно выходил, мужчина наклонился к ней и сказал: «Я от души надеюсь, вы не рассердились». Коринфянам подняла на него взгляд, слабо улыбнулась и покачала головой. Он не сказал больше ни слова.

Но в последующие дни они здоровались и в конце концов заговорили друг с другом. А немного времени спустя они болтали уже вполне оживленно (хотя тщательно следили, чтобы не сказать что-нибудь лишнее), и она — по крайней мере — ждала этих встреч. К тому

времени она уже знала, что его зовут Генри Портер и что работает он дворником в этой части города. Она порадовалась, что никому не рассказала ни об открытке, ни о нем самом.

Болтали они с удовольствием, но вели себя немного странно. Каждый старался не задавать определенного рода вопросов — из опасения, что собеседник или собеседница задаст такой же вопрос. В каком районе вы живете? Знаете вы мистера такого-то?

А потом мистер Портер предложил ей покатать ее после работы на автомобиле. Своей машины у него нет, сказал он, но иногда он пользуется машиной приятеля. Коринфянам согласилась, и в результате появилась пара пожилых влюбленных, ведущих себя, словно подростки, которые боятся до смерти, как бы им не влетело от родителей за то, что крутят в таком юном возрасте любовь. Он катал ее на старом сером «олдсмобиле» и за город, и в кинотеатры для автомобилистов [\[15\]](#), а иногда они сидели и пили скверный кофе в дешевых лавчонках, где едва ли встретишь знакомых.

Коринфянам понимала, что она его стыдится, что он тоже станет ее тайной, как ее работа, что он никогда не переступит порог ее дома. И она порядком злилась на него за этот стыд, который ей приходится из-за него испытывать. Иногда злость загоралась в ней и оттого, что он глядит на нее с обожанием, то и дело восхваляет ее красоту, манеры, голос. Но вспышки эти длились так недолго, что она ни разу не отказалась от посещения кинотеатра для автомобилистов, где во время сеанса являлась единственным объектом вожделения и плотской радости для одного из зрителей.

Прошло некоторое время, и Коринфянам заподозрила, что осмотрительность Портера продиктована не только почтением к ней (к ее положению в обществе и так далее), но также тем, что он и сам предпочитает оставаться в тени. Сперва она решила, что он женат. Он пытался разубедить ее, грустно улыбаясь, но ей казалось, что улыбается он лукаво, и ее подозрения все возрастали. Наконец, желая доказать ей правду и к тому же полежать с ней в настоящей постели, он пригласил ее к себе домой. Она решительно отказалась и несколько дней подряд отвергала его просьбу, пока он наконец не обвинил ее в том, что она его стыдится — кстати, это вполне соответствовало истине.

— Я стыжусь тебя? — переспросила Коринфянам и в изумлении широко открыла глаза (в неподдельном изумлении: ей никогда не приходило в голову, что он способен догадаться об этом обстоятельстве). — Если бы я тебя стыдилась, я не стала бы с тобой встречаться, тем более... так. — Она повела рукой, показывая на ряды автомобилей, скопившихся на площадке кинотеатра.

Портер погладил ее по щеке.

— Тогда в чем же дело? То, что ты мне говоришь не может быть одновременно и правдой, и неправдой.

— Я никогда не говорила тебе неправды. Я думала, мы оба понимаем... представляем себе... в чем проблема.

— Возможно, — сказал он. — Я тебя слушаю, Корри. — Он погладил ее по подбородку. — Расскажи, что за проблема?

— Да отец. Все дело только в нем... Он ведь такой...

— Какой?

Коринфянам пожала плечами.

— Сам знаешь какой. Отец не любит, чтобы мы знакомились с... разными людьми. Он очень строгий.

— И поэтому ты не можешь ко мне зайти?

— Не сердись. Где я буду жить, если он меня выгонит? Значит, мы должны скрываться. Пока не нужно ему ничего говорить. А когда? — подумала она. — Мне уже сорок четыре. Если ничего нельзя сказать даже сейчас, когда я так страшно седею и становится обвислой грудь, то когда же?

Портер задал тот же вопрос вслух:

— А когда же?

Она растерялась и не смогла ответить сразу. Сжала пальцами виски и сказала:

— Не знаю. Право, не знаю.

Этот жест был так фальшив и так под стать фальшивой позе высоконравственной девицы и послушной дочери, что она сразу же почувствовала себя ужасной дурой. В этой самой автомашине, где они столько себе позволяли и где еще пять минут назад с языка у нее срывались такие слова... она вдруг изящно прижимает к вискам пальцы и произносит голосом Майкл-Мэри, читающей стихи: «Я не знаю», — от такого поворота ей стало совестно, а Портеру, наверное, противно, потому что он перестал поглаживать ее щеку и положил руку на руль. Второй фильм лишь начинался, когда их «олдсмобиль» медленно двинулся между рядами по посыпанной гравием дорожке.

Ни он, ни она не произнесли ни слова, пока машина не влилась в поток городского транспорта. Было пол-одиннадцатого. Она сказала матери, что вернется очень поздно — нужно перепечатать рукопись мисс Грэм. «В такую жару?» — вот и все, что сказала Руфь.

Коринфянам сидела молча, ей было стыдно, но она не сразу осознала почему — лишь когда заметила, что они едут к автобусной остановке, возле которой он обычно высаживал ее, чтобы она явилась домой так, будто приехала автобусом. И тут вдруг словно молния сверкнула: она поняла, что встречаться с ней он больше не будет. И перед ее мысленным взором развернулась унылая вереница непрожитых дней, словно пыльный серый ковер в коридоре необставленного, пустого дома, сдающегося внаем.

— Ты везешь меня домой? — Она постаралась, чтобы он не заметил в ее голосе тревожных ноток, и это удалось ей, даже слишком — вопрос прозвучал высокомерно и беспечно.

Он кивнул и ответил:

— Мне не нужна девочка, играющая в куклы. Мне нужна женщина. Взрослая женщина нужна, такая, которая не боится папаши. Как я понял, Корри, ты не хочешь стать взрослой женщиной.

Она не мигая глядела сквозь ветровое стекло. Взрослая женщина? Кого она могла бы так назвать? Маму? Лину? Воспитательницу из Брин Мор? Майкл-Мэри? Тех дамочек, что ходят к матери в гости и едят

«солнечный» торт? Что-то ни к одной из них это название не подходит. Она не знает взрослых женщин. Оказывается, все ее знакомые — девочки, играющие в куклы. Может, он имеет в виду тех женщин, которые ездят с ней в автобусе на работу? Горничных, не делающих: из своей профессии тайны? А может, тех черных женщин, что прогуливаются вечерами по улицам?

— Такой, как тетки из автобуса? Да, такая охотно пошла бы к тебе. Что же ты не подсунул кому-нибудь из них открытку? — Его слова задели ее за живое: ее сравнили — хуже, ей поставили в пример этих женщин, которых она презирала, полагая, что уж их-то она вправе презирать. — Такая рада была бы получить твою открытку. Просто счастлива, хотя... я и забыла — ведь они не умеют читать. Ей пришлось бы отнести открыточку домой, подождать день-другой до воскресенья и попросить проповедника, чтобы он прочел ее вслух. Правда, когда он прочтет ей стихи, эта тетка может не понять их смысла. Но не важно... она увидит над каждым словом цветы и завитушки и придет в восторг. И уж совсем неважно, что эти стихи — самое смехотворное, банальное и пошлое изделие коммерческой литературы. Тетка из автобуса ведь не способна распознать бездарность, даже если ткнуть ей прямо в нос, в жирную харю. Она обрадуется, будет хохотать, хлопать себя по жирным бедрам и поведет тебя прямо на кухню. Тут же и завтраком накормит. Только ты не станешь преподносить ей открытку за пятнадцать центов, верно? Ей незачем покупать даже такую идиотскую открытку — она же взрослая женщина, а за ними не нужно ухаживать. К такой можно просто подойти и сказать: «Эй, послушай-ка, пошли ко мне домой сегодня вечером». Правда можно? Что, не так? Разве не так? — Ее голос срывался на крик. — Но куда там! Тебе нужна леди. Настоящая леди, которая знает, как сесть, как встать, как одеваться, как держать ножик и вилку. Так вот, есть некоторая разница между женщиной и леди, и ты отлично понимаешь, кто я.

Портер подвел машину к обочине тротуара и, не заглушив мотора, наклонился, чтобы открыть дверцу, возле которой сидела Коринфянам. Коринфянам вышла из машины и постаралась как можно сильнее хлопнуть дверцей, но подвели ржавые петли «олдсмобиля». Пришлось ей удовольствоваться одним жестом, без шума и стука.

Когда она подошла к дому № 12 по Недокторской улице, ее била дрожь и ей никак не удавалось ее унять. Внезапно она перестала дрожать и словно примерзла к ступенькам. Через мгновение она бросилась назад, туда, где остановил машину Портер. В тот самый миг, когда Коринфянам поставила ногу на нижнюю ступеньку крыльца, она представила себе, как ее зрелость переходит в перезрелость, затем начинает попахивать гнильцой, а на круглом дубовом столе все так же громоздится куча алых бархатных лоскутков. Автомобиль еще не отошел, его мотор негромко урчал. Коринфянам бежала к машине так быстро, как никогда еще в жизни не бегала, как не бегала по высокой траве острова Оноре, когда ей было пять лет и они всей семьей выезжали туда на воскресенье. Она не бегала так быстро даже тогда, когда мчалась сломя голову вниз по лестнице после того, как в первый раз увидела, как изуродовала болезнь ее дедушку. Она схватилась за дверную ручку, но дверца оказалась запертой. Портер сидел почти в той же позе, в какой находился, когда она так неудачно попыталась хлопнуть дверцей. Коринфянам наклонилась и забарабанила в стекло. Он и бровью не повел — глядел вперед, повернувшись к ней в профиль. Она забарабанила в окно машины еще громче, не думая о том, что ее могут увидеть соседи — ведь машина остановилась под старым буком, а прямо за углом — улица, на которой стоит ее дом. Все так близко и одновременно далеко, как во сне: здесь и не здесь, рукой можно схватить, а не достанешь.

Она была Первое Послание к Коринфянам Помер, дочь преуспевающего владельца домов и земельных участков и элегантной Руфи Фостер, внучка знаменитого и всеми почитаемого доктора Фостера, человека, который вторым во всем городе завел пароконный выезд, она была той женщиной, которую с восхищением провожали глазами на всех палубах парохода «Королева Мария», а в Париже все французы исходили слюной, глядя на нее. Коринфянам Помер, все эти годы сохранявшая себя в совершенной чистоте {скажем так: почти все эти годы и почти в совершенной), сейчас дубасила в окно автомашины, внутри которой сидел дворник. Но она была готова дубасить так всю жизнь, только бы избавиться от бархатных лоскутков. От алых бархатных лоскутков, которыми порывистый ветер усеял снег в тот день, когда она и ее мать и Лина проходили мимо больницы, направляясь в универмаг. Мать была беременна; когда Коринфянам об этом узнала, она чуть не сгорела от стыда. Ее тревожила одна мысль:

как станут изводить ее подруги, узнав, что мать беременна. У нее словно гора с плеч свалилась, когда ей объяснили, что еще не скоро они об этом узнают. Но к февралю мать располнела, и ей велели выходить из дому на прогулки. Они медленно шли по снегу, стараясь не поскользнуться. Проходя мимо «Приюта милосердия», они увидели толпу, которая собралась, чтобы поглазеть на человека, стоящего на крыше. Коринфянам увидела его раньше, но, когда Руфь наконец тоже посмотрела вверх, она так перепугалась, что уронила корзинку, и оттуда посыпались бархатные лепестки. Коринфянам и Лина бросились их подбирать и, стряхивая снег с пальто, поглядывали украдкой на человека с голубыми крыльями, взобравшегося на больничную крышу. Девочки смеялись — подбирали бархатные лепестки и смеялись от смущения, от страха и так просто. Тут все смешалось: красный бархат, стоны и разбившийся о мостовую человек. Коринфянам ясно видела его тело; к ее удивлению, на нем совсем не оказалось крови. Красное было только в корзинке и у них в руках. Мать стонала все громче, казалось, что она проваливается в землю. Принесли в конце концов носилки и увезли труп, похожий на сломанную куклу (сходство с куклой усугублялось тем, что совершенно не было крови), а потом приехало и кресло на колесиках для матери, у которой уже начались схватки.

Коринфянам продолжала делать розы, но ненавидела это занятие, считая его глупым баловством, и под любым предлогом норовила от него избавиться. Бархатные розы наводили на мысли о смерти. Сперва о смерти человека с голубыми крыльями. Сейчас о ее собственной. Ведь она непременно умрет, если Портер не повернет головы в ее сторону и не откроет дверь. Она колотила по стеклу до боли в пальцах, стремясь привлечь к себе его внимание живого мужчины; она пробила бы стекло кулаком, лишь бы до него дотронуться, ощутить его тепло и таким образом спастись, не задохнуться среди бархатных мертвых роз.

Он сидел не двигаясь. Ее вдруг охватил такой ужас: что, если он уедет, а она останется на улице одна? И тогда она, вскарабкавшись по крылу, растянулась на капоте. Она не глядела на Портера в ветровое стекло. Просто лежала, распластавшись на капоте, вцепившись пальцами в стальной корпус машины. Она абсолютно ни о чем не думала. Лишь о том, как удержаться, не соскользнуть. Даже если бы он помчался со скоростью сто миль в час, она бы все равно не свалилась. Она вцепилась в капот так крепко, что даже зажмурилась, и не слышала,

как открылась и захлопнулась дверца, не услышала шагов Портера, подошедшего к радиатору. Она взвизгнула, когда он обнял ее за плечи и осторожно потянул к себе. Он взял ее на руки, отнес к той стороне, где находится место для пассажира, поставил рядом с машиной, потом распахнул дверцу и усадил на сиденье. В машине он положил ее голову себе на плечо, подождал, пока она выплачется, и только после этого снова вышел из автомобиля подобрать сумочку, которую она уронила на тротуар. А потом поехал к дому № 3 по Пятнадцатой улице, к дому, принадлежащему Мейкону Померу, где проживало шестнадцать жильцов, а наверху имелось чердачное окно, высываясь из которого этот самый Генри Портер вопил когда-то, рыдал, размахивал дробовиком и кончил тем, что помочился прямо на головы собравшихся во дворе женщин.

Полночь еще не наступила, и было жарко... жарко, душно, в общем-то, противно, если бы не запах, чем-то похожий на сладкий запах имбиря. Коринфянам и Портер вошли в коридор, который начинался сразу от парадной двери. Кроме светящейся щели под дверью кухни, где играли в карты, нигде больше незаметно было следов обитателей дома.

Коринфянам увидела только кровать, железную кровать, выкрашенную, как в больнице, белой краской. Она опустилась на нее, как только вошла в комнату, потянулась и почувствовала себя так, будто ее вымыли в ванне, оттерли дочиста, пропылесосили — и впервые в жизни на нее снизошла простота. Она разделась, потом разделся Портер и лег с ней рядом. Они лежали тихо, так прошла минута, а потом он повернулся и всем телом прижался к ней.

Она посмотрела на него:

— Ты мой?

— Да, — сказал он. — Да, я твой.

— Портер.

— Я твой. Вместо роз. Вместо шелкового белья и флаконов с духами.

— Портер.

— Вместо шоколадных конфет в коробке сердечком. Вместо большого дома и шикарной большой машины. Вместо заморских путешествий.

— Портер.

— ...на белом, как снег, пароходе.

— Нет, нет...

— Вместо поездок на рыбалку...

— Нет...

— ...и счастливой старости вдвоем на веранде.

— Нет...

— Я твой, девочка. Да, да, твой.

Они проснулись в четыре утра, вернее, она проснулась. Открыв глаза, увидела, что он смотрит ей прямо в лицо и глаза его застилают то ли слезы, то ли капельки пота. В комнате было очень жарко, несмотря па открытое окно.

— Ванная... — сказала она шепотом, — где у вас тут ванная?

— В том конце коридора, — ответил он. И добавил, как бы извиняясь:

— Принести тебе чего-нибудь?

— А? — Она отбросила со лба несколько прядей спутанных влажных волос. — Попить, пожалуйста. Чего-нибудь похолоднее.

Он натянул брюки быстро — не надел ни носков, ни сорочки — и вышел. Коринфянам тоже встала и начала одеваться. Не найдя в комнате зеркала, она остановилась перед раскрытым окном и, заглядывая в верхнюю, затененную часть стекла, стала приводить в порядок волосы. Потом она заметила стены. То, что, войдя в комнату и рухнув на кровать, Коринфянам приняла за обои, оказалось календарями. Целые ряды календарей: «Ст. и мл. партнеры фирмы «Автомобильные части» рекламируют «хадсон» выпуска 1939 года»: «Компания речного строительства «Кайяхога» («Мы строим, чтобы радовать, — Нам радостно строить»); «Косметическая продукция Лаки

Харт» (дама с пышными кудрями и улыбающимся, густо напудренным лицом); газета «Колл энд пост». Впрочем, большинство календарей было издано «Северокаролинским обществом взаимного страхования жизни». Они в буквальном смысле облепили все стены, и каждый был открыт на декабре. Казалось, Портер держит в своей комнате все календари, выходившие начиная с 1939 года. Некоторые из них представляли собой большие листы, на которых размещались все двенадцать месяцев, и она обратила внимание, что на этих календарях некоторые даты обведены кружками.

Пока она разглядывала их, вернулся Портер. Он принес стакан воды, где плавали ледяные кубики.

— Зачем ты держишь все эти календари? — спросила она.

Он улыбнулся.

— Скуки ради. На. Попей. Сразу станет прохладней.

Она взяла стакан и отхлебнула маленький глоток, стараясь, чтобы ледышки не попали ей на зубы, и поглядела на него, не отнимая стакана от губ. Она стояла босиком, волосы, влажные от пота, липли к щекам, и ей было так легко. Привычное тщеславие сменилось самоуважением — совершенно новым чувством. Она была благодарна ему, человеку, который снимал комнатушку в одном из отцовских домов, ел с ножа и даже не имел пары выходных ботинок. Именно от таких мужчин ее старались оградить родители (и сама она старалась от них отгородиться), потому что, как известно, такие мужчины бьют своих сожительниц, изменяют им, позорят их и в конце концов просто бросают. Коринфянам подошла вплотную к Портеру, пальцами приподняла его подбородок и чмокнула в шею. А он взял ее голову в ладони и не отпускал, пока Коринфянам не закрыла глаза, пытаясь на ощупь поставить на маленький столик стакан.

— Мм... Скоро рассветет. Отвезу-ка я тебя домой.

Она послушно заторопилась. Стараясь ступать бесшумно, они спустились по лестнице и прошли мимо широкого треугольника света, падавшего из кухонной двери. Там все еще шла карточная игра, но

дверь теперь была приоткрыта. Портер и Коринфянам быстро прошмыгнули мимо двери.

Тем не менее их окликнул чей-то голос:

— Кто там? Мэри?

— Да нет. Это я. Портер.

— Портер? — с удивлением переспросил голос. — Чего это тебя носит?

— Ладно, после, — сказал Портер и поспешил открыть входную дверь, пока никто не выглянул из кухни.

Коринфянам села рядом с Портером, прильнув к нему так тесно, как только позволял рычаг переключения передач, и откинула голову на спинку сиденья. Она снова закрыла глаза и глубоко-глубоко втянула в себя сладкий воздух, который ее брат вдыхал тремя часами раньше.

— Может, ты уложишь волосы, как раньше? — сказал Портер. Ему казалось, что с распущенными волосами она прекрасна, похожа на молоденькую девушку, но он не хотел, чтобы она, как дурочка, оправдывалась перед родителями, если они поджидают ее.

Коринфянам покачала головой. Ни за какие сокровища в мире она не согласилась бы снова собрать волосы узлом на затылке.

Портер остановил машину под тем самым деревом, где накануне вечером Коринфянам распласталась на капоте. Она шепнула ему на ухо несколько нежных слов, прошла пешком четыре квартала и, не чувствуя ни малейшего страха, поднялась по ступенькам крыльца.

Едва закрыв за собой парадную дверь, она услышала голоса, и ее руки инстинктивно потянулись к распущенным волосам. Голоса доносились из кухни, находившейся позади столовой. Эта дверь была плотно прикрыта. Мужские голоса. Коринфянам растерялась. Она только что покинула дом, где на кухне горел свет и сидевшие там мужчины разговаривали возбужденно и громко, и вдруг — на тебе: придя к себе домой, натывается на точно такую же картину. Возможно, это время ночи, незнакомое ей до сих пор время, принадлежит — и всегда принадлежало — мужчинам? Быть может, им втайне отведен этот час,

когда они внезапно вылезают, как великаны из зубов дракона, и сходятся на кухне, пока женщины спят? Она на цыпочках подошла к закрытой двери. Говорил отец.

— Ты мне все-таки не объяснил, зачем он тебе понадобился?

— Да не все ли равно? — Это голос брата.

— Совсем не все равно, — сказал отец. — Он теперь узнал об этом.

— О чем? Знать-то не о чем. Пустой номер. — Голос Молочника гудел все громче, он разбухал от гнева, как волдырь.

— Не пустой номер, а ошибка. Просто оно лежит в другом месте. Вот и все.

— На монетном дворе оно лежит. Не собираешься ли ты послать меня туда?

— Нет! — Мейкон стукнул кулаком по столу. — Оно где-то в доме. Уверен.

Коринфянам никак не могла понять, о чем они с таким пылом спорят, но она не собиралась стоять под дверью, чтобы узнать, в чем дело, — ей хотелось сохранить переполнявшее ее ощущение покоя и довольства. Она поднялась к себе в спальню и легла в постель.

Тем временем на нижнем этаже Молочник сидел, облокотившись о стол и уронив голову на руки.

— Плевать мне. Плевать, где оно.

— Да ведь это просто ошибка, — говорил отец. — Небольшое недоразумение. Разве можно из-за этого все бросить?

— Небольшое недоразумение — за решетку попасть?

— Если я не ошибаюсь, ты сейчас на воле. А просидел всего двадцать минут.

— Два часа.

— Вполне мог ограничиться двумя минутами, если бы сразу же мне позвонил. И двух минут бы не сидел.

Надо было позвонить мне тотчас же, как только они тебя сцапали.

— Полицейские машины не снабжены телефонами. — Молочник, как видно, устал. Он поднял голову, облокотился щекой о руку и пробурчал эти слова куда-то в рукав.

— Они бы разрешили тебе позвонить, если бы ты был один. Назвал бы им свою фамилию, и тебя не стали бы задерживать. Но с тобой был этот ниггер из Южного предместья. Вот что их насторожило.

— Совсем не это их насторожило. Их насторожило то, что у меня в машине оказался мешок с какими-то камнями и человеческими костями. Мешок с костями человека. Всякий фараон, если он хоть что-то смыслит в своем деле, сообразит: раз есть кости какого-то человека, значит, был когда-то и сам человек.

— Ну конечно, он когда-то был. Только не сегодня ночью. Он не мог еще вчера разгуливать по улицам. Тело человека не так уж быстро превращается в скелет. Это известно полицейским. Так что незачем меня убеждать, что они тебя задержали не из-за Гитары. На этого желтоглазого стоит взглянуть, сразу видно: он на все способен.

— Они не видели, какого цвета у него глаза, когда велели нам подъехать к тротуару. Они вообще ничего не видели. Просто приказали нам остановиться и выйти из машины. А собственно, почему? Почему они остановили нас? Скорость мы не превышали. Просто ехали. — Он достал сигареты. И вдруг снова рассердился, вспомнив, как стоял, согнувшись, расставив ноги и упираясь руками в капот, а полицейский методично обшаривал его ноги, спину, зад, руки. — Какое у них право останавливать машину, если она едет на дозволенной скорости?

— Кого хотят, того и останавливают. Увидели, что ты цветной, и все. Они ведь ищут того негра, который убил мальчика.

— Где сказано, что это негр?

— В газете сказано.

— Они всегда так пишут. Что бы ни случилось...

— А тебе не все равно? Если бы ты ехал один и назвал свою фамилию, им бы и в голову не пришло обыскивать автомобиль, и мешка бы этого они развязывать не стали. В полиции меня знают. Видел, как они сразу заговорили, как только я вошел в участок?

— Как до этого говорили, так и продолжали...

— Что?

— Вот когда ты отвел: в угол того паразита и открыл бумажник, тогда они заговорили по-другому.

— Благодарным надо быть отцу за этот бумажник.

— Я благодарен. Бог свидетель, благодарен.

— И все бы кончилось мирно и спокойно, если бы не этот ниггер из Южного предместья. Если бы не он, у них не возникло бы ни нужды, ни желания вызывать в участок Пилат. — Мейкон потер колени. Унизительно сознавать, что только с помощью Пилат ему удалось вызволить из тюрьмы сына. — Оборванка, бутлегерша, сучка.

— Как, все еще сучка? — посмеиваясь, спросил Молочник. Недавняя встряска, после которой он мало-помалу приходил в себя, неожиданно настроила его на веселый лад. — Ты считал, она украла золото. Столько лет... Столько лет ты подозревал ее в этом грехе. — Молочник хохотал теперь громко, безудержно. — Ты представлял себе, как она потихоньку выбралась из пещеры, неся на плече здоровенный мешок с золотом весом в сотню фунтов, потом таскала его по всей стране пятьдесят лет и ни грамма не потратила — просто подвесила к потолку, как какой-нибудь паршивый мешок с луком.. — Молочник даже голову запрокинул от смеха и гоготал во все горло. — Пятьдесят лет!.. Ты целых пятьдесят лет все думал и думал об этом золоте! Ну, вляпались! Как психи, вляпались... — У него от смеха из глаз потекли слезы. — Психи вы и есть. Все, как один. Психи ненормальные. Как же я раньше не догадался? Ведь вся история — сплошной идиотизм; вся, с начала до конца.

— А что, по-твоему, нормальнее: таскать все эти годы мешок с золотом или чьи-то кости? Что нормальнее? А? — спросил отец.

— Не знаю. Честное слово, не знаю.

— Если она могла таскать мешок с костями, то и золото могла таскать. Вот ее-то надо было посадить. Когда вы рассказали полицейским, что нашли этот мешок в ее доме, они должны были упрятать ее за решетку, сразу же, как только она явилась в участок.

Молочник вытер слезы рукавом.

— Чего ради они стали бы ее сажать? Особенно после истории, которую она там рассказала. — Он опять захохотал. — Вошла, словно Луиза Вивер и Батерфляй Маккуин в одном лице. «Да, сар босс. Да, сар босс...»

— Она так не говорила.

— Почти так. Даже голос у нее изменился.

— Я же предупреждал тебя: она змея. Сбросит кожу в мгновение ока.

— И даже вся переменилась. Стала вдруг какой-то низенькой. Низенькой и жалкой.

— Потому что хотела, чтобы ей отдали мешок. Хотела, чтобы полицейские возвратили ей эти кости.

— Кости ее несчастного покойного супруга, которые она по бедности не смогла предать земле. Она была когда-то замужем?

— Римский папа был замужем?

— Но она добилась своего. Ей отдали кости.

— Она знала, что делает, будь спокоен.

— Знала, это точно... Но как она вообще обо всем так быстро узнала? То есть, ведь когда она вошла, у нее... как бы сказать... все целиком было продумано. Ей уже все было известно, от начала до конца. Наверное, ей рассказал полицейский, пока вел ее в участок.

— Ну да! В полиции это не принято.

— Так откуда же она узнала?

— А кто ее знает, откуда она все узнает! Молочник покачал головой. Смешливое настроение его все еще не покинуло, а ведь совсем недавно, когда они с Гитарой сидели в наручниках на деревянной скамье, у него от страха ползали по шее мурашки.

— Кости белого человека, — сказал Мейкон. Он встал и зевнул. Небо начинало светлеть. — Старая чернокожая сучка шляется по всей стране, таская за собой кости белого человека. — Он снова зевнул. — Никогда не мог понять эту женщину. Мне семьдесят два года, и я так и умру, ничего в ней не поняв. — Он подошел к двери, открыл ее. Потом обернулся и сказал Молочнику: — Но ты-то, я надеюсь, уразумел, что все это значит? Если Пилат унесла с собой кости того белого, а золото бросила, значит, золото и сейчас там лежит. — И торопливо захлопнул за собой дверь, покуда Молочник не успел ничего возразить.

Ну и пусть сгниет там, подумал Молочник. Если кто-нибудь просто скажет при мне слово «золото», я ему зубы повыбиваю. Ему хотелось еще кофе, но он так устал, что не мог заставить себя сдвинуться с места. Через минуту сюда спустится мать; когда они с Мейконом входили в дом, она встала, но муж велел ей вернуться в спальню. Молочник вытащил еще одну сигарету, он смотрел на раковину: занималась заря, и свет электричества, отражавшийся в раковине, становился все тусклее. Солнце поднималось бодро, жизнерадостно, суля еще один жаркий день. Но чем энергичнее оно сверкало, тем сильнее наваливалась на него тоска. После ухода Мейкона, оставшись на кухне один, он не стал противиться воспоминаниям, и на него наваливались события минувшей ночи — всякие мелочи, подробности оживали в памяти, и в то же время он не был уверен, что все это действительно происходило. Может, он выдумал эти подробности? Ну, например, Пилат — она и в самом деле стала меньше ростом. Когда она стояла в комнате для посетителей в тюрьме, голова ее не доставала даже до плеча сержанта, а между тем макушка этого сержанта приходилась как раз под подбородок Молочнику. Но ведь Молочник и Пилат одного роста. Когда она плаксиво уверяла сержанта, будто то, что ему наврали Молочник с Гитарой, — чистая правда и приятели стащили у нее мешок, просто желая подшутить над старушкой, ей пришлось смотреть

на него снизу вверх. И руки у нее тряслись, когда она рассказывала, как ее внезапно разбудил офицер; а она знать-то ничего не знала о пропаже, а когда узнала, ума не могла приложить, кому это понадобилось унести из дома косточки ее супруга; супруга ее линчевали в штате Миссисипи еще пятнадцать лет тому назад и не позволили ей взять его тело, так оно и осталось висеть, и она ушла из города, а когда воротилась, тело покойника уже само собой свалилось с веревки, так что Пилат тут же забрала его и пыталась предать погребению, но «похоронные люди» просили пятьдесят долларов за гроб, а плотник требовал двенадцать долларов пятьдесят центов за ящик из сосновых досок, у нее же просто не было двенадцати долларов и пятидесяти центов, потому она унесла с собой то, что осталось от мистера Соломона (она всегда называла мужа «мистер Соломон», потому как он был такой солидный цветной мужчина), сложила все это в мешок и унесла. «В Библии сказано: уж что Господь сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава двадцать первая, стих второй

. Мы с ним жили в добром согласии и были повенчаны по закону», — жалобно приговаривала она. И даже глаза ее, большие, сонные, старые глаза, стали маленькими, когда она всхлипнула напоследок: «Вот я и решила, пусть он всегда будет со мной, а умру, нас обоих в одну яму закопают. Мы с ним вместе встанем, когда наступит Судный день. Рука об руку».

Молочник не знал, что и думать. До этого он считал, что знакомство его тетки с Библией ограничено умением выуживать оттуда имена, и вдруг она цитирует Евангелие, называет главу и стих. Мало того на Молочника, на Гитару, на Мейкона она глядела с таким видом, словно не очень ясно себе представляла, кто же они, собственно, такие. А когда ее спросили, знает ли она их, Пилат решительно ответила: «Этого человека не знаю», бросив взгляд на брата. «Но, сдается мне, я встречала неподалеку от дома того вон парня», — тут она указала на Гитару, который сидел на скамье, как мраморное изваяние с глазами мертвеца. Позже, когда Мейкон всех их развез по домам — Пилат сидела впереди, а Гитара и Молочник на заднем сиденье, — Гитара за всю дорогу не проронил ни слова. Он как будто источал из себя такую огненную ярость, что жаркий воздух, который врывался в открытые окна машины, казался прохладным по сравнению с ней.

А Пилат опять переменялась. Она опять стала высокой. Голова, повязанная старой шелковой тряпкой, почти касалась потолка машины, как головы мужчин. И голос у нее стал прежним. Она говорила, обращаясь только к Мейкону, и говорила все время только она. Спокойно и неторопливо, словно продолжая рассказ с того места, на котором ее перебили, повествовала она брату историю, вовсе не похожую на ту, которую сообщила в полиции:

— Я просидела там в пещере весь день и всю ночь, а когда выглянула на другое утро, ты уже ушел. Мне стало так страшно, что я бросилась бы догонять тебя, да куда бросаться, не знала. А вернулась я туда только через три года, а то и больше. Было это зимой. Все засыпало снегом, дороги почти не видать. Я сперва наведалься к Цирцее, а потом уж от нее пошла искать пещеру. Ох и трудно было, скажу я тебе, я к тому же еще приболела. Куда ни глянь, везде сугробы. Но как тебе в башку могло прийти, что я вернусь туда за этими мешочками? Я и в первый-то раз пальцем не притронулась к ним, а уж через три года и вовсе про них думать забыла. А пошла я туда, потому как мне папа велел. Он навещал меня - время от времени. Говорил, что нужно делать. Сперва просто велел петь, все время петь. «Пой, — бывало, шепчет. — Пой, пой». Потом, сразу после того, как родилась Реба, он пришел и прямо сказал: «Негоже так — сбежать, а покойника бросить, — сказал он мне. — Жизнь человеческая драгоценна, нельзя так — бросить все и убежать». Ну, я сразу поняла, о чем он, потому как он там рядом стоял, когда мы убили того человека. Он хотел сказать, мол, если забираешь чью-то жизнь, то она уже твоей делается. Ты за нее в ответе. Ты считаешь, убьешь человека и избавишься от него? Нет, он все равно с тобой останется и сделается после этого твоим. Поэтому я и вернулась за покойником. И все-таки нашла пещеру. Он лежал там. То ли волки, то ли еще какие звери, наверное, протащили его по пещере, и он лежал, сидел даже, верней будет сказать, на той самой каменной плите, где мы с тобой когда-то прикорнули. Я сложила в мешок все, что от него осталось, какие-то клочья одежды... а кости сухие и чистые. С тех пор я и ношу его с собой. Мне так папа наш велел, и он прав, знаешь. Нельзя забрать у человека жизнь и уйти, а его бросить. Жизнь — это жизнь. Драгоценная. И те, которых ты убил, — твои. Они навсегда остаются с тобой, хотя бы в памяти. Вот и получается, что лучше, куда лучше взять кости и повсюду носить их с собой. И душа спокойна, если так сделать.

Нет, не спокойна, испоганена душа, подумал Молочник, испоганена на всю жизнь. Он с усилием встал. Сперва нужно поспать хоть немного, а потом пойти искать Гитару.

Плетясь вверх по лестнице, он вспомнил спину Пилат, когда старуха вылезла из «бьюика» и пошла к дому, — она совсем не гнулась под тяжестью мешка. И он вспомнил, с какой злобой глядел ей вслед Гитара. Позже, когда Мейкон подвез его к дому, а Молочник сказал: «До встречи», Гитара не ответил и даже не оглянулся.

Молочник проспал до полудня. В комнате за это время кто-то побывал и поставил на пол у кровати вентилятор. Он долго лежал, слушая, как жужжит вентилятор, потом встал и пошел в ванную. И даже в тепловатой воде ванны он продолжал потеть, и от жары и усталости ему было лень намылиться. Время от времени он брызгал себе в лицо водой, смачивая отросшую за два дня щетину. Наверное, он порежется, когда станет бриться. Лежать в ванне было неудобно — коротка, ног не вытянешь, а ведь когда-то он чуть ли не плавал в ней. Молочник посмотрел на свои ноги. Сейчас левая казалась несколько не короче правой. Он лежал, неторопливо блуждая взглядом по телу. До сих пор он чувствует на себе прикосновение руки полицейского — от этого прикосновения он вздрагивает и сейчас, как лошадь, когда на нее садится овод. Но не только от этого у него зудит кожа. Наверное, от стыда. Ему стыдно, что он стоял раскорякой, что его всего общупали, что на него надели наручники. Ему стыдно, что он украл скелет — скорее выходка озорника мальчишки, чем рискованный поступок взрослого мужчины. Стыдно, что выручать его из участка пришлось не только отцу, но и тетке. Еще стыднее было видеть, как отец с заискивающей улыбкой — «ну вы же понимаете, со всяким бывает» — умасливал полицейских. Но стыднее всего было смотреть на Пилат и ее слушать. Не в том дело, что она вела себя, как тетушка Джемайма, хуже то, что она умело и охотно взялась выполнять эту роль... ради него. Ради него, который только что вылез тайком из ее дома, полагая, что он ее ограбил. И никакого значения не имеет, что он думал, будто и она украла... У кого украла-то? У мертвеца? У его отца, готового принять участие в грабеже? И тогда, в пещере, и сейчас? Он, Молочник, тоже украл, мало того, он был готов — во всяком случае, он уверял себя, что готов, — оглушить Пилат ударом кулака, если она его застанет.

Оглушить ударом кулака старую чернокожую женщину, которая когда-то сварила для него по всем правилам яйцо в мешочек, чтобы он впервые в жизни отведал это блюдо, которая показала ему небо, небесную голубизну, напоминавшую цветом ленты на шляпке ее матери, так что с тех пор, когда он смотрит на небосвод, тот не кажется ему далеким, недоступным, кажется близким, хорошо знакомым, обжитым, как его собственная комната. Она рассказывала ему сказки, пела песни, кормила бананами и маисовыми лепешками, а в первый холодный осенний день горячим ореховым супом. И если верить матери, то именно этой чернокожей старухе — ей под семьдесят сейчас, но она сохранила гладкость кожи и проворство движений под стать молоденькой девчонке, — именно ей обязан он своим воистину чудесным появлением на свет. И эта женщина, которую он собирался оглушить ударом кулака, вошла, шаркая ногами, в участок и устроила для фараонов небольшое представление — что угодно, то и делай с этой старухой: и посмеяться можно, и жалость испытать, и презрение, можно поиздеваться, слушая ее басни, а можно проявить к ним недоверие, с ней можно быть и недобрым, и раздражительным, и капризным, и власть свою показать, и злость на ней сорвать, и зевать, не скрывая скуки, — все, что твоей милости угодно, лишь бы это шло на пользу ей и ее племяннику.

Молочник поболтал в воде ногами. Снова ему вспомнилось, как Гитара смотрел на Пилат — искрами бриллиантов в его глазах сверкала ненависть. Как он смел так на нее смотреть! Внезапно он понял: он знает ответ на вопрос, который так и не решился задать. Гитара может убить, он пойдет на убийство охотно, а возможно, уже убивал. Он способен убивать, и это причина его вступления в организацию «Семь дней», а не следствие пребывания в этой организации. Вот что. Незачем ему было так смотреть на старуху, подумал Молочник, поднялся и торопливо стал намыливать.

Едва он вышел из дому, его окатила волна сентябрьской жары, и приятной прохладной ванны как не бывало. Мейкон уехал на «бьюике» — с годами ему становилось все труднее ходить пешком, — так что Молочник пешком отправился к дому Гитары. Выйдя из-за угла, он увидел перед домом серый «олдсмобиль» — эта машина с зубчатой трещиной на заднем стекле теперь то и дело попадалась ему на глаза. Внутри «олдсмобилей» сидело несколько мужчин, а двое стояли на

улице: Гитара и Железнодорожный Томми. Молочник замедлил шаги. Томми что-то говорил, Гитара кивал. Затем они пожали друг другу руки — такого рукопожатия Молочник еще никогда не видел: сперва Томми взял обеими руками руку Гитары, потом то же самое сделал Гитара. Томми сел в машину, а Гитара бегом обогнул дом и помчался к боковой наружной лестнице, которая вела в его комнату. «Олдсмобиль» — по соображениям Молочника, модель 1953 либо 54-го года — круто развернулся и двинулся как раз туда, где стоял Молочник. Когда машина с ним поравнялась, он заметил, что все, находившиеся внутри, пристально глядят вперед. За рулем сидел Портер, Железнодорожный Томми — на другом краю переднего сиденья, а между ними — Имперский Штат; на заднем сиденье расположились Больничный Томми и человек по имени Нерон. Третьего Молочник не знал.

Это, наверное, они, подумал он. Сердце его бешено заколотилось. Шестеро, в том числе Портер, и еще Гитара. Конечно, это «дни». Да, и машина. Та самая машина, которая иногда подвозит к их дому Коринфянам. Сначала Молочник думал, что просто кто-то раз-другой подвез домой его сестру после работы. Но потом, поскольку она не обмолвилась об этом обстоятельстве ни словом и к тому же в последнее время стала как-то спокойнее и располнела, он решил, что она с кем-то встречается тайком. Это открытие показалось ему и забавным, и милым, и немного грустным. Но сейчас он понял, что человек, который с ней встречается, принадлежит к числу тех, кто постоянно ездит на этой машине, а значит, принадлежит к «Семи дням». Вот дура, подумал он. Нашла кого выбрать. До чего же она глупа. Господи, до чего глупа!

Нет, он не сможет сейчас встретиться с Гитарой. Он зайдет к нему в другой раз.

Люди обращались с ним гораздо лучше, сердечнее, когда Молочник бывал пьян. На самого Молочника алкоголь никак не действовал, зато оказывал огромное влияние на тех, с кем он сталкивался, находясь в нетрезвом состоянии. Они и выглядели симпатичнее, и обращались к нему только шепотом, и прикасались к нему — пусть даже с целью

вытолкать его с вечерники, потому что он помочился в кухонную раковину, или обшарить его карманы, пока он дремлет на скамейке, дожидаясь автобуса, — нежно и любовно.

В блаженном состоянии, варьируя от легкого подпития до полного одурения, он провел два дня и ночь и растянул бы это блаженство по крайней мере еще на день, если бы его не отрезвил разговор с Магдалиной, именуемой Линой, которой он после девятого класса ни разу не сказал более четырех фраз подряд.

Он явился домой рано утром, а она его уже поджидала на лестничной площадке второго этажа. В длинном халате и без очков она казалась нереальной, но ласковой и милой, в точности как тот человек, который незадолго до этого обчистил его карманы.

— Зайди ко мне. Я хочу тебе что-то показать. Ты можешь зайти на минутку?

— А оно никак не может подождать? — сказал он тоже ласково, гордясь, что так вежливо с ней говорит, ведь он валится с ног от усталости.

— Никак, — ответила она. — Подождать оно никак не может. Ты сейчас должен это увидеть. Сегодня. Посмотришь, и все.

— Лина, но я правда весь как выжатый... — Он мягко пытался ее урезонить.

— Только на минуту, не больше минуты. Это очень важно.

Он вздохнул и зашагал следом за ней по коридору в ее спальню. Лина подошла к окну.

— Вот, взгляни.

Двигаясь элегантно, как ему казалось, хотя и замедленно, он приблизился к окну, раздвинул шторы и посмотрел туда, куда она показывала пальцем. Он увидел лишь газон у боковой стены их дома. Пустой газон, хотя, возможно, в тусклом свете утра он не заметил, как там что-то движется.

— На что взглянуть?

— На клен. Вон на тот, что прямо под окном. — Она указала на низенькое кленовое деревце, всего фута четыре высотой. — Его листики должны бы уже покраснеть. Сентябрь кончается. Но они все не краснеют. Просто съежились и опадают, такие же зеленые, как летом.

Он взглянул на нее, улыбаясь:

— Ты сказала, это очень важно. — Он не рассердился на нее, даже досады не почувствовал, ее невозмутимость лишь забавляла его.

— Это важно. Очень важно, — сказала она тихо, пристально разглядывая деревце.

— Ну так объясни, в чем дело. Мне на работу через несколько минут.

— Знаю. Но одну минуту ты мне сможешь уделить?

— Не для того, чтобы таращиться на высохший куст.

— Он пока еще не высох. Хотя ждать недолго. Листики не покраснели в этом году.

— Лина, ты хлебнула лишнего?

— Насмешки ни к чему, — отрезала она, и в ее голосе прозвучали металлические нотки.

— Нет, правда?

— Ты совсем не обращаешь на меня внимания.

— Обращаю. Стою и слушаю, как ты рассказываешь мне последние известия: засыхает клен.

— Ты забыл, конечно?

— Что забыл?

— Как ты на него помочился.

— Не понял.

— Ты однажды помочился на клен.

— Лина, может, мы обсудим это позже...

— И заодно на меня.

— Э-э... Ну, у меня случались разные оплошности. Случалось и такое, чего я, в общем-то, стыжусь. Но клянусь богом, я никогда на тебя не мочился.

— Это было летом. В тот год, когда папа купил «паккард». Мы отправились кататься за город, а ты перед поездкой не успел сбегать в туалет. Помнишь?

Молочник потряс головой:

— Нет, я этого не помню.

— Я повела тебя в кусты. Мы уже выехали за пределы города, и, кроме этих кустов, нам больше некуда было идти. Вот меня и заставили повести тебя туда. Сперва с тобой хотела пойти мама, но ей папа не позволил. И сам не захотел тебя вести. Коринфянам отказалась наотрез так унижать свое достоинство, поэтому велели пойти мне. А ведь я тоже была в туфлях на высоких каблуках. И тоже была уже совсем большая девочка, но все-таки меня заставили пойти. Нам с тобой надо было спуститься вниз по откосу, который начинался от обочины шоссе. Глухое место, ни души вокруг. Я расстегнула тебе штанишки и отвернулась, чтобы ты не стеснялся. В траве росли лиловые фиалки и дикая жонкилия. Я набрала букет и добавила к нему веточку какого-то дерева. Когда я вернулась домой, я все это воткнула в землю, вот прямо под окном. — Она кивнула в сторону окна. — Выкопала маленькую ямку и сунула туда цветы и ветку. Знаешь, я всегда ведь любила цветы. Я первая начала делать искусственные розы. Не мама. Не Коринфянам. Я. Мне нравилось это занятие. Оно... меня успокаивало. Я думаю, поэтому в сумасшедших домах больных заставляют плести корзины и делать лоскутные коврики. Это успокаивает их. Если бы не корзины, они бы додумались, что с ними на самом деле происходит, и... что-нибудь натворили бы. Что-нибудь ужасное. Когда ты обрызгал мне платье, мне захотелось тебя убить. Я даже пыталась раза два. Ну, конечно, не прямо убить, а, например,

оставлю мыло в ванне, когда ты идешь туда мыться, или еще что-нибудь в том же роде. Впрочем, ты не сломал себе шею, поскользнувшись в ванне, не свалился с лестницы, словом, всякий раз ты оставался цел и невредим, — сказала она со смешком. — А потом я вдруг заметила одну вещь. Те цветы, что я воткнула в землю, те, на которые ты помочился... Они завяли, конечно, а ветка не завяла. Она принялась. Из нее и вырос этот клеи. Поэтому и злость моя прошла, я простила тебе тот случай, ведь деревце все-таки выросло. Но сейчас оно погибает, Мейкон.

Молочник потер уголок глаза. Ему до смерти хотелось спать.

— Скажи на милость, помочился человек — и такие грандиозные последствия! Не повторить ли мне это по новой, как ты посоветуешь?

Магдалина, именуемая Линой, вынула руку из кармана халата и с размаху ударила его по губам. Он вспыхнул, замахнулся даже, но сдержался. Не обратив внимания на этот жест, она сказала:

— Я с тобою церемониться не собираюсь, это так же верно, как то, что меня Магдалиной зовут. Я думала, раз деревце принялось, значит, все в порядке. Но я забыла: есть различные способы мочиться на людей.

— Послушай-ка. — Молочник протрезвел и старался говорить как можно спокойней и тверже. — Я могу, конечно, принять во внимание... до некоторой степени, что ты под газком. Но рукам все-таки воли не давай. И к чему все эти разговоры о том, как и кто на кого помочился?

— А ты занимаешься этим всю жизнь.

— Ты что, с ума сошла? Я хоть раз задел кого-то в этом доме? Слышала ли ты хоть раз, чтобы я распоряжался тут, командовал? Я ни на кого не давлю: сам живу и людям жить даю, и тебе это известно.

— Мне известно, что ты рассказал папе о Коринфянам, что она встречается тайком с одним человеком.

— Я не мог не рассказать. Я был бы счастлив, если бы Коринфянам себе кого-то нашла, но дело в том, что я знаю этого человека. Я... сталкивался с ним. — Молочник осекся: нельзя же ей все объяснить. О «Семи днях», о своих подозрениях.

— Ах, вот как, — ядовито протянула она. — Ты присмотрел для нее кого-нибудь более подходящего?

— Нет.

— Не присмотрел? Но этот человек живет в Южном предместье и ей не подобает с ним встречаться, да? Ты можешь заводить романы в Южном предместье, а ей это не подобает?

— Лина...

— А скажи мне, что тебе известно насчет того, кому с кем подобает встречаться? И с каких пор тебя волнует, уронила ли себя Коринфянам или же не уронила? Ты смеешься над нами всю жизнь. Над Коринфянам. Надо мной. Над мамой. Пользуешься нашими услугами, командуешь да к тому же еще критикуешь: хорошо ли мы приготовили тебе еду, хорошо ли ведем хозяйство в твоём доме. И вдруг — на тебе: оказывается, ты принимаешь близко к сердцу судьбу Коринфянам и заставляешь ее порвать с человеком, которого ты не одобрил. Да какое право ты имеешь одобрять кого-то и не одобрять? Я уже тринадцать лет дышала воздухом, до того как у тебя образовались легкие. Коринфянам — двенадцать. Ты же совершенно ничего о нас не знаешь; мы делали розы — вот все, что тебе известно, и вдруг оказывается, ты знаешь, как нужно поступить той самой женщине, которая обтирала тебе подбородок, когда ты был так мал, что плюнуть не умел. Наши годы растрочены на тебя, как найденная на земле монетка. Ты спал — мы боялись пошелохнуться; тебе хотелось есть — мы принимались стряпать; играть хотелось — развлекали тебя; а когда ты стал настолько взрослым, что постиг различие между женщиной и грузовиком-двухтонкой, все в этом доме перестало для тебя существовать. Правда, тебе еще ни разу не пришлось выстирать свое же собственное белье. Постелить свою же собственную постель, ополоснуть за собой ванну, смахнуть веником осыпавшуюся с твоих ботинок пыль. И ты ни разу ни одну из нас не спросил, не устала ли, как настроение, не хочется ли кофе. Ни разу в жизни ты не поднял ничего более тяжелого, чем собственные ноги, и не решил проблемы более сложной, чем те, что поставлены в учебнике арифметики для четвертого класса. Так откуда же у тебя право решать за нас нашу судьбу?

— Лина, хватит. Я не хочу больше этого слушать.

— А я скажу тебе — откуда. Разница в телосложении, дает тебе право: мы, видишь ли, женщины, а ты — мужчина. Так вот послушай, милый мой малыш: этого вовсе не достаточно. Я уж не знаю, где ты раздобудешь остальное и какой благодетель тебя им снабдит, но попомни мои слова: разница в телосложении отнюдь не все, что тебе нужно. Он запретил Коринфянам выходить из дома, заставил ее отказаться от места, а человека того выселил как неплательщика да к тому же еще подал в суд и наложил арест на его заработную плату, и все это из-за тебя. Ты в точности такой, как он. В точности. Из-за него я не ходила в колледж. Боялась, как бы он не сделал чего с мамой. Ты один раз ударил его и думаешь, мы все считаем, будто ты за нее заступился? Ложь. Ты просто власть свою демонстрировал, чтобы все мы поняли: у тебя есть право распоряжаться ею и распоряжаться нами.

Она внезапно замолчала, и Молочнику стало слышно ее дыхание. Когда она заговорила снова, ее голос изменился: в нем уже не звучали металлические нотки, в нем струилась, в нем порхала музыка.

— Когда мы с Коринфянам были маленькими, еще до того, как ты родился, он однажды повел нас в ледник. Отвез нас на своем «Гудзоне». Мы были нарядно одеты, и на нас таращились во все глаза потные чернокожие люди. Мы держали в носовых платочках кусочки льда и потихоньку сосали его, чуть наклоняясь, чтобы не закапать платья. Там были и другие дети. Босые, голые до пояса, грязные. Но мы с Коринфянам стояли поодаль, около своей машины, в белых чулочках, с бантами, в перчатках. И когда он разговаривал с теми людьми, он все поглядывал на нас, на нас и на машину. На машину и на нас. Ты понимаешь, он взял нас туда, чтобы те люди увидели нас и позавидовали, нам позавидовали, ему. А потом какой-то мальчик подошел к нам и положил руку на голову Коринфянам. Она протянула мальчику кусочек льда, но не успели мы оглянуться, как увидели: он что есть духу мчится к нам. Он стукнул ее по руке, так что лед упал на землю, и тут же втолкнул нас обеих в машину. Сперва он выставил нас напоказ, потом выставил на позор. У нас вся жизнь такая: то, следуя его велению, мы гордо шествуем, словно девственницы по Вавилону, то он подвергает нас поношению, как вавилонских блудниц. Сейчас он снова вышиб кусочек льда из руки Коринфянам. А виноват в этом ты. — Магдалина, именуемая Линой, плакала. — Ты виноват. Ты нелепый, жалкий, глупый, себялюбивый, ненавистный человек. Я надеюсь,

разница в нашем телосложении сослужит тебе добрую службу, и прошу тебя, цени это преимущество, потому что другого тебе не дано. Только я хочу тебя предупредить. — Она вынула из кармана очки и надела. Ее глаза увеличились за линзами вдвое и стали очень светлыми и холодными. — Я перестала делать розы, и тебе в этом доме больше не удастся ни на кого помочиться.

Молочник промолчал.

— А теперь, — сказала она шепотом, — убирайся вон. Молочник повернулся и пошел к выходу. Неплохой совет, подумал он. Почему бы ему не последовать. Он затворил за собой дверь.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА 10

Когда Гензель и Гретель замерли на месте, увидев дом на лесной поляне, у них, наверное, от страха волосы зашевелились на затылке. А колени, наверное, так ослабели, что только лютый голод заставил их сдвинуться с места. И некому было предостеречь их и удержать: несчастные, подавленные горем родители находились в это время далеко. Поэтому они помчались что есть мочи к дому, где жила старуха, древняя, как смерть, хотя и шевелились у них на затылке волоски и подгибались коленки. Точно таким же образом голод может побудить к действию взрослого человека: колени перестанут у него подгибаться и перестанет частить сердце при одной лишь мысли, что он сможет сейчас утолить свой голод. В особенности если он алчет не имбирных пряников и не жевательной резинки, а золота.

Молочник, пригнувшись, прошел под черными ветвями грецкого ореха и направился к большому ветхому дому. Он знал: когда-то здесь жила старуха, — но сейчас не видел перед собой ни малейших признаков жизни. А между тем в густых зарослях мха, таких пышных, что он мог бы погрузить туда руку по локоть, жил полной жизнью не замечаемый им мир обитателей леса. Да, здесь царила жизнь, она ползала, пробиралась украдкой, сновала среди веточек мха и круглые сутки не смыкала глаз. Жизнь эта рыла норки и передвигалась скачками, но так бесшумно, что ее нельзя было отделить от зеленых стебельков, на которых она копошилась. Рождение, жизненный путь и смерть — все

это свершалось под покровом пушистой веточки, с ее обратной стороны. С того места, где стоял Молочник, дом выглядел так, словно его торопливо снедает безжалостный недуг, симптомы которого — темные, мокрые язвы.

За его спиной, всего лишь на расстоянии мили, пролежала мощенная щебенкой дорога, о чем время от времени напоминал, такой успокоительный сейчас, шум проезжающей автомашины — одна из них принадлежит преподобному Куперу, а за рулем сидит его тринадцатилетний племянник.

«В полдень, — так сказал ему Молочник. — Приедешь за мной в полдень». С тем же успехом он мог бы сказать — через двадцать минут, а сейчас, когда на него навалилось это безлюдье, эта мертвая, как кажется горожанам, тишина, он жалел, что не назначил пять минут. Но даже если бы мальчику не пришлось ради этой поездки отрываться от работы по дому, довольно странно взрослому мужчине отправиться за пятнадцать миль от Данвилла «по делу» и возвратиться в тот же миг.

Зря он сочинил такую сложную историю, стремясь скрыть истинную цель этой поездки: попадется кто-то любопытный и начнет во все вникать. К тому же ложь должна быть предельно простой, как и правда. Излишние подробности и впрямь излишни. Но он так устал после бесконечной тряски в автобусе — началась она в Питсбурге, сменив роскошное путешествие самолетом, — так устал, что от усталости перестарался, стремясь придумать нечто убедительное.

Воздушное путешествие взбодрило его, возродило склонность к иллюзиям и ощущение своей неуязвимости. Высоко над облаками, тяжелый и в то же время легкий, застывший в неподвижности огромной скорости («крейсерская скорость», сказал летчик), сидя в замысловатом металлическом сооружении, внезапно обернувшись сверкающей птицей, он не мог поверить, что когда-то совершал ошибки и способен их совершать. Одна лишь мысль слегка его огорчала: Гитара не летел с ним вместе. Ему бы тут понравилось — вид из иллюминатора, еда, стюардессы. Но Молочнику хотелось проверить все самому, без посторонней поддержки. Сейчас, именно сейчас ему захотелось действовать в одиночку. Здесь, в воздухе, оторванный от реальной жизни, он чувствовал себя свободным, но, когда перед отъездом он разговаривал с Гитарой, все кошмары

повседневности метались, хлопая его крыльями по лицу, и это его сковывало. Гнев Лины, волосы Коринфянам, распущенные, непричесанные, в довершение к тому она и губы тоже как-то распустила, скрытая опека матери, бездонная алчность отца, ввалившиеся глаза Агари — кто знает, может быть, он кое-что и заслужил, но уж совершенно точно, что все это ему обрыдло и нужно как можно скорей уезжать. О своем решении он рассказал Гитаре раньше, чем отцу.

— Папа думает, что мешочки до сих пор лежат в пещере.

— Все может быть. — Гитара маленькими глотками отхлебывал чай.

— Во всяком случае, есть смысл проверить. Хотя бы будем точно знать.

— Очень правильно все говоришь.

— Так вот, я и поеду.

— Один?

Молочник вздохнул.

— Угу. Один. Мне необходимо выбраться отсюда. Понимаешь, мне надо уехать, просто позарез.

Гитара поставил чашку на стол, сжал руки и уткнулся в них губами.

— Нам, по-моему, вдвоем было бы легче? Допустим, ты попадешь в какую-нибудь переделку...

— Оно-то, может быть, и легче, но, когда один человек бродит по лесам, это выглядит не так подозрительно, как если ходят двое. Если я найду там золото, я приволоку его сюда и мы разделим его в точности так, как условились. А не найду, ну что ж... хотя бы сам вернусь.

— Когда едешь?

— Завтра утром.

— Отец твои как относится к тому, что ты едешь один?

— Я еще не говорил ему. Пока что это знаешь только ты. — Молочник встал и, подойдя к окну, поглядел на ступеньки, ведущие к комнате Гитары. — А, пропади все пропадом!

Гитара внимательно поглядел на него.

— В чем дело? — спросил он. — Ты отчего не в духе? Разве так себя ведут, отправляясь в погоню за светлой мечтой?

Молочник повернулся к нему лицом и сел на подоконник.

— Надеюсь, что мечта и в самом деле светлая и что дорогу мне никто не перебежит — очень уж мне нужно осуществить ее, свою светлую мечту.

— Всем нужно.

— Мне больше всех.

Гитара усмехнулся.

— Вот сейчас тебя, похоже, и впрямь разобрало. Почище, чем вначале.

— Да, пожалуй, меня прикрутило сейчас хуже, чем тогда, а может быть, так же. Не знаю. Знаю я только одно: хочу жить самостоятельно. Мне надоело служить мальчиком на побегушках у моего старика. А пока я в этом городе, мне придется служить у него мальчиком на побегушках. До тех пор, пока у меня не заведутся свои деньги. Мне необходимо выметаться из дома, и, уезжая, я не хочу никому быть обязанным. Мое семейство меня скоро психом сделает. Папаша хочет, чтобы я был в точности как он и ненавидел мамашу. Мамаша хочет, чтобы я мыслил, в точности как она, и ненавидел папашу. Коринфянам не желает со мной разговаривать, Лина гонит меня вон из дома. Агари хочется приковать меня цепью к своей кровати или убить. От меня все чего-то хотят, понимаешь? Всем кажется: ни у кого другого им не удастся это получить. А у меня удастся, так они считают. Что это такое, я не знаю... То есть не знаю, чего же им на самом деле нужно от меня.

Гитара вытянул ноги.

— Им нужна твоя жизнь, приятель.

— Моя жизнь?

— Что же еще?

— Да знаешь, нет. Агари нужна моя жизнь. А старикам моим и сестрам... им нужно...

— Я не в том смысле. Я не говорю, что они хотят отнять у тебя жизнь; им нужно, чтобы ты жил для них.

— Совсем ты меня запутал, — вздохнул Молочник.

— А ты выслушай меня. На этом построено все наше существование. Жизнь черного человека нужна всем. Всем до единого. Белому мужчине одного только надо — чтобы черный был мертв или молчал, то есть вел себя, как мертвый. Белая женщина не лучше. Ей нравится, когда у нас «универсальное», общечеловеческое мировоззрение, а «национального самосознания» — ни-ни. Мы должны быть смирными, но не в постели. В постели — хоть с кольцом в носу. А за пределами постели мы, видишь ли, просто обыкновенные люди. Ты говоришь ей: «У меня линчевали отца», а она тебе: «Да, да, конечно, но ведь ты лучше линчевателей и должен об этом забыть». А черной женщине ты нужен весь без остатка. Они это именуют любовью... и пониманием. «Почему ты не понимаешь меня?» — это значит: не люби, кроме меня, никого на свете. «У тебя должно быть чувство ответственности», — говорит она, но это означает: не смей ходить туда, где меня нет. Ты хочешь взобраться на Эверест, она завяжет в узел твои веревки. Скажешь ей: я хочу опуститься на морское дно — просто так скажешь, ради проверки, — она тут же припрячет твой баллон с кислородом. Или без таких крайностей. Просто купи себе рожок и скажи: я хочу, мол, на нем играть. Ах, музыку они, конечно, обожают, но только после того, как ты выполнишь все остальные обязанности. И даже если ты все делаешь, как следует, если ты проявил редкое упорство и взобрался на вершину Эвереста или играешь на рожке, и притом ты хороший, замечательный, — им этого все равно недостаточно. Ты до того усердно дуешь в рожок, что вздохнуть не можешь, а ей нужны остатки твоего дыхания, чтобы ты ей рассказал, как ты ее любишь. Ей требуется все твое внимание. Ты рискуешь жизнью, а она говорит: пустяками занимаешься. Ее не любишь. Она не позволит тебе рисковать даже жизнью, понимаешь, твоей собственной жизнью, если только ты не

рискуешь ради нее. Ты и умереть-то не имеешь права, разве опять же ради нее. А зачем, скажи мне, дана человеку жизнь, если он даже не вправе выбрать, за что умереть?

— Никто не выбирает, за что ему умереть.

— Можно выбрать, на худой конец — попробовать.

— Ты какой-то желчный. Если у тебя такие настроения, зачем ты ввязался в эту числовую игру? Зачем тебе сохранять расовые пропорции и так далее? Каждый раз, когда я тебя спрашиваю, для чего ты все это делаешь, ты отвечаешь: во имя любви. Любви к неграм. А тут вдруг оказывается...

— Во имя любви, ну конечно, во имя любви. Ради чего же еще? Но ведь могу же я критиковать то, что люблю.

— Можешь, можешь, но тебя послушать — получается, между белыми и черными женщинами нет никакой разницы, кроме цвета кожи, — все хотят от нас одного и того же. Ты говоришь: тем и другим нужна наша жизнь, им нужно, чтобы мы только для них жили. Так почему же твои «Семь дней» насиляют и убивают белую женщину, если кто-то изнасиловал и убил цветную? Зачем тебе за нее мстить?

Гитара вскинул голову и покосился на Молочника. У него слегка раздулись ноздри.

— Потому что она — своя.

— Ага. Ну ясно. — Молочник даже не пытался скрыть недоверие, звучавшее в его голосе. — Все, значит, хотят нас убить, кроме черных мужчин, верно?

— Верно.

— Тогда почему же мой отец — мужчина в высшей степени черный — пытался убить меня еще до того, как я на свет родился?

— Может быть, он думал, что родится девочка, кто знает. Хотя, впрочем, и слепому ясно, что отец твой очень странный негр. Он пожинает то, что мы сеем, а мы не можем ему воспротивиться. Он

ведет себя, как белый, он рассуждает, как белый. Честное слово, я даже рад, что ты о нем заговорил. Может, ты мне объяснишь, каким образом он, после того как белые подонки отобрали у его отца имущество, ради которого тот вкалывал всю жизнь, и застрелили его прямо на глазах у собственного сына, — каким образом он, этот сын, может ползать перед ними на коленях? Почему он так их обожает? А Пилат? Она еще хуже. Во-первых, возвращается на родину подобрать кости какого-то белого подонка во искупление неведомо какой вины, во-вторых, оставляет в пещере золото, которое принадлежало этому подонку. Это что — добровольное рабство, как это назвать, скажи на милость? То-то ей так удалась роль тетушки Джемаймы.

— Послушай, Гитара. Начнем с того, что моему отцу глубоко наплевать, жив ли белый человек или дал дуба. Он просто хочет для себя того же, чего хотят они. А Пилат, конечно, немного с приветом, но ведь она хотела нас выволить. Не разыграй она эту комедию, мы с тобой оба до сих пор грели бы зад на тюремных нарах.

— Не оба, а один. Она не меня, а тебя вызволяла.

— Да будет тебе. Это же просто несправедливо.

— Точно. Справедливость — одна из тех вещей, в которые я перестал верить.

— Но Пилат? За что ты на нее? Она же знала, что мы сделали, и все-таки пришла в участок и выручила нас. Унижалась, пресмыкалась, паясничала — все ради нас. А ее лицо ты видел? Тебе хотя бы раз в жизни приходилось видеть такое лицо?

— Один раз. Один только раз, — сказал Гитара. И он вспомнил, как улыбалась мать, когда тот белый вручал ей четыре десятидолларовые бумажки. В ее глазах светилось что-то большее, чем благодарность. Явно большее. Может, и не любовь, но желание любить. Его отца на лесопильном заводе разрезало вдоль тела пополам. Рабочие рассказывали — он сам слышал, — что обе половинки тела даже не сложили вместе, а поместили в гроб разрезанной стороной книзу, целой — кверху. Одна половина лица повернута к другой. Глаз смотрит прямо в глаз. Ноздри тянутся одна к другой. Правая щека — против левой щеки. Правый локоть подпирает левый локоть. И он, совсем

ребенком, беспокоился тогда, что, когда отца его пробудят в Судный день, он первым делом увидит не рай, не величественную голову господа бога и даже не радугу. Он увидит свой собственный глаз.

Несмотря на все это, мать улыбалась и выказывала готовность любить человека, по чьей вине отец был навечно разделен на две половинки. Нет, не благостность жены мастера причина того, что его всю жизнь мутит от сладкого. Жена мастера приходила к ним позже. Его мутило оттого, что вместо денег по страховке владелец лесопильного завода дал матери сорок долларов «перебиться на первое время вам с ребятишками» и она приняла их с радостью и купила им всем в самый день похорон по большому мятному леденцу на палочке. Две сестренки Гитары и маленький братишка старательно обсосали свои — белые, как косточка, и красные, как кровь, — леденцы, а Гитара и притронуться не смог. Он держал леденец в руке, пока тот не прилип к ладошке. Целый день держал. На кладбище, на поминках и потом всю бессонную ночь. Над ним подшучивали, называли жадюгой, а он не мог ни съесть, ни выбросить его, пока не вышел наконец во двор в отхожее место и там бросил леденец в зловонную дырку.

— Один раз, — ответил он. — Только раз. — И тотчас его опять замутило. — Вот в этом-то и беда, — сказал он, — Да еще какая. Не позволяй ты всяким Кеннеди тебя дурачить. И скажу тебе по правде: я надеюсь, твой папаша не ошибся насчет того, что золото так и лежит в пещере. И я очень даже надеюсь, ты не будешь дурить и притащишь его сюда.

— Как прикажешь тебя понимать?

— Понимай меня так, что я очень волнуюсь. Сильно волнуюсь. Монета нужна позарез.

— Если ты совсем уж на мели, я мог бы тебе...

— Не мне, приятель. Нам. У нас стоит работа. А тут совсем недавно, — Гитара хмуро взглянул на Молочника, — совсем недавно одного из наших выставили из дому, и сделал это некто, чье имя я вполне могу не называть. На жалованье этого человека наложен арест, потому как некто заявил, что тот два месяца не платит за комнату. Этому «некто» нужна квартирная плата за дыру в стене — двенадцать футов на

двенадцать - как рыбе зонтик. Значит, нам придется позаботиться о нашем человеке, подыскать ему жилье, уплатить так называемую задолженность и...

— Это я виноват. Я расскажу тебе, как было...

— Не надо. Не рассказывай мне ничего. Не ты владелец дома, и не ты его выгнал. Ты, может, и сунул папаше ружье, но курок ты не спускал. Я тебя ни в чем не обвиняю.

— Почему? Ты уже высказался о моем отце, о его сестре и о моей сестре бы стал высказываться, если бы я тебя не остановил. Почему ты мне так доверяешь?

— Деточка, надеюсь, мне никогда не придется в этом раскаяться.

На том и кончился, вполне благополучно, их невеселый разговор. Друзья не перессорились и не сказали ничего непоправимого. Когда Молочник уходил, Гитара, как обычно, протянул ему раскрытую ладонь, и Молочник по ней хлопнул. Рукопожатие на сей раз оказалось слабым, возможно от усталости.

В питсбургском аэропорте он обнаружил, что до Данвилла двести сорок миль на север, а из всех видов общественного транспорта туда ходит только автобус.

Хочешь не хочешь, пришлось прервать комфортабельное путешествие по воздуху, добраться на такси до автобусной станции и промаяться два часа до отправления автобуса. Эти два часа безделья, в течение которых он перелистывал иллюстрированные журналы да пригуливался по ближним улицам, совершенно его вымотали. Он уснул через пятнадцать минут после того, как они выехали из Питсбурга. Проснулся уже под вечер — до Данвилла оставался всего час езды. Отец восторженно описывал ему красоту здешних мест, но Молочник вынес впечатление, что тут просто зелено, близится к концу бабье лето и, хотя местность эта расположена гораздо южнее их города, здесь почему-то холодней. Наверно, оттого, что горы близко, подумал он. Несколько минут он пытался любоваться природой, но вскоре, как истому горожанину, ему прискучило ее однообразие. Вот лесистая местность, а вот — без единого деревца, эти поля зеленые, а эти — нет,

и дальние холмы ничуть не отличаются от холмов, расположенных поближе. Затем он стал рассматривать дорожные указатели — названия городов, до которых осталось проехать двадцать две мили прямо, семнадцать миль на восток, пять миль на северо-восток. И названия железнодорожных узлов, округов, разъездов, мостов, станций, туннелей, гор, рек, ручьев, пристаней, охотничьих заповедников и контрольных постов. Все знают, куда едут и зачем, подумал он, вне всякого сомнения, те, кому нужен Дадберри-Пойнт, знают, где он находится.

В его чемодане лежало две бутылки «Катти Старк», там же находились две рубашки и две-три смены нижнего белья. На обратном пути, подумал он, мой чемодан будет как следует нагружен. Зря он сдал его В багажное отделение, сейчас недурно бы промочить горло. Он взглянул на часы — мать подарила ему золотые, швейцарские, — обнаружил, что до ближайшей остановки еще минут двадцать, не меньше. Он откинулся, оперся затылком о подголовник и постарался уснуть. У него глаза слипались — слишком долго он вглядывался в монотонный ландшафт за окном.

В Данвилле он не без удивления обнаружил, что автобусная станция представляет собой закусочную на обочине 11-го шоссе, где хозяин продает билеты на автобус, гамбургеры, кофе, сыр и крекеры на арахисовом масле, сигареты, конфеты и холодные мясные закуски. Здесь не было ни запирающихся шкафчиков, ни багажного отделения, ни такси, и, как он вскоре уяснил, мужского туалета также.

Тут он понял: он в дурацком положении. Что ему делать, скажите на милость? Поставить на пол чемодан и спросить у хозяина: «Где тут пещера, расположенная неподалеку от фермы, на которой жил мой отец пятьдесят восемь лет тому назад?» Он ни с кем здесь не знаком, не знает ни одной фамилии, кроме имени старушки, теперь уже давно умершей. И, решив, что он и так уже привлек к себе достаточно внимания, появившись в этом захолустном городке в бежевом костюме-тройке, в голубой рубашке на пуговицах, в черном галстуке шнурком и в роскошных туфлях от Флорсхейма, осведомился у хозяина закусочной, можно ли оставить у него чемодан. Тот изумленно воззрился на чемодан, как видно, обескураженный этим вопросом.

— Я заплачу, — сказал Молочник.

— Ну что ж, оставьте. Примостите его вон за теми ящиками. Заберете-то когда?

— Сегодня вечером.

— Ладно. Где поставили, там он и будет стоять. Молочник вышел из закусочной (она же автобусная станция), держа в руках лишь небольшую сумку с бритвенными принадлежностями, и зашагал по Данвиллу, штат Пенсильвания. Конечно, он и в Мичигане бывал в подобных городках, но лишь затем, чтобы заправить машину бензином. На улице оказалось три магазина, и все они уже были закрыты. Четверть шестого, а на обоих тротуарах человек двенадцать, не больше. Один из них негр. Высокий мужчина, пожилой, в коричневой фуражке и в старомодном воротничке. Молочник двинулся за ним следом, догнал немного погодя и с улыбкой обратился к нему:

— Послушайте, вы не смогли бы мне помочь?

Тот обернулся, но ничего не ответил. Молочник уж подумал, не обидел ли он чем-нибудь его. Но после паузы прохожий кивнул и сказал:

— Что смогу — сделаю. — Говорил он с местным выговором, слегка нараспев, так же как белый буфетчик.

— Мне нужно найти... Цирцею, женщину по имени Цирцея. Собственно, не ее саму, а ее дом. Вы случайно не знаете, где она жила? Я не из вашего города, приехал только что автобусом. Я тут у вас по делу, по поводу страхового полиса, и мне нужно навести кое-какие справки относительно ее имущества.

Прохожий слушал и, по всей видимости, не собирался его перебивать, поэтому Молочник довольно складно закончил свои объяснения, снова повторив: «Вы не можете помочь мне?»

— Преподобный Купер, наверное, знает, — сказал прохожий.

— А где его найти? — Молочнику казалось, разговор идет как-то не так.

— Стоун-Лейн. Сперва вот этой улицей пойдете, и упретесь в почту. Почту обойдете, будет Виндзор. А следующая улица — Стоун-Лейн. Там он и живет.

— Рядом с домом — церковь? — Молочник исходил того, что священник, вероятно, живет рядом с церковью, в которой проповедует.

— Нет-нет. При нашей церкви нет дома для священника. Преподобный Купер живет на Стоун-Лейн. Дом вроде бы у него желтый.

— Спасибо, — сказал Молочник. — Большое вам спасибо.

— Не стоит благодарности, — ответил прохожий. — Будьте здоровы. — И зашагал прочь.

Молочник подумал, не вернуться ли за чемоданом, решил не возвращаться и пошел в ту сторону, куда указал прохожий. Американский флаг помог ему опознать помещение почты, рядом с которой находилась аптека-закусочная, служившая также конторой телеграфной компании «Уэстерн юнион». Он свернул налево, но почему-то нигде не было табличек с названиями улиц. Интересно, как же он разыщет без табличек эти самые Виндзор и Стоун-Лейн? Он прошел от начала до конца одну улицу, потом другую, потом еще одну и уже готов был вернуться в аптеку и попросить там телефонную книгу, как вдруг увидел желто-белый дом. Может быть, этот, подумал Молочник. Он поднялся на крыльцо, решив вести себя как можно более учтиво. Вору необходимо быть обходительным и снискать расположение хозяев.

— Добрый вечер. Преподобный Купер дома? — спросил он женщину, которая стояла на пороге.

— Дома, дома. Входите, пожалуйста. Сейчас я его позову.

— Благодарю вас. — Молочник вошел в тесную прихожую.

Вскоре появился невысокий круглолицый человек, он протирает очки.

— Слушаю вас, сэр. Вы хотели меня видеть? — Священник быстрым взглядом окинул бежевый костюм. Молочника, но в его голосе не ощущалось особого любопытства.

— Да. Мм... Как поживаете?

— Хорошо. Превосходно. А вы?

— Ничего, — смущенно ответил Молочник — он и в самом деле смущался. Никогда до сих пор ему не приходилось стараться произвести приятное впечатление на незнакомого человека, никогда ему ничего не было нужно от незнакомых людей, и он, право же, не мог припомнить, чтобы хоть раз в жизни у кого-то спрашивал, как тот поживает. Пожалуй, сразу объясню ему все, подумал он. — Мне кажется, вы могли бы помочь мне, сэр. Меня зовут Мейкон Помер. Отец мой родом...

— Помер? Вы сказали, Мейкон Помер?

— Да. — Молочник виновато улыбнулся — угораздило же их обзавестись такой фамилией. — Мой отец...

— Вот так штука! — Преподобный Купер снял очки. — Вот так штука! Эстер! — громко позвал он из комнат жену, не поворачивая головы и не сводя глаз с гостя. — Эстер, пойді сюда! — Потом Молочнику: — Я знал вашу родню. — Молочник улыбнулся, напряжение прошло, он даже немного ссутулился. Приятное это чувство — явиться в чужой город и встретить незнакомца, который знал твою родню. В этом слове есть что-то такое, от чего за живое берет: «Сам я тут живу, но моя родня...», или: «А живет тут кто-нибудь из вашей родни?» Он это слышал, чувствовал, но прежде не понимал, что это означает — узы. Вспомнилось, как Фредди перед рождеством пожаловался ему в «Магазине Санни»: «Из моей родни никто меня не примет». Молочник просиял:

— Да что вы говорите?

— Садитесь же, садитесь вот сюда, мой мальчик. Я знал Мейкона Помера, вашего отца. Ну не скажу, что мы с ним были так уж хорошо знакомы. Ваш бабушка был на четыре-пять годков меня постарше, и в город их семейство ездило не очень часто, но старика у нас тут помнят все. Старого Мейкона Помера, вашего деда. С моим отцом они очень дружили. Мой батюшка был кузнецом. Из всей нашей семьи только я стал священником. Так, так, так. — Преподобный Купер Широко улыбнулся и принялся потирать колени. — Господи, да что же это я? Вы, наверное, есть хотите? Эстер, займись, пожалуйста, накорми нашего гостя.

— Нет-нет, что вы! Благодарю вас, я сыт. Вот выпить, я, пожалуй бы, немного выпил, то есть я имел в виду, если что-нибудь такое есть...

— Ну конечно же. Конечно. Напитки у нас, увы, деревенского производства, но... Эстер! — Она уже шла к кухне. — Принеси сюда стаканы и достань из буфета виски. У нас гость — сынок Мейкона Помера, и он утомился и хочет выпить. Расскажите же, как вы меня разыскали? Неужели ваш батюшка помнит меня?

— Вполне возможно, но просто я встретил на улице одного человека, и он мне рассказал, как вас найти.

— А вы спросили у него, где я живу? — Преподобный Купер хотел знать все подробно. Он уже прикидывал в уме, как будет излагать эту историю друзьям: в дом к нему явился незнакомец, незнакомец этот о нем расспрашивал...

Вошла Эстер с подносом для кока-колы, на котором стояли два стакана и большая банка из-под майонеза, наполненная чем-то похожим на воду. Преподобный Купер разлил жидкость по стаканам, не разбавив и не охладив. Ни кусочка льда, ни глотка воды, просто чистейшее хлебное виски, от которого Молочника словно ожгло огнем.

— Нет, сэр. Я не называл этому прохожему вашего имени. Я спросил, не знает ли он, где жила женщина, которую звали Цирцея.

— Цирцея? Ну и ну! Старушка Цирцея!

— А он мне посоветовал поговорить с вами.

Преподобный Купер улыбнулся и опять налил в стаканы виски.

— Тут меня каждый знает, и я знаю всех.

— Так вот, как вам, очевидно, известно, эта женщина на время приютила моего отца, когда его отца... когда... после того, как его отец умер.

— Отличная была у них ферма. Превосходная. Сейчас она принадлежит одному семейству, белым. Вообще-то говоря, они того и добивались. Поэтому его застрелили. Многие встревожились тогда, все

наши жители. И напугались. Кстати, я не ошибаюсь, была у вашего отца сестра по имени Пилат?

— Совершенно верно, сэр, Пилат.

— Что она, жива?

— Вполне. Даже очень жива.

— Да что вы? Хорошенькая девочка была, просто прелесть. Это мой папаша изготовил для нее серьгу. Так мы и проводали, что они живы. Ведь когда убили старого Мейкона Помера, никто не знал, не убили ли заодно и детей. Несколько недель уже прошло, и вдруг Цирцея является в кузницу к моему отцу. Как раз напротив того места, где сейчас почта, стояла папашина кузница в те времена. Цирцея принесла маленькую металлическую коробочку, а в ней лежал свернутый клочок бумажки, оторванный от бумажного мешка. На бумажке было написано имя: Пилат. Цирцея ничего не рассказала моему папаше, просто попросила сделать из коробочки серьгу. Она украла брошку у своих хозяев. Папаша щипчиками откусил от брошки золотую буланку и припаял к коробочке. Так мы и узнали, что ребята живы и что Цирцея приютила их. Ну, а если они у Цирцеи, значит, все в порядке. Она работала служанкой у Батлеров — белые люди, богачи, — но, кроме того, в те времена была еще и повивальной бабкой. Всех детей тут у нас принимала. В том числе когда-то и меня приняла.

Может быть, опять сказалось виски, от которого, когда Молочник его пил, все окружающие становились необыкновенно добры, но он слушал сейчас с радостным волнением историю, которую совершенно равнодушно выслушивал уже не раз. А может, оттого, что события происходили здесь, история обрела реальность. Когда Пилат на Дарлинг-стрит рассказывал о лесах, пещерах, самодельных серьгах или когда отец объяснял, как надо жарить дикую индейку, и словам его вторил гул машин на Недокторской, все это представлялось экзотичным, из другого мира и других времен, а может быть, даже и вымыслом. Здесь же, в доме преподобного Купера, расположившись рядом с пианино в кресле с плетеным из тростника сиденьем и попивая самодельное виски, которое проповедник наливал из майонезной банки, Молочник чувствовал — все оживло. Он прошел, не зная об этом, в двух шагах от того места, где много лет назад

смастерили серьгу для его тетки, ту серьгу, на которую он еще мальчишкой смотрел как замороженный, металлическую коробочку, к которой Цирцея попросила приделать золотую булавку, после чего все местные негры догадались, что дети убитого фермера живы. А он сидит сейчас в гостиной сына того человека, который изготовил когда-то серьгу.

— А что, поймали тогда тех людей, которые это сделали... его убили?

Священник изумленно вскинул брови.

— Поймали? — переспросил он. Затем снова улыбнулся. — А зачем их ловить? Они ведь никуда не убегали.

— Я хотел спросить, судили их? Арестовали?

— Арестовали? За что? За то, что прикончили какого-то черномазого? Ты откуда приехал, сынок?

— То есть как... им ничего за это не было? Здешние власти даже не пытались узнать, кто убил?

— Все знали, кто его убил. Батлеры — те самые, у которых работала служанкой Цирцея.

— И никто, ни один человек им ничего не сделал? — Странно, почему это его так возмущает? Он совсем не возмущался, когда услышал об убийстве впервые. Почему же он так возмущается сейчас?

— А что можно было сделать? Белым все равно, а черным боязно. Полиции, такой, как нынче, тогда не было. Сейчас всем этим ведает окружной шериф. А тогда что ж? Устроят выездную сессию суда один раз в год, ну самое большее — два. Кроме того, тем людям, что его убили, принадлежала половина земли в нашем округе. Участок Мейкона вклинивался в ихние владения. Так что узнали мы: ребята живы, — и на том спасибо.

— Вы говорите, Цирцея работала у людей, которые его убили. Она знала это?

— Как же не знать?

— И поселила детей в их доме?

— Она же не открыто их поселила. Тайком.

— Но они находились в одном доме с убийцами, верно?

— А чего ж, лучшего места, я бы сказал, не найти. Если б они в город заявили, их бы кто-нибудь увидел. А там и в голову никому не приходило их искать.

— А папа... а отец мой знал об этом?

— Я не знаю, знал или не знал и сказала ли ему Цирцея хоть словечко. После убийства я его ни разу не видел. Его никто из здешних жителей не видел.

— Где они, эти Батлеры? По-прежнему здесь живут?

— Все перемерли. Все до единого. Последняя, Элизабет, их дочка, года два назад померла. Бесплодна, как скала, была она, сынок, и так же, как скала, стара. Каждому по заслугам воздается, сынок. Пути господни неисповедимы, но, если человек прожил до конца срок, отпущенный людям, просто прожил весь свой срок до старости, он увидит: непременно воздается по заслугам. То, из-за чего люди идут на воровство или на убийство, не принесет им пользы. Ни капельки пользы не принесет.

— Меня не волнует, была ли им польза. Важно то, что они принесли людям вред.

Преподобный Купер пожал плечами.

— В ваших краях белые по-другому себя ведут?

— Да нет, едва ли... Правда, иногда можно что-то сделать в знак протеста.

— Что же можно сделать? — Лицо преподобного Купера выражало неподдельный интерес.

На вопрос этот Молочник мог ответить только то, что слышал от Гитары, поэтому он промолчал.

— Вот, взгляни-ка. — Священник повернулся к нему затылком и показал торчавшую за ухом шишку величиной с грецкий орех. — Я и кое-кто еще из наших как-то отправились в славный город Филли^[17] принять участие в параде в честь Дня перемирия. Было это после первой мировой войны. И приглашение, и разрешение у нас имелось, но жителям, белым жителям, не понравилось, что мы заявили туда. И затеяли они заваруху. Камнями, понимаешь, стали в нас швырять, обзывать по-всячески. Блюстителей порядка они, как видно, не боялись. Конная полиция, однако, прибыла. Утихомирить этих хулиганов — так мы решили сперва. Только нет — они на нас поперли. Подмяли прямо под копыта лошадей. Видишь, от копыт какие следы остаются? Ничего себе отметинка?

— Господи боже!

— Ты, надеюсь, сюда приехал, сынок, не для того, чтобы сводить счета? — От любопытства священник подался вперед, насколько позволяла дородность.

— Нет. Я просто мимо проезжал. Вот и решил завернуть по дороге. Ферму захотелось посмотреть...

— Сводить счета там уже не нужно. Цирцея рассчиталась за все.

— Что же она сделала?

— О! Лучше спроси, чего она не сделала.

— Жаль, я раньше сюда не выбрался, не повидался с ней. Она, наверное, прожила лет до ста.

— Больше. Сто ей стукнуло, когда я был мальчонкой.

— А ферма далеко от города? — спросил Молочник с напускным безразличием.

— Не очень.

— Я бы не прочь там побывать, раз уж попал в эти края. Папа мне так много рассказывал о ферме.

— Она сразу за участком Батлеров, от города примерно миль пятнадцать. Пожалуй, я сам же тебя отвезу. Мой драндулет сейчас на ремонте, но он вроде бы завтра будет готов. Надо справиться.

Молочник ждал целых четыре дня, пока автомобиль не вышел из ремонта. Четыре дня он прожил в доме преподобного Купера в качестве гостя и объекта продолжительных визитов всех живущих в городке стариков, из которых одни помнили его отца, другие — деда, а кто-то просто о них слышал. Все они обсуждали ту давнишнюю историю, припоминали разные подробности, вертели их то так, то сяк и все рассказывали, как прекрасна была когда-то «Райская обитель Линкольна».

Сидя на кухне, глядели на Молочника слезящимися глазами и с такой любовью, с таким благоговением говорили о его дедушке, что Молочник начал огорчаться: жаль, не пришлось ему увидеть этого старика. Ему вспомнились слова отца: «Я все время работал рядом с отцом. Все время рядом с ним». Тогда Молочник подумал, что отец хочет похвастать: мол, еще ребенком он выполнял работу взрослого мужчины. Сейчас он понял: речь шла совсем не о том. А о том, что он любил отца, что был с ним душевно близок, что и отец любил его, доверял ему, считал его достойным работать с ним рядом. А еще Мейкон сказал: «Во мне что-то окаменело, когда он упал на землю».

Если в день приезда в город Молочник притворился огорченным, когда преподобный Купер ему доказал, как бесперспективна для них попытка «что-то сделать», то сейчас ему уже не нужно было притворяться. Старики помнили обоих Мейконов Померов и считали их необыкновенными людьми. Припоминали они и Пилат, хорошенькую девочку, которая росла на вольной воле и которую «ну никакая сила не заставила бы надеть башмаки». Лишь один из стариков помнил его бабку. «Красивая она была, только больше на белую похожа, может, индианка. Волосы черные, раскосые глаза. От родов она умерла, так-то». Чем больше разговаривали старики, чем больше он узнавал об единственной в округе ферме, на которой росли персики, самые настоящие персики, как в Джорджии, о том, как пировали там после охоты, как резали зимой свиней и как работали, работали, не жалея себя, думая лишь об одном — о ферме, — чем больше он все это слушал, тем больше ему казалось: что-то он в своей жизни упустил. Старики рассказывали, как на ферме рыли колодец, ставили силки, валили деревья, жгли в саду костры, если весна выпадала холодная, объезжали молодых лошадей, натаскивали собак. И все это умел делать его родной отец, второй Мейкон Помер, их сверстник; он был силен, как бык, он мог скакать на неоседланной лошади,

он — твердили они в один голос — бегал быстрее, пахал глубже, стрелял более метко, проворнее орудовал киркой, ездил верхом лучше, чем любой из них. Молочник не узнавал сурового, скупого, жесткого человека в том парнишке, о котором рассказывали старики, но ему нравился этот паренек из их рассказов, нравился и отец этого паренька, построивший амбар с шатровой крышей, посадивший в саду персики и по воскресеньям на рассвете отправлявшийся рыбачить в своем четырехакровом пруду.

Старики на кухне говорили без конца, а Молочник служил чем-то вроде зажигания, приводившего в движение мотор старческой памяти. Добрые времена, тяжелые времена, вот это изменилось, а это осталось, как прежде, но над всем, над всем, словно утес, возвышался Мейкон Помер, могущественный, рослый. И Молочнику казалось, что с часа его смерти началось умирание тех, кто вспоминал теперь о нем, хотя они были в те времена совсем молодыми парнишками. Но они уже тогда хотели стать такими фермерами, как Мейкон Помер, который соорудил на своем участке хитроумную оросительную систему, развел там персики, резал свиней, жарил диких индеек и мог вспахать легко и скоро сорок акров и при этом петь, как ангел. Он явился к ним невесть откуда, невежественный, как кувалда, нищий, как арестант, и привез с собой лишь бумагу из управления по делам невольников, получивших свободу, Библию и красивую черноволосую жену, а уже через год он взял в аренду десять акров и еще десять на следующий год. Через шестнадцать лет он стал владельцем лучшей фермы в округе Монтур. Эта ферма расцветила их жизнь яркой краской и взывала к ним, как проповедь. «Вы видите? Вы видите, чего можно добиться? Пусть не тревожит вас, что вы не умеете отличить одну букву от другой, что вы рождены рабами, что утратили данные вам при рождении имени, что отцы ваши умерли, ни о чем не печальтесь. Взгляните, взгляните, что может сделать человек, если всей душой захочет этого и не побоится труда. Так что хватит хныкать», — взывала к ним ферма. «Смелее, хватайте удачу за хвост, а не выйдет — так хватайте неудачу. Мы живем здесь. На этой планете, в этом государстве, в этом самом округе. Здесь наш дом, другого у нас нет! Он тут, в этих горах, наш дом, неужели вы не понимаете? Никто не голодает в моем доме, в моем ломе никто не плачет, и если у меня есть дом, то не бездомны и вы. Так не теряйтесь же. Захватывайте поскорее эту землю! Берите ее, братья, держите ее крепко, трясите, сдавливайте, выворачивайте ее, вертите так и сяк, бейте, пинайте, целуйте ее, хлещите ее кнутом, раскорчуйте ее, вскопайте, вспашите, засейте, снимите с нее урожай, сдайте ее в аренду, покупайте ее, продавайте, владейте ею, застраивайте ее, приумножайте и передавайте своим детям... Вы слышите? Передавайте ее детям своим!»

Но пришли белые люди, вlepили фермеру в голову пулю и съели его персики. И старики — тогда еще мальчишки — начали умирать и

умирают до сих пор. Они смотрели на Молочника и всей душой чего-то ждали. Ждали слова, которое сделает сон явью и приостановит их многолетнее умирание. Вот почему Молочник начал рассказывать им об отце, о мальчике, которого они когда-то знали, сыне легендарного Мейкона Помера. Он немного привирал и видел: они оживают. Его отец — домовладелец, у него столько-то домов (старики заулыбались); каждые два года он покупает новый автомобиль (старики радостно хохочут); а когда Молочник рассказал им, как отец «чуть было не купил железнодорожную компанию «Эри Лакаванна» — так звучало эффектнее, — они взвыли от восторга. Да, это он! Сын старика Мейкона Помера, вылитый папаша! Они хотели знать о нем все, и Молочник с бойкостью счетовода сыпал цифровыми данными о домах и земельных участках, принадлежащих его отцу, называл сумму общего дохода от сдачи домов и участков внаем, описывал разные сделки, банковские ссуды и эту новую штуку, к которой пока еще лишь приглядывается отец, — биржу.

И вдруг в разгар всех разговоров Молочнику захотелось как можно скорей добраться до золота. Встать сейчас же, сию же минуту, пойти в пещеру и унести его. Побегать туда пешком, забрать все золото до крошки прямо из-под носа этих Батлеров, самодовольных тупиц, вообразивших, будто, убив одного человека, они уничтожили весь его род. Восхищение стариков распалило его, и он заискрился спесью.

— На ком женился твой папаша?

— На дочери самого богатого темнокожего врача в нашем городе.

— Да, это он! Вылитый Мейкон Помер-старший.

— Посылал тебя небось учиться в колледж?

— В колледже учились мои сестры. А я работаю в конторе у отца.

— Га-а! Оставил тебя дома, чтобы ты помогал ему богатеть. Мейкон Помер всегда старался разбогатеть!

— А какая у него машина?

— «Бьюик двести двадцать пять».

— Милостивый боже, два куска да еще четвертная! Какого года выпуска?

— Этого года.

— Да, это он! Вылитый Мейкон Помер! Чуть было не купил компанию «Эри Лакаванна». Захотел бы, так и купил! Уж это точно. Спорим, он у ваших белых в печенках сидит. Они же с ним поделаться ничего не могут! Мейкона Помера не изведешь! Ни на этом, ни на том свете. Он им еще даст прикурить! «Эри Лакаванна»! Ого!

Подошел долгожданный день поездки, но преподобный Купер не смог с ним поехать. Проповеди приносили скудный доход, и старик подрабатывал на погрузочных работах. Как раз накануне его вызвали к утренней смене. Довезти Молочника до фермы — настолько близко, насколько позволит дорога, — поручили племяннику Купера, называемому просто Племянник, поскольку других не имелось. Племяннику исполнилось всего тринадцать лет, и, когда он вел машину, его лицо находилось на одном уровне с баранкой.

— У него есть водительские права? — спросил Молочник у миссис Купер.

— Нет еще, — ответила она; Молочник ужаснулся, и она пояснила, что фермерские ребята рано садятся за руль — так уж приходится.

Молочник и Племянник отправились в путь сразу после завтрака. Они проехали битый час, так как дорога разделилась на два узких проселка и они целых двадцать минут тащились за грузовичком, который им никак не удавалось обойти. Племянник оказался неразговорчивым. Пожалуй, он проявлял интерес лишь к одежде своего пассажира и пользовался каждым случаем повнимательней ее рассмотреть. Молочник решил подарить ему одну из своих рубашек и, когда они проезжали мимо автобусной станции, попросил Племянника на обратном пути зайти на станцию и забрать чемодан.

Но вот Племянник затормозил на пустынном участке дороги — ни единого дома кругом.

— Ты что? Хочешь, чтобы я тебя сменил?

— Нет, сэр. Это уже тут.

— Что это? Где?

— Вон там. — Он указал на видневшиеся в стороне от дороги кусты. — Там тропка есть, она ведет через кустарник к участку Батлеров, а за кустарником ихняя ферма. Вам придется идти пешком. Машина тут не пройдет.

И действительно, Молочник с трудом пробирался по заросшей кустарником, твердой, как камень, тропе. Он попросил было Племянника подождать, полагая, что пока лишь наскоро осмотрится, а потом вернется уже один. Но мальчик заявил, что дома его ждут дела и что он лучше снова приедет сюда за Молочником в любое удобное ему время.

— Через час, — сказал Молочник.

— Я за час только до города доеду, — возразил Племянник.

— Преподобный Купер обещал мне, что ты меня отвезешь. Отвезешь, а не бросишь одного на дороге.

— Мать меня выпорет, если я не сделаю, чего она велела.

Молочник был недоволен, однако ему не хотелось, чтобы мальчик подумал, будто он боится оставаться тут один, и поэтому он согласился, чтобы Племянник возвратился за ним — тут он взглянул на свои массивные часы с монограммой, — допустим, к полудню. Было девять часов утра.

Едва Молочник, пригнувшись, вступил в тень ореховых деревьев, их черные ветви сбили с него шляпу, и теперь он нес ее в руке. На брюках проступили темные пятна, после того как он добрую милю продирался по влажному кустарнику. Тишина стояла такая, что просто гремело в ушах. Ему было беспокойно и немного страшновато, но золото маячило перед ним, как лица стариков, с которыми он накануне вечером пил виски, и, отбросив колебания, он решительно ступил на посыпанную гравием, усеянную палой листвой подъездную дорогу, окружавшую самый громадный дом, какой он в своей жизни видел.

Вот где они прятались, подумал он, в этом доме Пилат расплакалась, когда ее угостили вишневым вареньем. Он немного постоял перед домом. В то время дом, вероятно, был прекрасен и детям показался роскошным, как дворец, но Молочник никогда не слышал ни от отца, ни от тетки никаких отзывов об этом доме, кроме того, что они чувствовали себя там, будто в тюрьме, что тяжело было видеть небо только из окна, что им противны были ковры и шторы. Дети, не зная, кто убил их отца, испытывали инстинктивное отвращение к дому, принадлежавшему его убийцам. А и в самом деле он похож на дом убийцы. Полуразвалившийся, темный, зловещий. С тех давних пор, когда, выскользнув из гостиной, он становился на колени у подоконника и мечтал научиться летать, он ни разу не чувствовал себя таким одиноким. Одно из окон на втором этаже не заросло плющом, и оттуда на него взглянули глаза ребенка. Молочник улыбнулся. Должно быть, я увидел самого себя, вспоминая, как глядел из окна на небо. А может, это игра света, солнечный луч пробился сквозь деревья. Четыре изящные колонны поддерживали портик, а на двойной огромной двери сразу бросался в глаза увесистый медный дверной молоток. Он приподнял молоток и опустил; ни звука — словно дождевая капля просочилась в хлопок. Ничто не шелохнулось. Он оглянулся на тропинку и увидел зеленую утробу, из которой только что вышел, зеленовато-черный тоннель, глухой, без конца, без просвета.

Ферма, как ему сказали, находилась сразу же за домом Батлеров, но, зная, насколько своеобразны представления здешних жителей о расстоянии. Молочник решил поспешить. Если он найдет то, что ищет, он вернется сюда ночью, во-первых, захватив необходимое снаряжение, а во-вторых, уже несколько ознакомившись с местностью. Неожиданно для себя он попробовал повернуть дверную ручку. Она не поворачивалась. Он двинулся было прочь, как вдруг — совсем уж непонятно для чего — ткнул в дверь рукой, и она распахнулась со вздохом. Он заглянул в прихожую, но ничего не увидел, главным образом из-за вони, а не темноты. Здесь разило каким-то волосатым зверьем, смрад стоял густой, удушливый, едкий. Молочник закашлялся и огляделся, куда бы сплюнуть — мерзкий запах проник ему в рот, обволакивал язык, зубы. Он вынул из кармана носовой платок, прижал к носу, попятился от распахнутой двери, и его затошнило, начало уже рвать, как вдруг вонь исчезла, неожиданно сменившие пряным ароматом духов. Он походил на запах имбирного корня: приятный,

пленительный, чистый. Изумленный и очарованный, Молочник вернулся и вошел в дом. Всмотревшись, он разглядел огромную прихожую, устланную наборным паркетом, а в дальнем ее конце широкую лестницу, спиралью уходившую в темноту. Сперва он увидел нижние ступени, затем его взгляд поднялся выше.

В детстве он, как и все дети, видел страшные сны, ему снилось, что за ним гонится ведьма, сперва по темным переулкам, потом по газону, проворно шмыгая между деревьев, и вот они уже в каких-то комнатах, и ему некуда бежать. Ведьмы в черных платьях и красных нижних юбках, ведьмы с розовыми глазами и зелеными губами, ведьмы низенькие, ведьмы долговязые, ведьмы хмурые и улыбающиеся, иные хохочут, иные визжат, одни летают, другие бегают, а некоторые просто скользят по земле. Поэтому, увидев женщину на самом верху лестницы, он понял: некуда деваться, надо карабкаться к ее протянутым рукам, к растопыренным цепким пальцам, к хищно разинутому рту, к пожиравшим его глазам. В кошмарных снах часто карабаются по ступенькам. Женщина схватила его за плечи, крепко к себе прижала, сцепила руки у него спиной. Она положила голову ему на грудь, и оттого что ее волосы коснулись его подбородка, и сухие костлявые руки, будто стальные пружины, ерзали по его спине, и что-то бормотали ему в жилет дряблые губы, голова у него пошла кругом, но он знал: когда угодно, в любой момент, как бы крепко она его ни схватила, как бы настырно ни льнула к нему, он может вскрикнуть и проснется.

Молочник закрыл глаза, он не мог пошевелиться, просто ждал, когда же кончится сон. Но вдруг он вынырнул рывком — его заставило проснуться урчание, раздававшееся возле его ног. Он глянул вниз: со всех сторон его обступила собачья свора; у каждой из собак были золотистые глаза, глаза умного ребенка, он уже видел только что два таких глаза в окне. Внезапно женщина разжала руки — тогда он посмотрел и на нее. По сравнению со спокойными, разумными, оценивающими глазами собак взгляд старухи казался безумным. По сравнению с их расчесанной, приглаженной, отливающей металлическим блеском шерстью ее волосы казались всклокоченными и пыльными.

— Убирайтесь, — сказала она собакам. — Хельмут, вон. Пошел отсюда, Хорст. — Она замахала руками, и собаки послушались ее, отошли.

— Ну пойдем, пойдем же, — говорила она Молочнику. — Вот сюда. — Она обеими руками взяла его руку и потащила его за собой, а он послушно позволял себя тащить, как маленький мальчик: спать ему еще совсем не хочется, но раз велено — надо идти. Они медленно продвигались по коридору, стараясь не наступить на собак. Потом вошли в комнату, и женщина усадила его на обтянутую серым бархатом софу и прогнала всех собак, кроме двух, которые улеглись у ее ног.

— Помнишь веймарских овчарок? — спросила она, садясь на стул и подвигаясь поближе к Молочнику.

Она была очень стара. Так стара, что стала бесцветной. Так стара, что на ее лице выделялись лишь глаза и губы. Нос, подбородок, скулы, шею, лоб прочертила кружевными разводами, покрыла плиссировкой складочек рукодельница, меняющая до неузнаваемости лица людей.

В сознании Молочника смутно забрезжила мысль, но ему не удавалось ухватить ее и четко сформулировать (во сне это трудно): что, если эта женщина — Цирцея? Но ведь Цирцея умерла. А эта женщина жива. Дальше его мысль заходила в тупик, потому что женщина хотя и разговаривала с ним, тем не менее могла быть мертвой... вернее даже, она несомненно мертва. И не потому, что у живой не может быть такого старого морщинистого лица, а потому, что из беззубого рта старухи исходили звуки сильного и мелодичного голоса двадцатилетней девушки.

— Я знала: ты когда-нибудь вернешься. Хотя нет, не совсем так. Бывали дни, когда я сомневалась, бывали и такие дни, когда я вообще не думала об этом. Но видишь, я оказалась права. Ты все-таки пришел.

Ужасно было слышать юный голос, глядя на это лицо. Может, у него что-то разладилось со слухом? Интересно, как звучит его собственный голос? Чтобы услышать, он решил что-то сказать, ей возразить.

— Прощу прощения. Я его сын. Сын Мейкона Помера. Я не тот, кого вы знали.

Она перестала улыбаться.

— Меня тоже зовут Мейкон Помер, но мне всего еще тридцать два года. Вы знали моего отца и отца моего отца. — Что ж, проверка пока удалась. Его голый не изменился. Остается выяснить, верна ли его догадка. Старуха молчала. — Вы Цирцея, я не ошибся?

— Да, Цирцея, — сказала она, но, как видно, сразу же утратила к нему интерес. — Меня зовут Цирцея.

— Я приехал в эти края ненадолго, — пояснил он. — Несколько дней прогостил у преподобного Купера с женой. Они и рассказали мне про вас.

— А я приняла тебя за него. Думала, ты повидать меня приехал. Где же он? Мой Мейкон?

— Он остался дома. Он жив. Он мне рассказывал о вас...

— А Пилат? Где она?

— Живет в том же городе. Она здорова, у нее все хорошо.

— Да... Ты на него похож. В самом деле. — Но в ее голосе слышалась нотка сомнения.

— Ему семьдесят два года сейчас, — сказал Молочник. Он думал, ей все тут же станет ясно, она поймет, что он не может быть тем Мейконом, которого она знала и которому было шестнадцать лет, когда она в последний раз его видела. Но она сказала только: «У-мм», так, словно семьдесят два, тридцать два и вообще любой возраст не имеют для нее никакого значения. Сколько же ей лет на самом деле? — подумал Молочник.

— Ты хочешь есть? — спросила она.

— Нет. Спасибо. Я позавтракал.

— Значит, ты остановился у этого мальчишки Купера?

— Да, мэм.

— Сопляк. Я не велела ему курить, но дети никогда не слушаются.

— А вы не будете возражать, если в закурю? — Молочник понемногу начинал успокаиваться и надеялся, что сигарета поможет ему успокоиться еще больше.

Цирцея пожала плечами.

— Делай что хочешь. В нынешние времена все равно ведь каждый поступает, как ему угодно.

Молочник чиркнул спичкой, и собаки заурчали, их засверкавшие глаза уставились на огонек.

— Тш-ш, — шикнула на них старуха.

— Они великолепны. — сказал Молочник.

— Кто?

— Собаки.

— Вовсе не великолепны, просто странные, но дом сторожат. Я тут с ними совершенно из сил выбилась. Раньше их хозяйкой была мисс Батлер. Она их разводила, скрещивала их. Много лет подряд старалась их зарегистрировать как новую породу. Но ей не разрешили.

— А как называется эта порода?

— Веймарские овчарки. Разновидность немецких.

— И что вы с ними делаете?

— Ну, держу их тут. Некоторых продаю. Пока мы не перемрем все вместе. — Она улыбнулась.

У нее были изысканные манеры, являвшие точно такой же контраст с грязной и оборванной одеждой, как молодой и сладкозвучный голос с морщинистым лицом. К седым патлатым волосам — не поймешь, то ли заплетенным, то ли не заплетенным в косички — она прикасалась таким жестом, словно поправляла прядку в изящной и сложной прическе. А улыбаясь — на бесформенном лице внезапно возникал

провал, будто капнули кислотой на целлулоид, — неизменно дотрагивалась кончиками пальцев до подбородка. Эта изысканность манер и речи сбивала с толку Мейкона, и он решил, что, вероятно, она просто глупа.

— Вам бы следовало иногда выходить из дому.

Она взглянула на него.

— Это теперь ваш дом? Вам его оставили по завещанию? И вы поэтому живете здесь?

Она втянула губы, прижав их к деснам.

— Мисс Батлер умерла — вот единственная причина, из-за которой я сижу в этом доме одна. Она себя убила. Кончились деньги, и она убила себя. Она стояла на той самой лестничной площадке, где ты был минуту назад, перевесилась через перила и бросилась вниз. Умерла она, правда, не сразу, пролежала в постели неделю или две, и никого, кроме меня, с нею тут не было. Собаки тогда на псарне жили. Я ее принимала, когда она родилась, и мать ее я принимала, и бабушку тоже. В нашем округе почти все новорожденные прошли через мои руки. И все остались живы. Всех я уберегла, кроме твоей матери. Хотя нет, она, по-моему, бабкой тебе приходилась. А теперь я принимаю роды у собак.

— Один из друзей преподобного Купера говорил, она была похожа на белую. Моя бабушка. Она и правда была белой?

— Нет. Метиска. Индианка с небольшой примесью. Красивая женщина, но уж такая горячая, молоденькая ведь была совсем. В муже своем души не чаяла, просто с ума сходила. Ты понимаешь ли меня? Женщина иногда любит слишком сильно. Она глаз не спускала на него, всюду бегала за ним, как курочка за своим фазаном. Не было ей покоя. Беспокойная любовь.

Молочнику вспомнилась правнучка этой метиски Агарь, и он сказал:

— Да, понимаю.

— А ведь хорошая была женщина. Я плакала, как ребенок, когда она умерла. Бедняжка Пой.

— Как вы сказали? — Он подумал, что ослышался.

— Я плакала, как ребенок, когда она...

— Нет, не то. Как вы ее назвали?

— Пой. У нее такое имя было — Пой.

— Пой? Пой Помер. Где же это она обзавелась таким именем?

— А где обзаводятся такими именами, как твое? Белые придумывают неграм клички, как скаковым лошадям.

— Да, пожалуй. Отец рассказывал мне, как получил свое имя.

— Что он тебе рассказал?

Молочник повторил историю о пьяном янки.

— Ну, имя-то отец твой мог бы и переменить. Это она его отговорила. Уговорила оставить себе это имя, заметила Цирцея, когда он замолчал.

— Кто «она»?

— Жена его, Пой. Они встретились в фургоне, что ехал на Север. Питались всю дорогу только орехами-пеканами. Их фургон был битком набит недавними рабами, которые отправились на поиски земли обетованной.

— Моя бабушка тоже была рабыней?

— Нет. Я точно знаю — нет. Все хвастала: она, мол, никогда не была рабыней. И в роду у них не бывало рабов.

— Как же она попала в этот фургон?

— Чего не знаю, того не знаю. Как-то не пришло мне в голову спросить.

— А откуда они ехали? Из Джорджии?

— Нет, не из Джорджии. Из Виргинии. Они оба жили там, и ее семья, и его. Где-то неподалеку от Калпепера. Шарлеман — так, что ли, их городок назывался.

— Мне кажется, Пилат одно время жила в тех краях... Где она только не жила, до того как приехала в наш город.

— Ты не скажешь, вышла она замуж за того парня?

— За какого?

— Да за того, от кого у нас ребенок.

— Нет, она не вышла за него.

— Так я и думала. Уж очень она стыдилась.

— Чего стыдилась?

— Своего живота.

— А, ясно.

— Родилась сама по себе, я почти что к этому и непричастна. Думала, обе умерли — и мать, и дитя. Когда показалась ее головка, я обмерла. Уж все везде прослушала — не стучит сердечко. И вдруг, на тебе — выполз младенец. Твой отец ее очень любил. Огорчилась я, когда узнала про их ссору. Я рада, что они снова вместе. — Цирцея оживилась, рассказывая о прошлом, и Молочник решил не говорить ей, что Мейкон и Пилат не помирились, а просто живут в одном городе. Интересно, как она узнала об их разрыве, и знает ли, что послужило его причиной?

— Так вам известно, как они рассорились? — спросил он как бы невзначай.

— Знаю, что рассорились. А из-за чего — не знаю, Пилат приезжала сюда сразу же после того, как родила ребенка. Помню, было это зимой. Она и рассказала мне, что они с Мейконом сильно повздорились после того как сбежали отсюда, и не виделись с тех пор.

— Пилат рассказывала мне, что, когда они ушли отсюда, они с моим отцом несколько дней прожили в какой-то пещере.

— Да что ты говоришь? Это, наверное, Охотничья пещера. Там иногда охотники останавливались передохнуть. Поесть, поспать. Покурить. В эту самую пещеру отнесли тело старшего Мейкона.

— Что отнесли? Я думал... Отец говорил, он похоронил его. На берегу какого-то ручья или речки, где они всегда ловили рыбу.

— Да, он его там похоронил. Но зарыл неглубоко и слишком близко от воды. Первый же сильный ливень размыл могилу. Еще месяца не прошло после ухода детей, а тело Мейкона уже всплыло на поверхность. Там какие-то люди удии рыбу и вдруг видят: по ручью плывет тело утопленника, негра. Они сразу догадались, кто это. Отнесли его в пещеру и бросили там, а ведь дело было летом. Уж летом-то нетрудно выкопать могилу. Я сказала миссис Батлер: по-моему, это срам.

— Папа не знает об этом.

— Ну и не говори ему. Только расстроишь. Отца убили, это ведь какое горе; и незачем ему, бедняге знать, что с телом сделалось.

— Вам Пилат не говорила, зачем она возвращалась сюда?

— Говорила. Ей отец велел. Она рассказывала, он является ей временами.

— Мне бы хотелось побывать в этой пещере. Там, где он... куда его положили.

— От него сейчас едва ли что осталось. Сколько времени с тех пор прошло.

— Я понимаю, но, возможно, все же что-то осталось, что я мог бы должным образом предать земле.

— Что ж, это хорошая мысль. Покойники не любят, если их не предадут земле. Очень не любят. А пещеру ты легко найдешь. Вернись отсюда на дорогу, по которой приехал. Иди на север, пока не наткнешься на

деревянные ступени. Как раз в том месте большая прогалина. Пройдешь по ней немного и выйдешь к ручью. Переберешься на тот берег. Дальше опять лесок начнется, но ты увидишь между деревьями небольшую гряду холмов. Та пещера будет с твоей стороны. Ты без труда ее заметишь. Там всего одна пещера. Сможешь тогда папе своему сказать, что похоронил его отца, как положено, на кладбище. Может, даже с надгробной плитой. С красивой надгробной плитой. А мне, даст бог, не придется тут долго лежать. Кто-нибудь найдет и пожалеет старуху. — Она бросила взгляд на собак. — Даст бог, меня скоро найдут, так что слишком долго я тут не проваляюсь.

Молочник судорожно глотнул — он понял, на что она намекает.

— К вам сюда кто-то заходит, да?

— Время от времени заглядывают. Те, кто покупает собак. Вот они, я думаю, меня и найдут.

— Преподобный Купер... У них там все считают, что нас уже нет в живых.

— И прекрасно. Не люблю я их, негров из нашего города. Ко мне заходят люди покупать собак, раз в неделю приезжает человек, который им корм заводит. Вот кто-нибудь из них меня и найдет. Даст бог, долго лежать не придется.

Он расстегнул воротничок и снова закурил. Полутемная комната, женщина, принимавшая когда-то роды у его бабки: она первая держала на руках и его отца, и Пилат, а потом, рискуя местом, а может быть, и жизнью, прятала у себя детей, когда у них убили отца, выносила за ними в отхожее место ведро, по вечерам приносила еду и тазики для умыванья. Она даже сбегала тайком в деревню и попросила кузнеца сделать серьгу из металлической табакерки, где находился клочок бумаги с именем Пилат. А потом, когда у девочки стало нарываться ухо, лечила ее. И как обрадовалась она, решив, что один из этих двух детей приехал к ней после долгих десятилетий. Врачевательница и повивальная бабка, живи она в другой стране, то, наверное, стала бы старшей сестрой в больнице. А вместо этого возится с веймарскими овчарками и для себя желает только одного: чтобы, когда она умрет, ее тело нашли прежде, чем его съедят собаки.

— Вы бы уехали отсюда. Продайте этих чертовых собак. Я вам помогу. Нужны вам деньги? Сколько? — спрашивал он, охваченный внезапной жалостью, и она благодарно улыбнулась ему. Ответила, однако, холодно:

— Ноги у меня пока что действуют, захотела бы уйти, так ушла. Спрячь свои деньги.

Уязвленный, Молочник спросил так же сухо:

— Вы так сильно их любили, этих белых?

— Любила? — переспросила Цирцея. — Я их любила?

— Зачем же вы тогда ходите за их собаками?

— Ты знаешь, почему она себя убила? Из-за поместья: смотреть спокойно не могла, как поместье приходит в упадок. Не могла жить без слуг, и без денег, и без того, что можно купить на эти деньги. Все ушло, до последнего цента, а налоги съедали доход от фермы. Сперва исчезли горничные, потом повариха, потом дрессировщик собак, потом садовник, потом шофер, за ним автомобиль, потом прачка, приходившая раз в неделю. А потом она понемногу все начала распродавать: землю, драгоценности, мебель. В последние годы мы ели только овощи с нашего огорода и фрукты из сада. И наконец она не выдержала. Помощи ждать неоткуда, денег нет... Словом, не выдержала она этого. Выпустила все из своих рук.

— Вас она не выпустила, — сказал Молочник, не скрывая злости.

— Да, меня она не выпустила. Она убила себя.

— А вы все так же преданны ей.

— Тебе говорят, а ты не слышишь. Уши выросли на голове, только с мозгами их забыли соединить. Я рассказываю: она убила себя, чтобы не делать ту работу, которую я делала всю жизнь! — Цирцея встала, и собаки встали. — Ты слышишь меня? Она с самого рождения видела, как я работаю, и умерла, ты слышишь, умерла, лишь бы не жить так, как я. Так кем же я была для нее, как ты думаешь? Если жить так, как я, и работать, как я, было для нее хуже смерти? А ты считаешь после этого,

будто я здесь живу, потому что ее любила, — не голова, а задница у тебя на плечах!

Собаки заворчали, и Цирцея прикоснулась к их головам. Они стояли рядом с ней — одна справа, другая слева.

— Батлеры любили этот дом. Да... любили. Ездили за море и привезли сюда розовый мрамор с прожилками, а в Италии наняли мастера; он изготовил люстру, которую я каждые два месяца должна была протирать белым муслином и для этого взбиралась на стремянку. Да, они любили этот дом. Ради него пошли на воровство, на ложь и на убийство. А осталась в нем я одна. Я и собаки. И убирать его больше не буду. Никогда. Я больше ни к чему не прикоснусь. Ни единого пятнышка не сотру, не смахну ни единой пылинки. Пусть в этом мире, ради которого они жили, все сгниет и рассыплется в прах. Люстра уже упала и разлетелась на куски. Внизу они валяются, в бальной зале. Проржавели цепи, на каких она висела. Ха! Я хочу увидеть, как здесь все развалится и погибнет, хочу убедиться собственными глазами, что в этом доме ничего уже нельзя спасти. Я поэтому впустила в дом собак. К тому же они воров отгоняют. После ее смерти забредали разные сюда, хотели что-нибудь украсть. Я натравливала на них собак. А потом я просто-напросто впустила в дом всю свору, и они тут со мной поселились. Видел бы ты, во что они превратили ее спальню. У нее на стенах не было обоев. Нет! Стены были шелковой парчой обтянуты, которую какие-то бельгийки ткали целых шесть лет. Она любила свою спальню... ах, как она ее любила. Я впустила туда однажды тридцать овчарок, и они ободрали все стены. Если бы я не боялась, что ты задохнешься от вони, я бы показала тебе их работу. — Она бросила взгляд на окружавшие ее стены. — Эта комната — последняя.

— Может, вы позволите мне как-то вам помочь? — сказал он после недолгой паузы.

— А ты помог мне. Пришел сюда и сделал вид, будто не чувствуешь вони, и рассказал мне о Мейконе и моей милой малышке Пилат.

— Я правда вам помог?

— Чистая правда.

Они встали, вышли из комнаты и направились к лестнице.

— Осторожно спускайся. Темно. — Из всех углов, куда ни глянь, урча, вылезали собаки. — Их пора кормить, — сказала она. Молочник начал спускаться по лестнице. Дойдя до середины, он обернулся и посмотрел на Цирцею.

— Вы сказали, жена моего деда уговорила его не менять имя. А его настоящее имя вы случайно не знаете?

— Джейк, по-моему.

— Джейк, а фамилия как?

Она пожала плечами — жест Ширли Темпл [\[18\]](#), жест маленькой беспомощной девочки.

— Джейк — вот и все, что она мне сказала.

— Спасибо, — крикнул он несколько громче, чем нужно: ему хотелось, чтобы его благодарность пробилась сквозь вонь, которая волной катила вверх от урчащей в прихожей своры.

Ворчание и вонь преследовали его, пока он шел через кустарник к дороге по тропинке, похожей на черно-зеленый тоннель. Было пол-одиннадцатого, когда он добрался до места. Еще полтора часа придется ждать Племянника. Расхаживая по обочине, Молочник напряженно думал. Когда же ему сюда возвратиться? Попытаться взять машину напрокат или одолжить у священника? Забрал ли Племянник его чемодан? Какое снаряжение ему понадобится? Фонарик, а еще что? И что ему придумать, чтобы объяснить, как он попал в пещеру, если кто-нибудь там на него наткнется? Да просто он пришел, чтобы забрать останки деда, и как положено, предать их земле. Так размышляя, он продолжал шагать по обочине, потом двинулся в ту сторону, откуда должен был появиться Племянник. Потом он начал сомневаться: а в ту ли сторону он идет? Повернул назад, но тут увидел, что из кустов торчат концы трех деревянных досок. Может, это те самые ступеньки, о которых ему говорила Цирцея? Хотя, собственно, уже не ступеньки, а то, что от них осталось. Он смекнул: Цирцея уже много лет не выходит из дому. Ступеньки, которые она когда-то видела, теперь, конечно, развалились. Но, если указания, которые она ему дала, правильны, он

успеет обернуться туда и назад до полудня. Во всяком случае, обследовать местность гораздо удобнее при свете дня.

Он осторожно раздвинул кусты и немного прошел в глубь леса. Нигде не видно даже маленькой тропинки. Продолжая пробираться дальше, он услышал журчанье воды и пошел в ту сторону — ему казалось, сразу же за ближайшими деревьями появится ручей. Но ручья все не было. Он до него добрался только через пятнадцать минут. «Переберешься на тот берег», — сказала Цирцея, и он решил, что должен быть какой-то мостик. Мостика не оказалось. Он огляделся и увидел холмы. Наверно, это тут. Конечно, тут. Он прикинул: чтобы дойти до пещеры, ему понадобится примерно час, а он ведь через час должен вернуться к дороге. Он сел на землю, снял ботинки и носки, носки сунул в карманы и подвернул повыше брюки. Держа в руках ботинки, он пошел через ручей вброд. Вода оказалась ужасно холодной, а камни на дне ручья скользкими, он поскользнулся и ушиб колено, да к тому же, взмахнув руками чтобы не упасть, зачерпнул в ботинки воды. С трудом поднялся и вылил из ботинок воду. Все равно он уже вымок, так чего же возвращаться? И Молочник побрел вперед. Через несколько шагов он угодил ногой в выемку глубиной дюймов в шесть и опять упал, однако, на сей раз окунулся с головой и даже успел заметить мгновенно промелькнувшую перед ним серебристую полупрозрачную рыбку. Отфыркиваясь и выплевывая воду, он последними словами поносил ручей, слишком мелкий, чтобы переплыть его, и слишком каменистый, чтобы перейти вброд. Ему бы надо было выломать палку и перед каждым шагом измерять глубину, но он не додумался вовремя — слишком волновался. Так он и шел, ощупывая перед каждым шагом дно пальцами ног. Шел медленно — ручей был глубиной два-три фута и около двенадцати ярдов в ширину. Если бы он так не торопился поскорее перебраться на тот берег, он, может быть, нашел бы в другом месте более узкую часть ручья. Размышляя, как он мог бы поступить, если бы не полез очертя голову в воду, он злился, и досада побуждала его упорно двигаться вперед по скользким камням, пока он не добрался наконец до берега. Он швырнул ботинки на сухую землю и, запыхавшись, выбрался на берег. Полез в карман за сигаретами; оказалось, они промокли. Он растянулся навзничь на траве, и его обогрело теплое полуденное солнце. Он даже рот раскрыл, чтобы почувствовать на языке приятную свежесть воздуха.

Немного погодя он сел и натянул на ноги сырые носки и башмаки. Взглянул на часы. Часы тикали, но стекло разбилось, и погнулась минутная стрелка. Пора идти, подумал он и зашагал к холмам, но тут его обмануло зрение, точно так же, как раньше слух: холмы были намного дальше, чем ему показалось. Ему не приходило раньше в голову, что просто-напросто идти пешком среди кустов и деревьев будет так трудно. При слове «лес» он всегда себе представлял городской парк или ухоженный лесок на острове Оноре, куда его возили в детстве на «паккарде», весь прочерченный тропинками. «Он взял в аренду десять акров девственного леса и весь его расчистил», — говорили старики, рассказывая, с чего началась знаменитая ферма Мейкона Помера. Это можно расчистить? Вырубить топором? Непроходимую чащобу, через которую и пробраться-то невозможно?

Рубашка еще не просохла, к тому же он вспотел, да еще начали болеть изрезанные острыми камнями ноги. Время от времени Молочник выходил на открытое место и, отыскав глазами невысокие холмы, обнаруживал, что он несколько сбился с пути.

Но вот ровную землю под его ногами сменило пологое каменистое взгорье, поросшее кустарником и молодыми деревцами. Он двинулся по его краю в поисках пещеры. Чем дальше он забирался к югу, тем каменистей становилась почва и реже растительность. А потом увидел футах в пятнадцати или двадцати над собой черную дыру, подобраться к которой можно было пусть и не рискуя жизнью, но с трудом, особенно в ботинках на тонких и скользких подошвах. Он вытер потный лоб рукавом пиджака, сдернул болтавшийся вокруг воротничка незавязанный галстук и сунул в карман.

Он снова ощутил соленый вкус во рту и так разволновался в предвкушении находки — он ведь верил, он надеялся, — что ему пришлось приложить к теплему камню потные ладони, чтобы обсушить их. Он вспоминал, какими жалобными и голодными глазами глядели на него те старики, с какой жадностью впитывали они в себя его рассказ о том, как сын Мейкона Помера дерзко добился удачи; он вспомнил и о белых, которые всадили пулю в голову его деда, а потом прошли хозяйской поступью по его садам и съели персики, какие растут в Джорджии. Молочник глубоко вздохнул и принялся взбираться на скалу.

И едва он поставил ногу на первый камень, он вдохнул запах золота, хотя, впрочем, это даже и не запах был. Скорее, это напоминало конфеты, и ласки женщины, и неяркие мерцающие огоньки. Или звуки рояля под тихий аккомпанемент гитар и банджо. Он уже ощутил это однажды, когда стоял и ждал под соснами у домика Пилат; он ощутил это сильнее, когда луна осветила зеленый мешок, который свесился с потолка, как выполненное обещание; и с полной остротой — когда, держа мешок в руке, скатился с плеч Гитары на пол. Лас-Вегас и зарытые в земле клады; торговцы наркотиками, окошечки, где получают выигрыш на скачках, и скважины, из которых фонтаном бьет нефть; крэпс[19], покер, тотализатор. Аукционы, бронированные камеры в банке, махинации с героином. От этого ощущения словно столбняк нападает, бьет дрожь, и в горле сухо, и ладони липкие от пота. И если нужно что-то сделать, то хоть умри, но сделай; и радость, что «они» побеждены или на твоей стороне. Игроки, ни слова не произнося, встают и швыряют на стол козырную даму, так лихо, что можно ей шею сломать. Женщины, закусив нижнюю губу, выкладывают красные кружочки на пронумерованные квадратики. Спасатели на водах роскошного курорта, студенты спортивного типа взирают с интересом на кассовые аппараты и прикидывают в уме, далеко ли до дверей. Стать победителем. Это предел.

Взбираясь вверх, Молочник стал проворным и ловким, колени упирались в каждую впадинку, пальцы нащупывали каждый выступ в гладкой поверхности скалы. Ум отключился, работало только тело. И вот он наконец стоит на узкой площадке футах в двадцати от входа в пещеру. Он разглядел и каменистую тропку, которая туда вела и которую он мог бы обнаружить и раньше, если бы так не спешил. По этой тропке проходили в пещеру охотники, ею когда-то воспользовались его отец и Пилат. Никто, кроме него, не изодрал в клочья одежду, карабкаясь двадцать футов вверх по крутой скале.

Он вошел в пещеру, и его ослепило полное отсутствие света. Он попятился, вышел и снова вошел, прикрывая ладонью глаза. Немного погодя он уже мог различить пол пещеры и ее стены. Вот каменистый выступ, на котором ночевали отец и Пилат, Молочник представлял его себе вовсе не таким широким. Кое-где пол растрескался — там когда-то жгли костры, — а у входа в пещеру торчит несколько валунов, и у одного из них раздвоена верхушка наподобие римской цифры V. Да,

но где же кости? Цирцея сказала, что труп притащили сюда. Может быть, он в самой глубине, там, где находилась та прикрытая досками выемка? Молочник не захватил с собой фонарика и, конечно, промочил в ручья спички, но он все же попытался отыскать хоть одну сухую. Из всех спичек лишь одна или две чиркнули. Однако постепенно его глаза привыкли к темноте. Он отломал ветку от куста, который рос у входа, и, ощупывая ею пол, двинулся, слегка пригнувшись, в глубь пещеры. Прошел так футов тридцать или сорок и вдруг заметил, что пещера сужается. Верхнего свода он не видел вообще. Он остановился и стал медленно продвигаться в сторону, ощупывая веткой пол и держа ее так, что кончик находился примерно на ярд впереди. Он наткнулся рукой на стену, сбил при этом сухой помет летучей мыши и повернул влево. Ветка почему-то не упиралась здесь в пол, а свободно повисла в воздухе. Он опять остановился и опускал ветку до тех пор, пока кончик ее не коснулся пола. Тогда, поднимая и опуская ветку и поводя ею вправо и влево, он убедился, что нашел то самое углубление. Оно было фута два в глубину, а в ширину примерно футов восемь. Он энергично начал шарить по углублению веткой. Вот она наткнулась на что-то твердое, потом еще раз. Молочник глотнул от волнения и опустился на колени. Он вглядывался в темноту что было сил, но ничего не видел. Вдруг он вспомнил, что в кармане жилета у него зажигалка. Он бросил ветку и полез в жилетный карман, чуть не теряя сознания от запаха денег... звуки рояля, мерцающие огоньки. Вот он нашел ее; ох, только бы зажглась. Он чиркнул раз, другой, огонек вспыхнул. Молочник начал вглядываться в яму, но огонек погас. Он снова щелкнул зажигалкой и заслонил рукой маленький хлипкий огонек. На дне ямы лежали камни, доски, листья, даже жестяная кружка, только золота не было. Он лег ничком, держа в одной руке зажигалку, а другой водил по дну углубления, ощупывал его, расковыривал, царапал, скреб. Нет, там не было округлых пузатеньких мешочков с золотом. Там ничего не было. Совсем ничего. И неожиданно он вдруг жалобно, отчаянно завыв: «У-у-у». Его крик вспугнул летучих мышей, они устремились вниз и заметались в темноте над его головой. Испуганный, он вскочил, и тут на его правом ботинке из мягкой кожи отлетела подметка. Спасаясь от летучих мышей, он вприпрыжку бросился вон из пещеры, высоко приподнимая ногу, чтобы не запнуться оторванной подметкой о землю.

Выскочив наконец на волю, он приостановился перевести дыхание. Пыль, слезы, слишком яркий свет разъедали ему глаза, но Молочнику было так тошно, так досадно, что он даже не стал их вытирать. Просто, размахнувшись что есть сил, зашвырнул зажигалку в деревья, подступавшие к подножию холма, и захромал по тропке, не обращая внимания, в какую сторону идет. Двигался куда глаза глядят, следя только за тем, чтобы ступать было удобнее. Внезапно он снова оказался у ручья, но выше по течению — ручей достигал в этом месте около двенадцати футов в ширину и так сильно обмелел, что видны были камни на дне, а с берега на берег кто-то перебросил доски. Он сел на траву, вытащил из кармана узкий черный галстук и привязал им подошву к ботинку, после чего зашагал по самодельному мосту. В лесу на той стороне ручья виднелась тропинка.

Его начало трясти от голода. Это был настоящий голод — не то привычное ощущение, что пора бы, кажется, поесть, поскольку он не сыт до отвала, не нервозное желание полакомиться чем-то вкусным. Нет, он был голоден всерьез. Ему казалось, что если он сию же минуту не съест чего-нибудь, то упадет без чувств. Он оглядывал встречные кусты, траву, ветки в надежде найти хоть ягодку, хоть орешек, хоть что-то. Но он не знал, чего ему искать и как растут орехи и ягоды. Чувствуя, что у него от голода свело желудок, он оборвал несколько листьев и сунул их в рот. Они оказались горькими, как желчь, но он их прожевал, выплюнул и сунул в рот новую порцию. Ему вспомнился завтрак, которым утром его угощала миссис Купер и который показался ему тогда предельно неаппетитным. Яичница на сале, только что отжатый и непроцеженный апельсиновый сок, в котором плавали зернышки и кусочки мякоти, толстые ломти нарезанного вручную бекона, пышущая жаром горка овсяных коржиков и печенья. Он знал, что миссис Купер постаралась не ударить в грязь лицом, но, возможно, из-за выпитого накануне вечером виски, ему с трудом удалось заставить себя проглотить лишь две чашечки черного кофе и съесть немного печенья. Все остальное вызывало у него тошноту; а то, что он проглотил за завтраком, впоследствии оказалось на земле у входа в дом Цирцеи.

Вокруг него плотно сомкнулись какие-то заросли, и, когда он досадливо развел их в стороны руками, он увидел обвалившиеся ступеньки, а впереди дорогу. Мощенная щебенкой дорога, автомобили, дорожные столбы, цивилизация. Он посмотрел на небо, чтобы

определить, который час. Солнце прошло четверть пути от той точки, о которой даже Молочник знал, что оно стоит тут в полдень. Примерно час пополудни, подумал он. Племянник, вероятно, уже побывал тут и уехал. Он вынул из кармана брюк бумажник. По краям он полинял от воды, но содержимое не промокло. Пятьсот долларов, водительские права, номера телефонов на бумажках, страховой полис, корешок от билета на самолет, квитанции химчистки. Он оглядел пустынную дорогу. Нужно где-то раздобыть еду, потом двинуться пешком на юг, где, как ему казалось, находится Данвилл, и его, надо надеяться, подберет первая же попутная машина. Он не только умирал от голода, у него болели ноги. Две машины промчались мимо, третья остановилась — «шевроле» выпуска 1954 года, — и ее водитель, негр, проявил такой же интерес к одежде Молочника, как утром этого дня — Племянник. Он сделал вид, что не заметил или не считает нужным обратить внимание на дырку на колене и прореху под мышкой, на обвязанный галстуком ботинок, на листья, застрявшие в волосах Молочника, и на то, что весь его костюм в грязи.

— Куда путь держишь, парень?

— В Данвилл. Вы случайно не в ту сторону? Хоть немного подвезли бы.

— Забирайтесь в авто, подвезу. Мне это не совсем по дороге. Вообще-то я сворачиваю на Бьюфорд, но, во всяком случае, вы окажитесь ближе к Данвиллу, чем сейчас.

— Огромнейшее вам спасибо, — сказал Молочник. Он опустился на сиденье — блаженство, просто блаженство. Тело ломило от усталости, он откинулся на обтянутую нейлоном спинку и вздохнул.

— Замечательный покрой у вашего костюма, — сказал хозяин машины. — Я так полагаю, вы небось не из наших мест?

— Да. Я из Мичигана.

— Что вы говорите! Моя тетка переехала туда. Город Флинт. Знаете такой город?

— Ну еще бы, как не знать. — У Молочника так сильно ныли ноги, что он даже пальцами не решался пошевелить.

— Хороший город Флинт?

— Ерундовый. Ни одной путной забегаловки нет.

— Так я и думал. Называется-то он красиво, но я догадывался, что, наверно, никудышный городок.

Еще садясь в машину, Молочник заметил на заднем сиденье картонную коробку на шесть бутылок кока-колы и сейчас все время о ней думал.

— Послушайте, я не мог бы у вас купить одну бутылку кока-колы вон из той коробки? Очень пить охота.

— Она теплая, — ответил хозяин машины.

— Какая-никакая, а все же жидкость.

— Что ж, угощайтесь.

Молочник повернулся и вытащил из коробки бутылку.

— У вас есть открывалка?

Водитель вынул у него из рук бутылку, поднес ко рту и не торопясь содрал зубами крышечку. Из бутылки стремительно хлынула пена, залила ему не только подбородок, но и брюки, прежде чем Молочник взял бутылку.

— Ух, горячая прямо, — засмеялся водитель, вытираясь белым в синюю клетку платком.

Не дожидаясь, чтобы осела пена, Молочник в три секунды осушил бутылку.

— Повторить не желаете?

Он совсем не прочь был повторить, но отказался. Только попросил сигарету.

— Я некурящий, — сказал человек за рулем.

— Угу, — сказал Молочник, попробовал сдержать отрывку, но ему это не удалось.

— Вон там, сразу за поворотом, автобусная станция. — Они уже подъехали к окраине Данвилла. — Тут два шага.

— Я вам искренне признателен. — Молочник открыл дверцу. — Сколько я вам должен? За кока-колу и за все?

Человек, сидевший за рулем, продолжал улыбаться, но выражение его лица изменилось.

— Меня зовут Гарнет. Фред Гарнет. Я не богач, но иногда могу себе позволить угостить кого-то кока-колой и подвезти на своей машине.

— Я совсем не то хотел... я...

Но мистер Гарнет уже захлопнул дверцу. Молочник посмотрел вслед машине и увидел, что тот покачивает головой.

Ноги у Молочника болели, хоть плачь, но он добрался до закусочной (она же автобусная станция) в надежде отыскать хозяина, которому оставил чемодан. Хозяина не оказалось на месте, его заменяла какая-то женщина; она спросила Молочника, чем может ему помочь. Затем последовали продолжительные дебаты, в ходе которых выяснилось, что чемодана в закусочной нет. Хозяина тоже нет, приезжал ли за чемоданом цветной мальчик, неизвестно, камеры хранения у них нет, и хотя ей до смерти жаль, но, если мальчик не забрал чемодан, Молочнику все же придется зайти домой к хозяину, и не требуется ли ему что-нибудь еще?

— Гамбургеры, — ответил он. — Принесите мне чашку кофе и гамбургеры.

— Да, сэр. Сколько штук?

— Шесть, — ответил он, но уже на четвертом у него начались судороги в желудке, он скорчился от боли, которая с перерывами продолжалась всю дорогу до Роанока, штат Виргиния. Все же, перед тем как выйти из закусочной, он позвонил преподобному Куперу. К телефону подошла его жена и сказала, что муж еще не вернулся с товарной станции и, если Молочник поторопится, он успеет его там застать. Молочник сказал спасибо и повесил трубку. Выступая походкой альфонса в шикарных ботинках, он ухитрился добраться до товарной станции,

которая, по счастью, находилась довольно близко от автобусной. Войдя в ворота, он спросил у первого же человека, который попался ему на глаза, здесь ли еще преподобный Купер.

— Куп? Он вроде на приемный пункт пошел. Там вон. Видите? — сказал тот, тыча пальцем.

Молочник поглядел, куда указывает палец, и захромал по гравию и шпалам.

На приемном пункте не было ни души, лишь какой-то старик тащил волоком большой ящик, сбитый из досок.

— Прошу прощения, — сказал Молочник. — Что, преп... Куп еще не ушел?

— Только-только ушел. Вы его догоните, ежели побежите, — сказал старик и вытер пот со лба.

Молочник попытался себе представить, как он бежит куда-то на изболевшихся ногах, и сказал:

— А, ладно. Загляну в другой раз. — И уже повернулся, собираясь уйти.

— Послушайте, — сказал старик, — ежели вы сейчас не хотите бежать за ним вдогонку, вы мне, может, с этой штукой подсобите? — Он показал на стоящий у его ног громадный ящик.

Слишком измученный, чтобы отказываться или что-то объяснять, Молочник кивнул, Кряхтя и охая, они начали приподнимать ящик и взгромоздили его наконец на тележку, а после этого подкатали ее к платформе весов. Молочник в изнеможении опустился на ящик и еле отдышался; ему с большим трудом удалось кивнуть головой на многократные «вот спасибо вам» старого грузчика. Потом он вышел за ворота.

Вот сейчас-то он устал. Ох как устал! Сейчас ему не хотелось еще раз повидаться с преподобным Купером и его изголодавшимися по успеху друзьями. И уж конечно, ему не хотелось в ближайшее время что-то объяснять отцу или Гитаре. Поэтому он захромал назад к автобусной станции и спросил, когда отходит на Юг следующий автобус. Ему нужно именно на Юг. И при этом именно в Виргинию. Дело в том, что, как ему сейчас казалось, он понял, каким образом можно узнать, куда девалось золото.

Ныли ноги, болел живот, набитый гамбургерами, но по крайней мере он теперь сидел, и разочарование, охватившее его в пещере, здесь, в автобусе, притупилось. Он несколько часов проспал тяжелым крепким сном, проснулся, но не мог очнуться окончательно, еще немного подремал, опять проснулся на большой остановке и съел миску горохового супа. Он зашел в магазинчик, где торговали всякой всячиной, приобрел там бритвенные принадлежности, мыло и прочие атрибуты, необходимые для того, чтобы привести себя в пристойный вид, взамен оставленных у преподобного Купера; починят же ему ботинок (в настоящее время подклеенный жевательной резинкой) и зашьют костюм уже в Виргинии, там же он купит новую рубашку.

Автобус мчался по дороге, издавая шум, похожий на ворчание веймарских овчарок, и Молочнику стало немного жутковато, так же как тогда, в «последней комнате», когда Цирцея бросила взгляд на собак в раздумье: а переживет ли она их? Но ведь собак там тридцать с лишним, и все время рождаются новые.

Протянувшаяся вдалеке гряда невысоких холмов для него теперь уже не просто пейзаж. Места вполне реальные, да к тому же такие, где не следует прогуливаться в тридцатидолларовых ботинках. Он ни разу в жизни ни о чем так не мечтал, как найти в пещере золото, увидеть аккуратные ряды пузатеньких мешочков, повернувших к нему животики. Сперва он думал, он мечтает о золоте во имя персиков Мейкона Помера, во имя Цирцеи и ее желтоглазых овчарок, в особенности же во имя преподобного Купера и его приятелей-старичков, начавших умирать еще безусыми юнцами, ибо им пришлось увидеть, что случилось с чернокожим человеком, таким же, как они — «невежественным, как кувалда, и нищим, как арестант», — после того как, несмотря на все преграды, он добился своего. Он думал также, что мечтает об этом во имя Гитары, во имя того, чтобы стереть недоверчивое выражение, проглянувшее на его лице, когда они прощались: знаю, мол, обжудить ты меня надумал, сукин сын. Никакого золота в пещере не оказалось, но зато он твердо знал теперь: звук пустой все его благородные резоны мечтать об этом золоте. Золото ему нужно исключительно потому, что это золото и он хочет владеть им. Единолично. Уплетая гамбургеры на автобусной станции, он пытался представить себе, чем для него будет возвращение в родной город — ведь ему не только предстоит объявить, что он не нашел золота, он к тому же добровольно полезет в петлю, из которой уже не выбраться, — и его мысль заработала с непривычной четкостью.

Цирцея сказала, что Мейкон и Пой сели в фургон еще в Виргинии, откуда они оба родом. Кроме того, она сказала, что первый же сильный дождь разрушил могилу Мейкона и Батлеры или еще кто-то однажды летней ночью отнесли тело покойника в Охотничью пещеру. Однажды летней ночью. И когда они выуживали его из ручья, это было именно тело, труп, иначе как бы им узнать, что это негр, а не белый. А Пилат между тем утверждает, что

приезжала туда зимой и нашла в пещере только кости. Она утверждает, что лишь четыре года спустя навестила Цирцею, а потом побывала в пещере, и брела туда по снегу, и унесла с собой кости белого человека. Как же она не заметила костей отца? Ведь в пещере находилось два скелета. Что же, она перешагнула через один, а другой уложила в мешок? Разумеется, Цирцея ей тогда рассказала то же самое, что сегодня рассказала ему, — что в пещере, лежит тело ее покойного отца. Рассказывала ли Пилат Цирцее, что они с братом убили в пещере какого-то старика? Вероятно, нет, поскольку Цирцея не упомянула об этом, когда говорила с Молочником. Пилат сказала, что она унесла кости белого человека, а золото даже искать не стала. Это ложь. Она потому ни словом не обмолвилась о втором скелете, что его не было в пещере, когда она туда вошла. Она побывала в пещере не через четыре года... Впрочем, может, и через четыре, но тогда уже вторично, а не в первый раз. Она заходила в пещеру еще до того, как туда отнесли найденное в ручье тело негра. Кости-то она забрала, это так, Молочник сам их видел на столе в полицейском участке. Но она с собой не только кости взяла. Взяла и золото. И отвезла его в Виргинию. И может быть, в Виргинии живет сейчас кто-то, кто знает, где спрятано золото.

Вот туда он и отправится, разыскивать ее следы.

ГЛАВА 11

Все женщины с пустыми руками. Ни плоских сумочек, ни кошельков, ни портмоне, ни ключей, ни бумажного пакета, ни расчески, ни носового платка. Ничего, ну совершенно ничего. Никогда прежде Молочнику не приходилось встречать женщину, идущую по улице без сумки, которую они носят либо через плечо, либо зажимают под мышкой, либо просто держат в руке. У здешних женщин тоже такой вид, будто они направляются куда-то по делу, но в руках — ничего. Одной этой черточки достаточно, чтобы понять: он и впрямь забрался в самую глушь Виргинии, в местность, именуемую, как сообщали дорожные указатели, Блу-Ридж-Маунтинз. Данвилл, где была автобусная станция (она же закусочная) и почта на главной улице, выглядел столицей по сравнению с безымянной деревушкой, такой крохотной, что в ее пределах не было заложено ни одного кирпича на средства, ассигнованные государством либо вложенные частным предприятием. В Роаноке, Питерсберге, Калпепере — всюду расспрашивал он о местечке под названием Шарлеман. О нем никто не слыхивал. Наверное, на побережье, говорили одни. Приморский городок, вероятно. Какой-нибудь поселок на равнине, говорили другие. В конце концов Молочник зашел в одно из отделений агентства по

обслуживанию туристов, и спустя немного времени там установили правильное название городка: Шалимар. Как же мне туда добраться? Ну не пешком, разумеется. Автобусы туда ходят? Поезда? Нет. Собственно, он расположен в стороне и от железных дорог, и от автобусных маршрутов. Есть один автобус, но он ходит только до... Кончилось тем, что Молочник купил прямо во дворе у какого-то парня пятидесятидолларовую машину, заплатив за нее семьдесят пять. Она сломалась по дороге к бензоколонке, куда он ехал наполнить бак. И когда добрые люди подтолкнули машину к колонке, ему пришлось выложить 132 доллара за приводной ремень, за тормозную накладку, масляный фильтр, две новые покрышки и новехонький поддон картера, который был ему совсем не нужен, но Молочник его все-таки купил, после чего механик сообщил ему, что тот никуда не годится. Словом, его ободрали как липку, ободрали возмутительно. Однако возмущался он не тем, что с него слупили лишнее, и не тем, что расплачиваться пришлось наличными, ибо хозяин гаража уставился на кредитную карточку компании «Стандард ойл» таким взором, будто Молочник совал ему трехдолларовую бумажку, — нет, возмутился он потому, что уже успел привыкнуть к южным ценам: две пары носок — двадцать пять центов, тридцать центов — починить туфли, лишенные подошв, рубашка — доллар девяносто восемь, бритье плюс стрижка — полдоллара, о чем не мешало бы узнать двум неразлучным Томми из его родного города.

К тому времени как он купил автомобиль, он находился в состоянии, близком к блаженству, и путешествие доставляло ему искреннее удовольствие: его радовало неожиданно возникшее умение получать нужные сведения и помощь от незнакомых людей, их приязнь, доброжелательность («Может, вам переночевать негде?», «Перекусить хотите? Тут есть неплохая закусочная»). Итак, легенды о южном гостеприимстве оказались вовсе не враньем. Он не мог взять в толк, зачем вообще негры уезжают из южных штатов. Куда ни приедешь, не видно ни единого белого лица, негры же приветливы, благодушны, держатся уверенно — сам черт им не брат. Кроме того, все блага, выпавшие здесь на его долю, предназначались лично ему. Ему не оказывали любезностей ради отца, как в его родном городе, или в память о дедушке, как в Данвилле. Теперь же, сидя за рулем, он еще пуще взыграл духом. Сам себе голова — передохнуть ли захочет, остановиться, чтобы утолить холодным пивом жажду, и приятное

сознание собственной силы не умалялось даже от того, что он едет на драндулете, купленном за семьдесят пять долларов.

Ему приходилось внимательно следить за дорожными указателями и всяческими ориентирами, потому что на имевшейся у него карте не значился Шалимар, а в отделении туристского агентства не могли подготовить подробный маршрут по его специальному заказу, поскольку он не являлся членом ассоциации, — просто выдали карту и сообщили кое-какие сведения общего порядка. Впрочем, при всей своей старательности он бы так и не узнал, что прибыл к месту назначения, если бы приводной ремень не лопнул снова именно в ту секунду, когда автомобиль проезжал мимо «Торгового заведения Соломона», являющегося центром общественной жизни в городке Шалимар, Виргиния.

Он направился к лавке, кивнул четверем сидевшим на ступеньках крыльца мужчинам и осторожно обошел белых кур, которые прогуливались перед входом. Внутри лавки находилось еще трое мужчин, а четвертый стоял за прилавком — предположительно сам мистер Соломон. К нему Молочник и обратился с просьбой:

— Бутылочку холодного пива, будьте добры.

— По воскресеньям пивом не торгуем, — сказал человек за прилавком. Это был светлокожий негр с сидящими рыжими волосами.

— А, да. Я забыл, какой сегодня день. — Молочник улыбнулся. — Ну тогда шипучку. Содовую то есть. У вас найдется содовая со льдом?

— Вишневый смэш.[\[20\]](#) Подойдет вам?

— Вполне. Вполне подойдет.

Человек прошел в угол и откинул крышку ледника, устроенного на старинный лад. Пол был выщерблен, неровен, по его половицам за долгие годы протопало множество ног. Запасы консервов на полках были довольно скудны, зато в мешках, корзинах и картонных коробках — изобилие овощей и фруктов. Хозяин лавки вынул из ледника бутылку темно-красной жидкости, отер ее о фартук и протянул Молочнику.

- Пять центов, если пьете здесь. Семь центов — на вынос.
- Я буду пить здесь.
- Только что к нам приехали?
- Точно. Автомобиль сломался. Тут нет ли поблизости гаража?
- Поблизости нет. В пяти милях найдется.
- В пяти милях?
- Ага. А что у вас там поломалось? Может, кто из нас починит? Вы куда путь держите-то?
- В Шалимар.
- Тогда с приездом.
- Как, в самом деле? Это и есть Шалимар?
- Да, сэр. Шалимар. — У него это звучало «Шалимон».
- Значит, вовремя сломалась моя машина. Я наверняка бы мимо проскочил. — Молочник засмеялся.
- Ваш приятель тоже чуть было не проскочил.
- Мой приятель? Какой еще приятель?
- А тот, который ищет вас. Он нынче утром проезжал и спрашивал про вас.
- Кто спрашивал? Он называл мое имя?
- Нет. Ваше имя он не называл.
- Тогда откуда же известно, что он искал меня?
- Он сказал, он ищет своего приятеля в бежевом костюме-тройке. Вот в таком. — Хозяин лавки ткнул пальцем Молочнику в грудь.
- А какой он из себя?

— Кожа темного цвета. Фигура как у вас примерно. Высокий. Худой. А в чем дело? Потеряли, что ли, вы друг дружку?

— Да. То есть нет. Э... как его зовут?

— Он не сказал. Спросил про вас, и все. Долгий он, однако, путь проделал, чтобы повидаться с вами. Уж я-то заметил: у него на «форде» мичиганский номерной знак.

— Мичиганский? Вы уверены, что мичиганский?

— Еще бы не уверен! Вы в Роаноке, что ли, договорились встретиться?

И, увидев, что Молочник совсем ошалел, пояснил:

— Я ваш номерной знак из окна увидел. Молочник с облегчением вздохнул. Потом сказал:

— Я сам толком не знал, где мы с ним встретимся. А свое имя он не назвал?

— Не. Просто просил вам передать добрые вести, если я с вами увижусь. Погодите-ка, вроде бы так...

— Добрые вести?

— Ну да. Велел сказать, ваш день, мол, обязательно настанет, или ваш день... как это... ваш день пришел. Точно помню, было там про день. Вот не скажу только, не то ваш день настанет, не то он уже пришел. — Он хмыкнул. — Хорошо бы, мой день наконец настал. Пятьдесят семь лет дожидаюсь, а он все никак не придет.

Все дружно рассмеялись, только Молочник похолодел, и все в нем замерло, а сердце неистово билось. Добрая весть звучала недвусмысленно. Вестник тоже не вызывал сомнений. Гитара его ищет, идет по его следу, и его цели очевидны. Если только... Может быть, он просто пошутил? Мог он в шутку попросить, чтобы Молочнику передали слова, которые «Семь дней» шепотом говорят своим жертвам?

— Вас не замутило ли от смэша? — Мистер Соломон с любопытством смотрел на Молочника. — Сам-то я не уважаю сладенькую содовую.

Молочник покачал головой и торопливо допил бутылку.

— Нет, — ответил он. — Меня просто укачало в машине. Я, пожалуй, на улице немного посижу.

Он пошел к двери.

— Может, вы хотите, я вашу машину пока погляжу? — спросил мистер Соломон несколько оскорбленным тоном.

— Одну минутку. Я сейчас вернусь.

Он толкнул затянутую сеткой дверь и вышел на крыльцо. Сверкало солнце. Молочник снял пиджак, перебросил через плечо и понес, зацепив указательным пальцем. Окинул взглядом пыльную дорогу. Редко разбросанные домики, несколько собак, куры, дети и женщины с пустыми руками. Они сидели на крылечках и прогуливались по дороге, в ситцевых платьях, босые, курчавые — здесь не ходят к парикмахеру распрямлять кудряшки, волосы просто заплетают в косички или стягивают в узел на затылке. Его вдруг страшно потянуло к какой-нибудь из них. Устроиться на коечке в объятиях вон той, или той, или вот этой. Так, наверно, в молодости выглядела Пилат, она даже сейчас так выглядит, только очень уж не к месту пришлась там, в крупном северном городе. Большие сонные глаза со слегка приподнятыми уголками, широкие скулы, полные губы темнее лица, словно вымазанные ежевичным соком, и длинные, длинные шеи. В этом городке, подумал он, почти все, наверно, женятся на местных. Женщины все похожи одна на другую, и кроме нескольких рыжеволосых мужчин (вроде мистера Соломона), и мужчины очень похожи на этих женщин. Приезжие, должно быть, редки в Шалимаре, тип местных жителей давно установился и держится прочно.

Он спустился с крыльца, распугав белых кур, и зашагал по дороге к деревьям, которые росли около здания, похожего то ли на церковь, то ли на клуб. За деревьями играли ребятишки. Молочник расстелил пиджак на выжженной траве, сел и закурил.

Гитара, значит, здесь. Он спрашивал о Молочнике. Но что тут страшного, чего он испугался? Они друзья, и близкие друзья. Настолько близкие, что Гитара рассказал ему о «Семи днях» все без утайки. Такое

доверие — тяжелое бремя, из близкого друга оно превратило его чуть ли не в сообщника. Так чего же ему бояться? Просто глупо. Гитара, вероятно, попросил передать ему именно эту фразу, чтобы, не называя собственного имени, дать знать Молочнику, кто его ищет. У них в городе, наверное, что-то случилось. И Гитара, возможно, прячется от полиции, вот он и решил сбежать к верному другу, к единственному, кроме «Семи дней», кто все знает, поймет, кому можно довериться. Он разыскивает Молочника, чтобы тот ему помог. Естественно. Но если Гитаре известно, что Молочник направляется в Шалимар, он узнал об этом, вероятно, где-то в Роаноке или в Калпепере... может быть, даже в Данвилле. А раз он знает, то почему он его здесь не подождал? Где он сейчас? С ним что-то случилось. Что-то случилось с Гитарой, он попал в беду.

За спиной, у Молочника пели дети, они, как видно, играли в какую-то игру, вроде «Розочка, розочка, как ты хороша» или «Маленькая Салли Уокер». Молочник обернулся. Человек восемь-девять мальчиков и девочек образовали круг. Посредине круга, раскинув руки, стоял мальчик и вертелся, как видно изображая самолет, а остальные хором пели бессмысленный стишок:

Джейк, Соломона единственный сын,
Хей буба йейл, хей буба тамби,
В небо взлетел он до самых глубин,
Хей буба йейл, хей буба тамби...

Дети пропели еще несколько таких же четверостиший, а стоявший в середине круга мальчик продолжал изображать самолет.

Кульминационный пункт игры состоял в том, что детвора все торопливее выкрикивала тарабарщину, а мальчик-самолет все торопливее вращался под вопли: «Соломон пшеница балали шу, йараба медина в деревню ту-у» ... и так до самой последней строчки: «Двадцать один мальчик, а последний — Джей!» Тут мальчик грохнулся на землю, а остальные завизжали.

Молочник с интересом смотрел на их игру. Сам он в детстве не играл в такие игры. Едва он перестал опускаться на колени возле подоконника, оплакивая свое неумение летать, как его послали в школу, и бархатный костюмчик сделал его отщепенцем. И черные, и белые сочли, что он бросает им таким образом вызов, и вовсю изощрялись, насмехаясь над

ним, всегда старались так подстроить, чтобы он остался без завтрака или без цветных мелков, или же норовили не пропустить его ни в уборную, ни к умывальнику. В конце концов мать сдалась на его уговоры и позволила ему носить вельветовые бриджи, после чего жить стало полегче, но его по-прежнему не приглашали играть в эти игры, где все становятся в кружок, поют песни; его не приглашали никуда до того памятного случая, когда те четверо набросились на него скопом, а Гитара его вызволил. Молочник улыбнулся, вспомнив ухмылку Гитары и его грозный клич, когда те четверо мальчишек бросились уже на него самого. Впервые в жизни Молочник увидел, что кому-то драка доставляет удовольствие. А потом Гитара снял бейсбольную кепку, вручил ее Молочнику и велел вытереть расквашенный нос. Молочник вымазал кепку в крови, вернул владельцу, и Гитара снова нахлобучил ее на голову.

От этих воспоминаний о школьных временах ему стало стыдно: как мог он испугаться и заподозрить нечто недоброе в словесном послании Гитары? Ладно, он появится, все объяснит, и Молочник не пожалеет усилий, чтобы его выручить. Он встал и отряхнул пиджак. Мимо прошеествовал черный петух с ниспадающим вперед кроваво-красным гребнем, который придавал ему зловещий вид.

Молочник снова пошел к лавке Соломона. Ему нужно подыскать жилье, кое-что разузнать, нужна также женщина, причем не обязательно все именно в таком порядке. С чего удастся начать, с того он и начнет. В принципе даже неплохо, что Гитара о нем спрашивал. Возник благовидный предлог какое-то время проторчать без дела в Шалимаре: он ведь ждет приятеля. К тому же ему нужно раздобыть здесь новый приводной ремень. Куры и кошки на ступеньках крылечка уступили ему дорогу, когда он приблизился к ним.

— Ну как, полегчало? — спросил мистер Соломон.

— Да, теперь гораздо легче. Я думаю, мне просто надо было немного пройтись. — Он кивнул в сторону окна. — Хорошо тут у вас. Спокойно, мирно. И женщины красивые.

Молодой человек, расположившийся на стуле так, что спинка стула упиралась в стену, а передние ножки висели в воздухе, резко опустил их на пол и сдвинул шляпу на затылок. Он приоткрыл рот, и

обнаружилось, что у него не хватает четырех передних зубов. Остальные посетители зашаркали ногами. Мистер Соломон улыбнулся, но не сказал ничего. Молочник понял, что допустил какой-то просчет. Насчет женщин, мелькнуло у него в голове. Ничего себе городишко, где мужчина даже не имеет права заговорить о женщинах!

Он решил сменить тему.

— Если бы мой приятель, ну, тот самый, что заезжал сюда сегодня утром, если бы он вздумал поджидать меня здесь, где он, скорее всего, смог бы остановиться? Меблированные комнаты тут есть?

— Меблированные комнаты?

— Ну да. Дом, где мог бы переночевать приезжий.

Мистер Соломон покачал головой.

— Ничего такого у нас нету.

Молочника постепенно начинала разбирать злость. Чем он заслужил подобную враждебность? Он обвел взглядом мужчин, сидевших в лавке.

— Как вы считаете, кто-нибудь из них смог бы починить мою машину? — обратился он к мистеру Соломону. — Или, может быть, где-то найдется приводной ремень?

Мистер Соломон не поднимал глаз от прилавка.

— Спрошу попробую. — Говорил он тихо, так, словно ему было неловко. От прежней словоохотливости не осталось и следа.

— Если не удастся разыскать тут приводной ремень, сразу же дайте мне знать. Возможно, придется купить другую машину, чтобы добраться домой.

Лица всех мужчин повернулись к нему, и Молочник понял: он опять что-то ляпнул, хотя понятия не имел — что именно. Он только чувствовал: все они смотрят на него так, будто он их чем-то оскорбил.

Он и в самом деле их оскорбил. Они смотрели с ненавистью на этого негра, который приехал к ним из большого северного города и мог купить машину, словно бутылку виски — разбил нечаянно, ну ладно, новую куплю. Мало того, он сказал об этом, не стесняясь их присутствия. Он не соизволил назвать свое имя и не соизволил также узнать их имена, он назвал их просто «они», и, разумеется, он их презирает — им бы с утра до ночи трудиться на своих полях, а они торчат вместо этого в лавке, надеясь, что кто-нибудь подъедет на грузовике в поисках подсобных рабочих на мельницах или табачных плантациях, расположенных на равнине и принадлежащих отнюдь не им. Его поведение, его одежда — все напоминало им, что у них нет своих полей, где они могли бы трудиться, да и земли у них, собственно, нет. Так, огородики — с ними и женщина справится, куры и свиньи — за ними ребяташки приглядят. Он говорил всем своим видом, что они не мужчины, ибо кормильцы у них в семье — женщины и дети. И что волоконца хлопка и табачные крошки, завалывшиеся в карманах, где должны бы лежать доллары, — это критерий. Что ботинки из тонкой кожи, и костюм с жилетом, и гладкие, гладкие руки — тоже критерий. Точно так же критерием являются глаза, видевшие большие города и самолеты — изнутри, не только снаружи. Они заметили, как он разглядывал их женщин, стоя на крыльце. Заметили они и то, что он запер машину, едва вылез из нее, и сделал это в городке, где на двадцать пять миль окрест в лучшем случае найдется два ключа от автомашин, никак не больше. Он счел, что они недостойны того, чтобы он узнал их имена, недостаточно хороши, и в то же время сам он — слишком хорош, чтобы сообщить им свое имя. Они глядели на него и видели, что кожа у него так же черна, как и у них, но они знали: у него сердце белого человека, из тех, что приезжают на грузовиках, когда им требуются безымянные, безликие работники.

Но вот один из них обратился к негру с водительским удостоверением, выданным в Виргинии, и с мичиганским акцентом.

— Богато там живут у вас на Севере, а?

— Кто как, — ответил Молочник.

— Кто как? А я слыхал, на Севере все зашибают большую деньгу.

— Да нет, у нас на Севере полно бедняков. — Он ответил вежливо и мягко, но чувствовал: назревает скандал.

— Чудно ты говоришь. На кой же там люди живут, коли не могут зашибать деньгу?

— Там, наверно, очень красиво, — вмешался в разговор еще один из сидевших в лавке. — Места красивые и женщины.

— Да ты шутики шутишь, — в притворном ужасе воскликнул первый. — Неужели там, на Севере, бабенки не такие, как везде?

— Да нет, — сказал второй. — Баба она всюду баба. И жаркая, и сладкая.

— Не может того быть, — сказал третий. — На Севере, наверно, другие.

— Может, у них мужики другие, — снова вмешался первый.

— Ты откуда это взял? — любопытно спросил второй.

— Да вот, люди говорят, — ответил первый.

— Чем же они не такие? — спросил второй.

— А у них не все в порядке, — сказал первый. — Очень хлипкие они... как мужики.

— Да ну! — удивился второй.

— Так люди говорят. Поэтому они такие узенькие брючки носят. Верно? — сказал первый и в упор посмотрел на Молочника, ожидая ответа.

— Откуда мне знать, — сказал Молочник. — Я в чужие брюки не лезу. — Все улыбнулись, в том числе и Молочник. Еще чуть-чуть — и взрыв.

— А чужие задницы ты не лижешь? Даже близко к ним не подходил?

— Один раз подходил, — оказал Молочник. — Когда молодой нахальный ниггер меня рассердил, пришлось засунуть ему в задницу бутылку кока-колы.

— Ишь какой ты скорый! Просто боязно с тобой говорить.

— Ублюдки разные, у кого в башке вместо мозгов мякина, пусть лучше помалкивают.

Блеснул нож. Молочник рассмеялся:

— Я их с четырнадцати лет не видел. В наших краях ножиками балуют мальчишки... если перепугаются так, что поджилки дрожат.

Его противник усмехнулся:

— Тот самый случай, сволота. Ты до того меня перепугал, просто трясутся поджилки.

Молочник постарался применить все свое проворство, орудя горлышком от разбитой бутылки, но его противник порезал ему лицо, порезал левую руку, красивый бежевый костюм и, возможно, перерезал бы ему горло, если бы в лавку не ворвались две женщины, громко вопя: «Саул! Саул!»

К тому времени в лавку набежало множество народу, и женщинам никак не удавалось пробиться к месту драки. Мужчины было шикнули на баб, но те продолжали визжать, и благодаря их вмешательству мистеру Соломону удалось разнять дерущихся.

— Ладно. Ладно. Хватит.

— Заткнись ты, Соломон!

— Лучше выгони отсюда баб.

— Врежь ему, Саул, врежь говнюку!

Но у Саула была рваная рана над глазом, струилась кровь, и он не видел почти ничего. Так что мистеру Соломону, хоть и не без труда, удалось оттащить его в сторону. Он удалился, осыпая Молочника бранью, но пыл его уже поух.

Молочник медленно отступал вдоль прилавка, настороженно озираясь — а вдруг кто еще надумал на него наброситься. Убедившись, что желающих нет и люди мало-помалу выходят из лавки поглазеть, как Саул, ругаясь почему зря, вырывается из рук мужчин, которые уводят его прочь, Молочник немного обмяк и вытер наконец-то лицо. Когда в лавке не осталось никого, кроме хозяина, Молочник запустил горлышком бутылки в угол. Оно угодило в стену около дверцы ледника, отскочило рикошетом и только после этого рассыпалось осколками по полу. Он вышел на крыльцо, все еще тяжело дыша, и огляделся. Четверо пожилых мужчин сидели на ступеньках с таким видом, словно ровным счетом ничего не случилось. Струйка крови стекала по его лицу, на руке же кровь уже засохла. Он пинком толкнул белую курицу и уселся на верхней ступеньке, вытирая кровь носовым платком. Три молодые женщины с пустыми руками стояли на дороге и смотрели на него. Глаза у них были широко раскрыты, но выражение глаз трудно уловить. Подошли дети и окружили женщин, как птицы. Никто не произнес ни слова. Молчали и мужчины на крыльце. Никто не подошел к нему, не предложил сигарету или хотя бы стакан воды. Только дети и куры разгуливали вокруг. Молочник чувствовал, как он леденеет от гнева, несмотря на палящий солнечный зной. Если бы в руках у него сейчас оказалось хоть какое-то оружие, он бы всех их поубивал.

— Бутылкой ты действуешь лихо. Ну, а ружьем? — Один из пожилых мужчин, сидящих на крыльце, подошел к нему бочком. На лице его мелькнула улыбка. Получалось вроде так: молодые люди попробовали свои силы и потерпели крах, а теперь на сцену выступили пожилые. Вести они себя, конечно, будут совсем по-другому. Состязаний в ругани, достойной стен сортира, они устраивать не станут. Не станут пускать в ход ножей и, набычившись, лезть в драку. Нет, они испытают его, померяются с ним силами и, возможно, положат на обе лопатки в сфере совершенно иной.

— Стрелок я классный, — солгал Молочник.

— В самом деле?

— Угу.

— Мы тут надумали поохотиться. Хочешь к нам в компанию?

— Этот беззубый хмырь тоже пойдет?

— Саул? Нет.

— А то мне, может быть, придется ему и остальные зубы повыбивать.

Его собеседник рассмеялся:

— Это шериф ему выбил передние зубы... рукояткой револьвера.

— Да ну? Как хорошо.

— Так пойдешь на охоту?

— Конечно, пойду. Вы мне только ружье достаньте. Тот снова рассмеялся:

— Зовут меня Омар.

— Мейкон Помер, — представился Молочник. Услыхав такую фамилию, Омар несколько оторопел, но не сказал ни слова. Просто объяснил, что собираются они вечером, примерно на заходе солнца, у бензоколонки Кинга Уокера, расположенной на дороге милях в двух от городка.

— Пойдешь вот так, все прямо и прямо. Колонку эту невозможно пропустить.

— Я не пропущу.

Молочник встал и подошел к своей машине. Он вытащил из кармана ключи, открыл дверцу и забрался на сиденье. Он опустил все четыре боковых стекла, отыскал полотенце на заднем сиденье и растянулся, сунув под голову, как подушку, свернутый пиджак, а полотенце приложил к порезанному и все еще кровоточащему лицу. Ноги не уместились на сиденье и торчали из открытой дверцы. Плевать на всех. Да кто они ему, эти бесчисленные люди, которые пытаются его убить? Отец хотел убить его, еще когда он был во чреве матери. Тем не менее он остался жив. Весь последний год он только чудом избегал смерти от руки женщины, которая каждый месяц являлась, чтобы его убить, а он лежал вот так же, как сейчас, прикрыв рукой глаза и не пытаясь

уклониться от очередного орудия убийства. Прошел год, и он все еще жив. А потом из кошмарных снов его детства вышла ведьма и вцепилась в него, и он опять же остался в живых. К нему устремились летучие мыши и изгнали из пещеры, а он по-прежнему жив. И притом все время безоружен. Вот и сегодня он вошел в лавку и спросил, не может ли кто починить его автомобиль, и сразу же какой-то ниггер кинулся на него с ножом. Но он и тут не умер. Интересно, что задумали эти чернокожие неандертальцы? Да наплевать на них, и делу конец. Мое имя Мейкон, и я уже помер. Он думал, этот городишко, Шалимар, — его родина. Настоящая родина. Отсюда приехали его бабка и дед. Здесь, на Юге, все были доброжелательны к нему, охотно предлагали и приют, и помощь. В Данвилле ему просто поклонялись, как герою. В том городе, где он родился, его имя вызывало угрюмое почтение и страх. Но здесь, «на родине», его никто не знает, никто не любит — и чуть не отправили на тот свет. Нет, таких мерзопакостных ниггеров он еще не видел, по ним давно веревка плачет.

Он спал, не потревоженный никем и ничем, кроме сновидения: Молочнику казалось, к нему подошел Гитара и смотрел на него сверху вниз. Проснувшись, он купил у мистера Соломона две банки ананасного сока и коробку сухого печенья. Поел он вместе с курами на крыльце. Мужчины, сидевшие на ступеньках, ушли, да и солнце клонилось к закату. Остались только дети, они внимательно смотрели, как он ест. Когда он вылил себе в рот остатки сока, один мальчик выступил вперед и попросил: «Можно взять вашу банку, мистер?» Он протянул ее мальчугану, дети схватили банку и умчались с ней изобретать новую игру.

Он же отправился к бензоколонке Кинга Уокера. Даже если бы ему подвернулся случай отказаться от участия в охоте, он не воспользовался бы им, невзирая на тот факт, что он ни разу в жизни не держал в руках огнестрельного оружия. Он перестал увертываться, перестал избегать трудностей, сторониться их и обходить. Раньше он решался идти на риск только вместе с Гитарой. Теперь он с легкостью шел на риск в одиночку. Он ведь не только позволял Агари делать попытки вонзить в него пешню или нож, он позволил ведьме из кошмарного сна схватить его и облобызать. Для человека, который пережил такое, теперь все — пустячки.

Кинг Уокер был маленький плешивый человечек, чья левая щека постоянно оттопыривалась от табачной жвачки. Много лет тому назад он был одним из самых знаменитых подающих в бейсбольных негритянских командах, и вся история его карьеры была расклеена и пришпилена кнопками к стенам его мастерской. Мистер Соломон не лгал, сказав Молочнику, что ближе чем за пять миль от города тот не найдет ни дежурного механика, ни гаража. Мастерская Кинга Уокера явно прекратила свое существование уже давным-давно. Насосы высохли, во всей мастерской не сыскалось бы даже канистры с бензином. В настоящее время она исполняла роль мужского клуба, а сам Уокер жил в пристройке за мастерской. Кроме Кинга Уокера, который на охоту не ехал, в мастерской находился Омар и еще один человек, тоже сидевший тогда на ступеньках; он отрекомендовал себя как Лютер Соломон — к Соломону из бакалейной лавки никакого отношения не имеющий. Они поджидали остальных участников охоты, и те вскоре прибыли на старом «шевроле». Их было двое, и Омар представил их Молочнику: Кальвин Брейкстоун и Малыш.

Из всей компании самым заботливым оказался Кальвин: едва познакомившись с Молочником, он тут же велел Кингу Уокеру «разыскать подходящие ботинки, чтобы этот горожанин сразу же переобулся». Кинг, сплевывая табачную жвачку, пошарил по мастерской и принес задубевшие от грязи бутсы. Они обрядили Молочника полностью, причем очень веселились: хохотали над его бельем, щупали жилет, Малыш сделал попытку втиснуть свои широкие борцовские плечи в пиджак Молочника. Все удивлялись: что у него с ногами? После того как он провел два дня в мокрых носках и ботинках, кожа клочьями слезала с пальцев ног. Кинг Уокер дал ему толстые носки, но перед тем, как их надеть, велел присыпать пальцы порошком «Арм энд Хэммер». Когда Молочника облачили в солдатскую форму времен второй мировой войны и нахлобучили ему на голову вязаную шапку, охотники откупорили гигантскую бутыл пива и принялись толковать о ружьях. Мало-помалу веселье начало стихать, и Кинг Уокер вручил Молочнику свой винчестер 22-го калибра.

— Пользовался когда-нибудь двадцатидвухкалиберным?

— Давно не приходилось, — ответил Молочник.

Пять мужчин забили до отказа «шевроле», и в сгущающихся сумерках машина двинулась в путь. Насколько мог определить Молочник, примерно через четверть часа они выехали на возвышенное место. Пока машина петляла по узким проселкам, охотники опять разговорились и принялись вспоминать прежние поездки, дичь, которую им удалось подстрелить, и дичь, которая ушла из рук, несмотря на их старания. Вскоре совсем стемнело, дорогу теперь освещал только свет луны, стало холодно, и Молочник порадовался, что на него надели вязаную шапку. Машина двигалась все дальше, резко сворачивая на крутых поворотах. Молочнику показалось, что в зеркале заднего вида на миг мелькнули фары другой машины, и у него возникла мысль, не условились ли его спутники встретиться еще с одной компанией. На темном небе проступили звезды.

— Ты бы поторопился, Кальвин. Не то енот успеет поесть и отправится на боковую.

Кальвин подъехал к обочине и затормозил.

— Пора их выпускать, — сказал он и отдал Малышу ключи от машины; тот обошел автомобиль и отпер багажник. Оттуда выпрыгнули три охотничьи собаки, они принялись к новым запахам и виляли хвостами. Но при этом вели себя совершенно бесшумно.

— Ты взял Бекки? — спросил Лютер. — Ого! Ну, енот нам на сегодня обеспечен.

Глядя на охваченных нетерпением собак, которые только ждали знака, чтобы ринуться в лесную чащу, Молочник вдруг ощутил беспокойство. Интересно, что он должен делать? В какую сторону ни повернись, в двух шагах от фар ни зги не видно.

Омар и Малыш разгружали багажник: четыре масляных фонаря и один электрический, веревка, патроны и пинта спиртного. Когда все четыре фонаря как следует разгорелись, Молочника спросили, с каким фонарем он пойдет, с масляным или электрическим. Он замялся, и Кальвин сказал:

— Он побежит со мной. Дайте ему электрический фонарик.

Молочник сунул его в задний карман.

— Вынь из кармана мелочь, — посоветовал Кальвин. — Очень уж гремят твои капиталы.

Молочник последовал его совету, потом взял дробовик Кинга, кусок веревки и, когда бутыль пустили по кругу, основательно к ней приложился.

Собаки молча кружили возле них, слышался лишь глухой стук их лап и частое дыхание. Они были вне себя от волнения, но ни одна даже не взвизгнула. Кальвин и Омар зарядили свои двустволки, в один ствол вложили патрон с пулей 22-го калибра, а в другой — с крупной дробью. Малыш хлопнул в ладоши, и все три собаки с визгом устремились в темноту. Молочник думал, что охотники немедленно последуют за ними, но он ошибся. Некоторое время они стояли, не говоря ни слова, и только вслушивались. Потом Малыш, качая головой, негромко рассмеялся:

— Бекки ведет. Ну, пошли. Кальвин, вы с Мейконом пойдете направо. Мы двинемся в эту сторону, в обход, и выйдем к самому ущелью. Будьте добры, по медведям пока не стреляйте.

— Если увижу медведя, обязательно пристрелю, — сказал Кальвин, вместе с Молочником отходя от машины.

В это время автомобиль, который Молочник заметил раньше, промчался мимо них по дороге. Значит, к их компании он явно не имеет отношения. Кальвин шел впереди, горящий фонарь покачивался в его опущенной руке. Молочник включил свой фонарик.

— Побереги батарейку, — сказал Кальвин. — Сейчас он тебе не нужен.

Они шагали вперед и вперед, по-видимому, в ту сторону, где визжали собаки, но Молочник не был в этом уверен.

— Здесь действительно можно встретить медведя? — спросил он, надеясь, что в его голосе звучит не страх, а любопытство.

— Кроме нас, ни одного нет, к тому же мы вооружены. — Кальвин засмеялся и внезапно совершенно исчез в темноте, только покачивающийся низко над землей фонарь указывал его путь. Молочник шел, не спуская глаз с фонаря, пока не понял, что, так

сосредоточенно следя за ним, он лишал себя возможности увидеть что-нибудь, кроме этого петляющего над землей огонька. Где-то слева от них между деревьями пронесся долгий стон. Казалось, плачет женщина, и звук ее рыданий смешался с криками охотников и лаем собак. Прошло несколько минут, и доносившиеся издали голоса троих охотников и тявканье собак внезапно смолкли. Слышались лишь вздохи ветра да шорох шагов — его и Кальвина. Молочник не сразу понял, как двигаться по лесу: нужно было поднимать повыше ноги, чтобы не спотыкаться о камни и корни; научиться отличать, где дерево, а где просто тень; опускать голову, слегка ее поворачивая при этом, чтобы ветки, которые отводит рукой Кальвин, не хлестали его по лицу. Они шли в гору. Время от времени Кальвин останавливался и внимательно осматривал какое-нибудь дерево, освещая фонарем ствол футов с трех от земли и до той высоты, до какой ему удавалось достать вытянутой рукой. А иногда он ставил фонарь на землю, присаживался на корточки и вглядывался в освещенный участок земли. При этом он все время как будто что-то бормотал про себя. Он не говорил, удалось ли ему что-нибудь обнаружить, а Молочник не спрашивал его об этом, заботясь только о том, чтобы не отстать от спутника и быть готовым выстрелить в любого зверя, когда тот покажется. В то же время он был настороже на случай, если кто-нибудь из охотников вздумает покуситься на его жизнь. Ведь он и часа не пробыл в Шалимаре, а какой-то парень среди бела дня уже попытался убить его на глазах у всех. На что способны здешние люди постарше да еще под покровом ночи, можно было только догадываться.

Он снова услышал рыдания женщины и спросил Кальвина:

— Что это еще за чертовщина?

— Эхо, — ответил тот. — Там чуть подальше впереди — ущелье Рины. Если ветер дует с этой стороны, оттуда доносятся такие звуки.

— Похоже, будто плачет женщина, — сказал Молочник.

— Это Рина. Люди рассказывают, там плачет женщина по имени Рина. Поэтому и ущелье называли так.

Кальвин вдруг остановился так внезапно, что Молочник, погруженный в размышления о Рине, налетел на него.

— Тс-с-с! — Кальвин зажмурил глаза и склонил набок голову, как бы вслушиваясь в ветер.

Молочник слышал только лай собак, они опять растягались, но теперь, как ему показалось, более ожесточенно, чем прежде. Кальвин свистнул. В ответ раздался тихий свист.

— Ух, ни дна тебе ни покрышки! — вскрикнул он взволнованным, срывающимся голосом. — Рысь! Ну, ходу, парень!

Тут он не побежал, а буквально прыгнул вперед. Молочник бросился следом. Теперь они продвигались в два раза быстрее, хотя им по-прежнему приходилось идти в гору. За всю жизнь Молочник никогда не совершал таких неимоверно длинных переходов. Мы, верно, отмахали не одну милю, думал он. Сколько же времени мы идем? По-моему, он свистнул часа два назад, не меньше. Они все шагали и шагали Кальвин, не сбавляя скорости, несясь вперед. Лишь изредка он на секунду останавливался, вскрикивал и прислушивался, есть ли отзыв. Луна поднялась заметно выше, и, Молочник начал чувствовать, что очень устал. Расстояние между ним и фонарем Кальвина все увеличивалось. Он был на двадцать лет моложе Кальвина, но никак не мог за ним поспеть. От усталости он стал неуклюжим: взбирался зачем-то на большие камни вместо того, чтобы их обойти, еле поднимал ноги и спотыкался о выпирающие петли корней. К тому же сейчас, когда он не шел по пятам за Кальвином, ему приходилось самому отводить от лица ветки, иногда сгибаться в три погибели, пролезая под ними, продираться сквозь заросли — все это, пожалуй, утомляло не меньше, чем сама ходьба. Он совсем запыхался, и больше всего на свете ему хотелось сесть. Молочнику казалось, что они все время ходят по кругу — вон тот двугорбый утес в стороне он видит, кажется, уже в третий раз. Может, так надо, ходить по кругу? — подумал он. Потом он вспомнил, что слышал, будто некоторые звери, почуяв погоню, начинают петлять. Петляют ли рыси? Он не знал, не знал даже, на кого она похожа, эта рысь.

В конце концов он не мог уже бороться с усталостью и вместо того, чтобы замедлить шаг, сел на землю. Это было ошибкой, ибо, когда, отдохнув, он снова встал, боль в ногах усилилась, а в левой, короткой ноге сделалась до того нестерпимой, что он начал хромать. Вскоре он убедился, что через каждые пять минут, не реже, он вынужден

останавливаться и отдыхать, привалившись к смолистому стволу какого-нибудь дерева. Кальвин сделался теперь еле заметной светлой точкой, которая мелькала далеко впереди, то исчезая за деревьями, то снова появляясь. Наконец Молочник не выдержал: ему нужно было как следует отдохнуть. Остановившись у ближайшего дерева, он опустил на землю и прижался затылком к его коре. Пусть себе смеются над ним, если хотят, он не тронется с места до тех пор, пока сердце не перестанет биться чуть ли не под самым подбородком и не спустится опять в грудную клетку, где ему и положено быть. Он вытянул ноги, вынул из кармана брюк фонарик и положил винчестер рядом с правой ногой. Лишь сейчас, отдыхая, он почувствовал, как в висках пульсирует кровь, как щиплет порез на лице, когда на него попадает сок листьев или сломанных веток.

Наконец он отдышался и стал размышлять: что занесло его в лесную чащу горной местности, называемой Блу-Ридж? Он приехал сюда разыскать следы того давнего путешествия, сделанного его теткой, разыскать родственников, к которым она, возможно, заходила, разыскать все, что угодно, лишь бы оно привело его к золоту либо убедило, что золота больше не существует. Так чего же ради он ввязался в какую-то охоту в ночном лесу, а еще раньше в поножовщину? По недомыслию, подумал он, и из тщеславия. Ему бы сразу насторожиться, ведь зловещие сигналы то и дело лезли в глаза. Может быть, он напоролся на какую-то банду чернокожих негодяев, но ему следовало бы догадаться об опасности, почуять ее; беспечность его отчасти объясняется тем, что до сих пор его везде принимали приветливо и благодушно. Или дело не в этом? Может быть, ореол героя (доставшийся по наследству), преклонение, которым окружили его в Данвилле, тоже его ослепили. Возможно, глаза жителей Роанока, Питерсберга, Ньюпорт-Ньюс вовсе не сверкали восхищением и горячим желанием оказать ему приют. Может быть, в них поблескивало любопытство или насмешка. Ни в одном из этих городов он не пробыл настолько долго, чтобы это выяснить. Здесь пообедал, там купил бензин... Единственный реальный контакт с местными жителями состоял в покупке автомобиля, а продавец, заинтересованный в покупателе, само собой, ведет себя дружелюбно, просто в силу обстоятельств. И все сложные дорогостоящие починки — тот же случай. Что же они представляют собой, шалимарские дикари? Недоверчивые, вспыльчивые. Когда видят чужого, охотно

готовы к чему угодно придраться и возненавидеть его. Обидчивые. Неискренние, завистливые, вероломные и злобные. Что он такого сделал, чтобы заслужить их презрение? Что он сделал, чтобы заслужить ту жгучую враждебность, которая его буквально опалила, когда он сказал, что, может быть, ему придется купить автомобиль? Почему они не повели себя так, как тот человек в Роаноке, у которого он купил автомобиль? Наверно, потому, что в Роаноке у него не было автомобиля, Сюда же он приехал на автомобиле, собирается купить еще один, и, возможно, именно это так на них подействовало; мало того, он даже не заикнулся о том, что отдаст старую машину в счет покупки новой. Наоборот, сказал это так, будто он, мол, просто бросит «сломанный» автомобиль и купит новый. Ну и что? Не их собачье дело, как он распорядится своими деньгами. Он не заслужил...

А, знакомое словечко! «Заслужил». Старое, набившее оскомину, истасканное. Заслужил. Молочнику сейчас казалось, что он всю жизнь твердил или думал о том, как он не заслужил какой-то неудачи или чьего-то неприязненного отношения. Он сказал Гитаре, что «не заслужил» зависимости от своих домашних, ненависти или чего-то еще. Он «не заслужил» даже того, чтобы выслушивать, как родители взваливают на него свое горе и взаимные обиды. «Не заслужил» он также мстительность Агари. Но почему родители не могут рассказать ему то, что их тревожит и огорчает? Если не ему, кому им это рассказать? И если совершенно незнакомый человек хотел его убить, то уж Агарь, которая была ему так близка и которую он отбросил, как комочек жевательной резинки, когда она утратила свой аромат, — уж она-то, разумеется, имеет право покушаться на его жизнь.

Похоже, он думал, что заслуживает только одного: чтоб его любили — да и то издали — и чтоб он получал все, что хочет. Ну, а в благодарность он будет... Каким? Симпатичным? Щедрым? Кажется, все его отношения с людьми сводились к формуле: я за вашу жизнь не в ответе; пожалуйста, делитесь со мной вашими радостями, а горем не делитесь.

Мысли неприятные, но от них не отделаться. Над ним луна, он сидит на земле, совсем один, когда даже лай собак не напоминает о том, что тут есть другие люди, и в этот миг его «я» — кокон, являющий собой его «личность», — внезапно заговорило. Он с трудом мог разглядеть свою

руку и не видел ступни ног. Он состоял лишь из дыхания, успокоившегося теперь, и из мыслей. Все остальное исчезло. И мысли хлынули, не встречая преград в виде других людей, предметов, даже его собственного тела. Здесь ничто не поможет ему: ни деньги, ни автомобиль, ни репутация папаши, ни костюм, ни ботинки. Наоборот, все это, скорее, обернется против него. Кроме разбитых часов и жилета, в карманчике которого лежит около двухсот долларов, он лишился всего, с чем отправился в путь: чемодана с бутылкой шотландского виски, рубашками и незаполненным пространством, оставленным для мешочков с золотом; фетровой шляпы с полями, загнутыми спереди вниз, а сзади вверх; галстука, рубашки, костюм-тройки и ботинок. Ни часы, ни двести долларов не принесут ему никакой пользы здесь, где у каждого есть только то, с чем он родился, да еще то, чем он выучился пользоваться. И опыт. Глаза, уши, нос, осязание, вкус... и еще одно какое-то свойство, которого — он точно знает — у него нет: способность выделить из всего, что воспринимают твои чувства, то единственное, от чего, возможно, зависит твоя жизнь.

Что видел Кальвин на коре деревьев? На земле? О чем он бормотал? Что он такое услышал, из чего сразу понял, что в двух милях от них — а может, и больше случилось нечто неожиданное и неожиданность эта заключается в том, что охотники наткнулись на другого зверя, не на енота, а на рысь? Он все еще слышал их... Он слышит эти звуки уже несколько часов. Перекликаются, передают друг другу какие-то сигналы. Какие? «Не зевай»? «Вон там»? Мало-помалу он начал понимать: и собаки, и люди подают голос не просто так, не просто сообщают, где они находятся и с какой скоростью бегут. Люди и собаки разговаривают друг с другом. Совершенно отчетливо они говорят совершенно определенные и сложные вещи. За протяжным звуком «э-э-а-а» всегда следует совсем особый вой одной из собак. Низкое «хаум, хаум», напоминавшее подражающий фэготу звук басовой струны, было каким-то приказом — собаки его понимали и выполняли. И собаки разговаривали с людьми: отрывистый лай с большими одинаковыми промежутками — за три-четыре минуты один раз — продолжался иногда минут по двадцать. Нечто вроде радарной установки, сигналы которой сообщали людям, где сейчас находятся собаки, что они видят и что собираются сделать. И люди одобряли их, или же велели бежать в другую сторону, или вернуться назад. Все эти взвизгивания, торопливый залиvistый лай, протяжный приглушенный вой, звуки,

похожие на уханье тубы[21], и звуки, похожие на барабанный бой, и низкое, мелодичное «хаум, хаум», резкий свист, пронзительное корнетное «и-и-и», «умф, умф, умф» басовых струн. Все это язык. Усовершенствованный вариант того цоканья, которым у них на Севере человек велит собаке идти за ним следом. Впрочем, нет, не язык; это то, что было до возникновения языка. До того, как люди научились делать наскальные рисунки. Язык тех времен, когда люди и животные разговаривали друг с другом: когда человек и горилла могли усестись рядом и вступить в беседу, когда тигр и человек могли жить на одном дереве и понимать друг друга, когда человек бежал вместе с волками — не за ними и не от них. И вот ему довелось услышать этот язык в Блу-Ридж-Маунтинз, сидя под деревом, от которого сладко пахло смолой. Да, но если они умеют разговаривать с животными, то уж о людях им наверняка известно все. А о земле и подавно. Нет, не только следы разыскивал Кальвин, он перешептывался с деревьями, перешептывался с землей, он бережно прикасался к ним, как слепой к странице брайлевской книги, кончиками пальцев впитывая в себя ее содержание.

Молочник потерял затылком о ствол дерева. Так вот чего лишился Гитара, переехав на Север, — лесов, друзей-охотников, погони за дичью. И все-таки с тех пор, как он здесь странствует, что-то больно задело его, покалечило, оставив такой же след, как шишка над ухом преподобного Купера, как выбитые зубы Саула, как его собственный отец. Его внезапно охватило острое чувство любви к ним, к каждому из них, и, сидя на земле под сладко пахнувшим смолой деревом, слушая, как охотники вдали выслеживают рысь, он подумал, что теперь понял Гитару. По-настоящему понял его.

Справа и слева от него к его бокам прикасались торчавшие над землей корни, они баюкали его, трогали шершавыми, но ласковыми дедовскими руками. Размягченный и в то же время настороженный, он запустил пальцы в траву. Он попытался что-нибудь услышать кончиками пальцев, узнать, что скажет ему земля, если она умеет говорить, и она торопливо ему сообщила, что позади него кто-то стоит и что он должен, не теряя времени, поднять руку к горлу и перехватить проволоку, обвившуюся вокруг его шеи. словно бритва, резанула она его по пальцам, так глубоко впилась в них, что он не смог ее удержать. Едва он ее выпустил, проволока сдавила шею, и он стал задыхаться. В

горле у него забулькало, перед глазами заплясали разноцветные огоньки. А потом послышалась музыка, и он понял, что не дышать ему отныне сладким воздухом этого мира. Он знал: именно так это бывает, и с ним случилось в точности так — яркой вспышкой промелькнула перед ним его жизнь, но приняла она только один, один-единственный образ: Агарь склонилась над ним, полная страстной любви, такая близкая, желанная и сама горящая желанием. И когда он любовался ею, тот, кто держал проволоку, произнес: «Твой день пришел». И так грустно ему было покинуть этот мир, умереть от руки своего близкого друга, что все в нем обмякло, и в тот краткий миг, когда он всем своим существом поддался глубочайшей печали, напряженные мускулы шеи тоже обмякли на какую-то долю секунды, и за это время он успел вздохнуть. Но на сей раз это был уже не вздох умирающего. Агарь, музыка, цветные огоньки — все исчезло. Молочник схватил лежавший рядом с ним винчестер и выстрелил прямо перед собой по деревьям. Звук выстрела испугал Гитару, и проволока сползла с шеи. Гитара снова натянул ее, но Молочник понимал, что его друг должен держать ее обеими руками, а иначе она снова сползет. Он повернул ружье назад, насколько смог, и ему кое-как удалось еще раз спустить курок, но угодил он только в ветки деревьев и в землю. А остался ли в винтовке еще хоть один заряд? — подумал он с тревогой и тут услышал очень близко захлебывающийся от ярости, дивный звук — лай трех собак, загнавших на дерево рысь. Проволока упала на землю, и он услышал, как Гитара мчится во весь дух, продираясь между деревьями. Молочник вскочил, схватил фонарик и направил его в ту сторону, откуда доносился топот ног. Он увидел лишь покачивающиеся ветки. Потирая шею, он двинулся туда, где лаяли собаки. У Гитары не было ружья, иначе он бы непременно выстрелил, поэтому Молочник вполне спокойно шел, держа незаряженную винтовку. Чутье не подвело его: он выбрал направление правильно и вышел прямо туда, где припали к земле Кальвин, Малыш, Лютер и Омар, а в нескольких футах от них усердствовали собаки, и глаза сидящей на дереве рыси сверкали в ночи.

Собаки прыгали, стараясь влезть на дерево, а люди совещались, как лучше поступить: стрелять в рысь или выстрелить в ветку, чтобы рысь спрыгнула с дерева, и тогда на нее накинутся собаки, или придумать еще что-нибудь. Решили сразу стрелять по зверю. Омар встал и высоко поднял фонарь. Рысь, привлеченная светом, немного выползла из гущи

ветвей. Малыш прицелился и всадил пулю в левую переднюю лапу, и рысь свалилась с дерева прямо в зубы к Бекки и другим собакам.

Зверь был еще полон сил: он сражался до тех пор, пока Кальвин не отозвал собак, затем выстрелил в рысь два раза, и лишь тогда наконец все затихло.

Они осветили фонарями тушу и охали, восхищаясь размерами зверя, его свирепостью и выдержкой. Все четверо охотников стали на колени, вынули веревку и ножи, вырезали ветку толщиной в руку и тщательно привязали к ней рысь, готовясь к долгой дороге домой.

Они так радовались своей удаче, что прошло порядком времени, пока кто-то из охотников вспомнил и обратившись к Молочнику, спросил, в кого это он там стрелял. Молочник слегка опустил свой конец ветки, который держал несколько выше, чем следовало, и сказал:

— Я уронил ружье. Задел за что-то, оно выстрелило. А потом, когда я его поднял, оно выстрелило снова.

Грянул хохот.

— Задел за что-то? А предохранитель на что? Ты, видно, очень напугался?

— До смерти напугался, — сказал Молочник. — Просто до смерти.

Всю дорогу, пока шли к машине, они гикали и хохотали, дразнили Молочника, — подбивали его поподробней рассказать, как он перепугался. И он рассказывал. И тоже смеялся, долго, громко, хохотал до упаду. Ему и в самом деле было смешно, кроме того, оказалось, что просто шагать по земле — это блаженство. Он шел и ощущал себя частицею земли; ему казалось, его ноги — стебли, стволы деревьев, ему чудилось, его ноги проникают глубоко, глубоко в камень, в почву; и они с наслаждением ступали по земле. А еще он перестал хромать.

Они встретили рассвет на бензоколонке Кинга Уокера, вспоминая опять и опять события минувшей ночи. Молочник был главным объектом их остроумия, но смеялись они добродушно, совсем не так, как когда отправились на охоту.

— Слава богу, ноги унесли. Рысь пустяки, но с этим ниггером шутки плохи. Тут эта стерва кошка вот-вот слопаёт нас вместе с собаками, а он давай палить, как в тире. Весь лес засыпал пулями. Чуть свою собственную башку не снес. Что это вы, городские, такие нескладные?

— Зато вы, деревенские, — все молодцы, — сказал Молочник.

Омар хлопнул его по плечу, Малыш — по другому, Кальвин крикнул Лютеру:

— Ступай разбуди Вернелл. Пусть приготовит нам завтрак. Как только мы разделаем этого котяру, мы такие голодные к ней заявимся, что лучше пусть заранее приготовит, чем набить наши утробы!

Вместе с остальными Молочник обошел бензоколонку, и там на маленькой зацементированной площадке под гофрированной цинковой крышей лежала мертвая рысь. Шея у Молочника так страшно распухла, что было больно даже голову опустить.

Омар перерезал в нескольких местах веревку, которой были связаны ноги животного. Вместе с Кальвином они перевернули его на спину. Лапы упали, раскинувшись в стороны. Такие тонкие косточки, хрупкие такие.

«Жизнь черного человека нужна всем».

Кальвин шире развел передние лапы рыси и приподнял их, а Омар проткнул ножом шкуру зверя, там, где на груди курчавилась шерсть. Потом провел ножом через всю грудь и брюхо животного до самого низа. Нож поставил вертикально: предстояла более сложная процедура, и работать нужно было чисто.

«Я не говорю, что они хотят отнять у тебя жизнь; им нужно, чтобы ты жил для них».

Омар вырезал половые органы.

«На этом построено все наше существование».

Омар сделал надрезы на лапах и шее. Затем снял шкуру.

«Зачем дана человеку жизнь, если он не вправе выбрать, за что умереть?».

Сдернул пальцами прозрачные куски пленки, легко, как паутину.

«Жизнь черного человека нужна всем».

Теперь Малыш опустился на колени рядом с тушей и рассек ее ножом от низа живота до челюсти.

«Справедливость — одна из тех вещей, в которые я перестал верить».

Пока другие отдыхали, вернулся Лютер и вырезал прямую кишку, так ловко и проворно, словно сердцевинку яблока.

«Детка, надеюсь, мне никогда не придется в этом раскаяться».

Лютер засунул руку в брюхо зверя, вытянул внутренности, держа их над тушей, и осторожно разрезал диафрагму.

«Из-за любви, конечно, из-за любви. Из-за чего еще? Но ведь могу же я критиковать то, что люблю».

Затем он вытащил дыхательное горло и пищевод и отсек их одним ударом ножа.

«Из-за любви, конечно, из-за любви. Из-за чего еще?»

Они повернулись к Молочнику:

— Сердце хочешь? — Торопясь, чтобы не помешала действовать какая-нибудь мысль, Молочник погрузил руки в грудную клетку. — Легкие пока не трогай. Сердце бери.

«Из-за чего еще?»

Он нашел его и вытащил. Сердце выскользнуло из груди легко, как из яичной скорлупы желток.

«Из-за чего еще? Из-за чего еще? Из-за чего еще?»

Лютер снова сунул руку в полость живота и рывком выдернул внутренности, все сразу. Сунул внутренности в бумажный мешок, а тем

временем другие охотники принялись приводить тушу в порядок, окатили ее из шланга, натерли солью, перевернули и уложили так, чтобы кровь стекала на снятую с животного шкуру.

— Что вы с ней будете делать? — спросил Молочник.

— Съедем.

Павлин стремительно взмыл в воздух и опустился на крышу синего «бьюика».

Молочник взглянул на голову рыси. Язык лежал во рту безвредный, как в бутерброде. Лишь глаза еще таили угрозу нынешней ночи.

Невзирая на голод, он почти не прикоснулся к завтраку, состряпанному Вернелл, только поковырял немного яичницу, маисовую кашу, печеные яблоки, залпом выпил кофе и все время без умолку говорил. Тем более, что ему нужно было как-то подобраться к цели своего приезда в Шалимар.

— Вы знаете, мой дедушка, родом из этих мест. И бабушка тоже.

— Да ну? Из наших мест? А как их звали, твоего деда с бабкой?

— Девичьей фамилии бабки я не знаю, а имя ее — Пой. Слышал кто-нибудь из вас такое имя? Они покачали головами.

— Пой? Нет. Такого имени мы никогда не слышали.

— Одно время где-то тут моя тетка жила. Зовут ее Пилат. Пилат Помер. Может, кто из вас слышал о ней?

— Ха! Похоже на заголовок в газете: «Пилот помер». Она что, умела водить самолет?

— Да не так. Пил-а-тэ. Пилат.

— Пи-ла-тэ. Это, наверное, пишется: «Пил, а ты»? — сказал Малыш.

— Ничего подобного, диггер. При чем тут «пил», при чем «а ты»? Имя Пилат есть в Библии, балда.

— Он не читает Библию.

— Он ничего не читает.:

— Он не умеет читать.

Они подначивали Малыша, пока Вернелл их не перебила:

— Тише вы. Ты сказал, Пой? — повернулась она к Молочнику.

— Точно. Пой.

— По-моему, так звали девочку, с которой моя бабушка играла в детстве. Я запомнила имя, больно уж красивое. Моя бабуся все время о ней вспоминала. Вроде бы родители той девочки сердились, что она играет с цветными детишками, и потому та девочка и моя бабуся всегда норовили удрать, то на рыбалку, то по ягоды. Понял? Они тайком дружили, эти девочки. — Вернелл внимательно оглядела Молочника. — Эта девочка по имени Пой была светлокожая, с прямыми черными волосами.

— Это она! — сказал Молочник. — Она была метиска или индианка.

Вернелл кивнула.

— Индианка, да. Дочка старой Хедди. Хедди была женщина неплохая, но ей не нравилось, когда ее дочь играла с неграми. Как никак она из Бердов.

— Из кого?

— Из Бердов. Семейство Бердов, они жили по ту сторону горы. Возле Соломонова утеса.

— В самом деле? — удивился один из мужчин. — Она, значит, Сьюзен Берд родней приходится?

— То-то и оно. Из их семьи. Они, Берды, никогда цветных не обожали. И Сьюзен такая.

— Они до сих пор тут живут? — спросил Молочник.

— Сьюзен тут живет. Сразу за горой. Ее дом там единственный с кирпичным фасадом. Она одна теперь живет. Остальные все уехали.

— Я доберусь туда пешком? — спросил он.

— Туда, пожалуй, почти всякий доберется, — сказал Омар. — Но после этой ночи я бы тебе не советовал. — Он захохотал.

— Ну, а на машине туда можно проехать?

— Часть пути наверняка проедешь. Но там дальше, за горой, дорога больно узкая и грязища, — сказала Вернелл. — Верхом, может, и проберешься, а на машине — нет.

— Я доберусь туда. Пусть хоть неделю ухлопаю, а доберусь, — сказал Молочник.

— Только не бери с собой ружье. — Кальвин налил кофе в блюдечко, чтобы остыло. — Тогда с тобой ничего не случится. — Все опять захохотали.

Но Молочнику было совсем не смешно. Гитара бродит где-то рядом, и, поскольку ему, кажется, доподлинно известно все, что Молочник делает или собирается сделать, он, разумеется, узнает и о его намерении пойти в горы. Он потрогал распухшую шею. Нет уж, без ружья он никуда не пойдет.

— Тебе бы отдохнуть перед тем, как тебя снова понесет невесть куда, — сказал Омар, внимательно посмотрев на него. — Тут немного дальше по дороге живет одна очень симпатичная дамочка. Зайди к ней в гости, она примет тебя, да еще за честь почтет. — Он бросил на Молочника многозначительный взгляд. — Хорошенькая женщина, между прочим. Просто красивая. — Вернелл насупилась, Молочник улыбнулся. Надеюсь, у нее найдется револьвер, подумал он.

Револьвера у нее не оказалось, зато в доме был водопровод, и, когда Молочник спросил, не сможет ли он принять ванну, она кивнула с улыбкой, а улыбалась она так, как и должна улыбаться женщина по имени Киска. Ванна была последним приобретением в ее крохотном

домике, и Молочник с наслаждением погрузился в воду, над которой поднимался пар. Киска принесла мыло, щетку из свиной щетины и стала на колени, чтобы искупать его. То, что сделала эта целительница с его изболевшимися ногами, порезанным лицом, спиной, распухшей шеей, ладонями и боками, было так восхитительно, что ему казалось: утехы любви вслед за таким купаньем — просто спад, иного он не мог вообразить. Если, думал он, это купанье и эта женщина окажутся единственным последствием моих странствий, я не пожелаю большего и до конца жизни буду выплачивать свой долг господу богу, родине и «Братству лосей». Ради такого блаженства я готов пройти босиком по раскаленным угольям с бидоном керосина в руке. Я готов пройти пешком по шпалам отсюда до Шайенна и назад. Впрочем, когда начались любовные утехы, он подумал: ради этого стоит не то что пешком, а ползком приползти.

Потом он предложил ей искупать ее. Она сказала, из этого ничего не выйдет: колонка маленькая, на две горячие ванны не хватит воды.

— Тогда позволь мне сделать тебе прохладную ванну, — сказал он. Он намыливал и тер ее с таким усердием, что у нее заскрипела кожа и заблестела, как оникс. Она смазала бальзамом его лицо, Он вымыл ей голову. Она посыпала тальком его ноги. Он помассировал ей спину, Она натерла ореховым маслом его распухшую шею. Он застелил постель. Она накормила его супом из стручков бамии. Он помыл посуду. Она постирала его вещи и повесила сушиться. Он вымыл ванну. Она выгладила его рубашку и штаны. Он дал ей пятьдесят долларов. Она поцеловала его в губы. Он погладил ее по щеке. Она сказала, возвращайся, пожалуйста. Он сказал, я нынче же вечером приду к тебе.

ГЛАВА 12

В четыре часа дня он постучался в дверь единственного дома с каменным фасадом из всех домиков, что находились по ту сторону горы. Сверкающий ослепительной чистотой в армейской форме, которую выстирала и погладила Киска, он бодро отшагал весь путь и был готов к любой неожиданности. Впрочем, он не думал, что Гитара набросится на него среди бела дня на извилистой тропе (именуемой в этих краях дорогой), пересекавшей гористую местность, на которой, однако, виднелись и люди, и домишки, и возделанные поля. Если Гитара нападет на него, Молочник с ним, конечно, сладит (при условии,

что тот еще не обзавелся огнестрельным оружием), тем не менее лучше бы вернуться до наступления темноты. Совершенно непонятно, что он там задумал, но несомненно одно: все это как-то связано с золотом. Если ему известно, что я здесь, известно, где побывал до сих пор и что делал, он просто не может не знать, что я стараюсь найти золото, то есть делаю именно то, что собирался. Почему же он покушается на мою жизнь прежде, чем я нашел его или хотя бы узнал, что с ним случилось? Полная таинственность, и ясно лишь одно: необходимо все время быть настороже.

Домик Бердов располагался на ухоженном газоне, окруженном белым частоколом, который отгораживал участок от подступавших к нему со всех сторон лугов. На ветке кедра покачивались детские качели; четыре маленькие ступенечки, выкрашенные в синий цвет, вели к крыльцу, а ветерок, играя занавесками, доносил из дома аппетитный запах свежее испеченного имбирного печенья.

Дверь открыла пожилая женщина, по виду примерно ровесница его матери..

— Мисс Берд? — спросил Молочник.

— Да?

— Как поживаете? Меня зовут... э-э... Мейкон, я здесь ненадолго, всего на несколько дней. Сам я живу в Мичигане, но, насколько мне известно, кто-то из моей родни жил когда-то давно в ваших краях. У меня мелькнула мысль, что вы смогли бы мне помочь.

— В чем помочь? — не без ехидства спросила старая дама, и у Молочника возникло совершенно отчетливое ощущение, что ей не нравится цвет его кожи.

— Разыскать их. То есть что-нибудь о них узнать. Вся наша семья разбрелась по белу свету, а в городе мне говорили, что, возможно, вы знаете кое-кого из нашей родни.

— Кто там, Сьюзен? — слышался из дома женский голос.

— Грейс, это пришли ко мне.

— Так почему же ты не приглашаешь в дом? Человек пришел к тебе по делу, а ты держишь его в дверях.

— Пожалуйста, войдите, мистер Мейкон, — со вздохом сказала мисс Берд.

Молочник прошел вслед за ней в солнечную уютную гостиную.

— Извините меня, — сказала мисс Берд, — если я была невежлива. Садитесь, прошу вас. — Она указала на обитое серым бархатом кресло с вогнутой спинкой. В комнату вошла женщина, одетая в ситцевое платье-костюм, она что-то жевала и держала в руке бумажную салфетку.

— Так кто это к нам пришел, я что-то не поняла? — Вопрос был обращен к мисс Берд, а полный любопытства взгляд — на Молочника.

Мисс Берд сделала движение рукой в сторону вошедшей:

— Моя подруга мисс Лонг. Грейс Лонг. Мистер...

— Как поживаете? — Грейс протянула Молочнику руку.

— Благодарю вас, очень хорошо.

— Мистер Мейкон, я не ошибаюсь? — сказала мисс Берд.

— Совершенно верно.

— Сьюзен, может быть, мистер Мейкон пожелает чем-нибудь угоститься с дороги? — Мисс Лонг улыбнулась и села на диван лицом к серому креслу.

— К чему такая спешка, Грейс? Мистер Мейкон только что переступил порог нашего дома. — Мисс Берд повернулась к Молочнику: — Не хотите ли чашечку кофе или, может быть, чаю?

— С удовольствием. Благодарю.

— Так кофе или чай?

— С вашего разрешения кофе.

— У тебя есть сдобное печенье, Сьюзен. Печенье тоже принеси.

Мисс Берд бросила на подругу усталый и немного раздраженный взгляд.

— Одну минутку, — сказала она гостю и вышла.

— Да, значит, вот оно как. Я не ослышалась, вы, кажется, сказали, что ненадолго приехали в наши края? Не так-то много видим мы приезжих. — Грейс положила ногу на ногу. Как и Сьюзен Берд, она носила черные шнурованные ботинки и бумажные чулки. Она уселась поудобней и немного подтянула юбку,

— Да, я приехал ненадолго.

— Вы служите в армии?

— Как вы сказали, мадам? Нет-нет. Просто вчера ночью я ходил на охоту. Вот друзья и одолжили, мне это одеяние. — Он расправил морщинку, которую нечаянно загладила Киска на его армейской форме.

— Охотились? О боже, неужели вы из тех, кто ходит на охоту? Я их просто не выношу, этих охотников, вечно они шныряют по чужим участкам. День и ночь стреляют, житья от них нет. Я говорю своим студентам... видите ли, я преподаватель, преподаю в педагогическом училище. Вы уже побывали там?

— Нет. Пока нет.

— Там, собственно, и глядеть-то не на что. Просто школа. Обыкновенная школа, и все. Но если захотите нас навестить, милости просим, Будем очень рады. Кстати, откуда вы?

— Из Мичигана.

— Так я и думала. Сьюзен! — Она повернулась к дверям. — Он приехал с Севера. — И опять Молочнику:

— Где вы остановились?

— Да пока нигде. Я тут познакомился кое с кем в городе, и...

Сьюзен Берд внесла поднос, на котором стояли кофейные чашки и блюдо с большими бледноватыми кругляшками домашнего печенья.

— Он из Мичигана, — сообщила Грейс.

— Да, я слышала. Какой вы пьете кофе?

— Черный.

— Черный кофе? Без сливок, без сахара, совсем без ничего? — удивилась Грейс. — Жаль, что я не в состоянии пить такой кофе, может, тогда вернулись бы мои двенадцать лет, золотая пора детства. Но это, увы, невозможно. — Она уперла ладонь в бок и с улыбкой посмотрела на Молочника.

— Чему я обязана вашим визитом ко мне? — Слово «мне» хозяйка дома произнесла с легким, но отчетливым ударением.

— Я пытаюсь разыскать здесь кого-нибудь, кто знал мою бабушку. Ее звали Пой.

Грейс зажала рот руками и чуть слышно пискнула.

— Родственники! Вы ведь родственники! — Молочник поставил чашку. — Вот так номер! — У Грейс заблестели глаза.

— Вы и впрямь пришли по адресу, — сказала Сьюзен. — Но сомневаюсь, смогу ли я вам чем-нибудь помочь.

— Бог с тобою, Сьюзен, что ты говоришь? Пой — имя твоей матери, насколько мне известно.

— Ничего подобного, Грейс, и, если ты позволишь мне закончить начатую фразу, ты, возможно, узнаешь нечто, о чем не знала до сих пор.

— Мне казалось, ты говорила...

— Мою мать звали Мэри. Мэри. Мэри.

— Что ж, извини.

Сьюзен повернулась к Молочнику.

— Моего отца, — сказала она, — звали Воррен Берд, а у него была сестра по имени Пой.

— Это она! Конечно же! Моя бабушка Пой. А мужа ее звали...

— Ну, я же точно помню, что в вашей семье кого-то звали Пой!

— Мне неизвестно, за кого она вышла замуж, — перебила их обоих Сьюзен.

— Нет, это просто поразительно. Незнакомый человек внезапно входит к тебе в дом, и вдруг оказывается, что он твой... кем он тебе приходится? Кузен? Племянник? Избитое выражение, но право — тесен мир. Нет, в самом деле! Вам непременно нужно побывать у меня в классе, мистер Мейкон.

Молочник, как и Сьюзен Берд, пропустил мимо ушей эту тираду.

— Где она жила? — спросил он, обращаясь к Сьюзен.

— В последний раз мой отец видел ее в фургоне, отправлявшемся в Массачусетс. Она должна была там поступить в частную школу квакеров.

— Так твои родители квакеры? Ты никогда мне не говорила. Представляете себе, мистер Мейкон, держит такие вещи в секрете от близкой подруги. Уверена, она и вас бы держала в секрете, не окажись я тут.

— Она что, так и не вышла замуж? — У Молочника не хватало времени на то, чтобы отзывать на реплики Грейс.

— Может быть, и вышла, но нам об этом неизвестно. После того как она уехала в эту квакерскую школу, родители больше ничего о ней не слышали. Думаю, они пытались ее разыскать... Помню, моя бабушка — ее звали Хедди — очень уж убивалась, когда об этом заходила речь. А я предполагала то же, что и мой отец: окончив школу, Пой сама не захотела, чтобы они ее нашли.

— Разумеется, не захотела, и ты прекрасно это знаешь и не морочь мне голову, — сказала Грейс. — Она, наверное, последовала примеру многих других, вот и все. — И добавила, наклонившись к Молочнику: — Типичный случай. Типичнейший, я бы сказала. Сейчас это случается довольно редко, но в прежние времена многие так поступали... если удавалось. — Она сверкнула глазами в сторону Сьюзен. — Твои же собственные родственники, Сьюзен. Они все теперь считаются чистокровными белыми. Лила, Джон. Я-то знаю, какой он белый, Джон, и он знает, что мне это известно.

— Это всем известно, Грейс.

— Почему же? Мистер Мейкон этого не знает. В Мэйвилле я встретила на улице Джона...

— Мистеру Мейкону совсем не нужно это знать. Ему это даже неинтересно.

— Откуда ты знаешь, что ему интересно, а что неинтересно?

— Он ведь сказал, что женщина, которую он ищет, — его бабушка, а если это его бабушка, она слишком темна для... — Сьюзен Берд замялась. — Словом, слишком темна, чтобы ее могли принять за белую. Верно? — Она слегка покраснела.

Молочник не ответил на ее вопрос.

— Вы говорите, она жила в Массачусетсе, так?

— Да. В Бостоне.

— Понятно.

Судя по всему, дальнейшие расспросы не имели смысла, и Молочник решил прощупать другую линию.

— Знали вы или хотя бы слышали о женщине, которая жила в этих местах и которую звали Пилат?

— Пилат? Нет. Никогда. Тебе знакомо это имя, Грейс?

Грейс покачала головой:

— Нет, а я ведь здесь почти всю жизнь прожила.

— Я не почти, а целиком прожила здесь жизнь, — сказала Сьюзен. — Мои родители, и мать, и отец, родились здесь, и я здесь родилась. Я ни разу не покидала пределов округа Сент-Филиппс. У меня есть родственники в Южной Каролине, но я никогда даже в гости к ним не ездила.

— Ну, причина тут все та же. Они поступили, как Джон. Ты не могла бы поехать к ним в гости, даже если б захотела. — Грейс нагнулась над блюдом с печеньем и выбрала одно.

— Свет клином на них не сошелся, у меня есть и другие родственники, — негодуя сказала Сьюзен.

— Надеюсь. Грустно это, мистер Мейкон, когда остаешься одна, никому не нужная, и никто тебя знать не желает. Я лично за свою родню держусь. Замуж я не вышла, знаете ли, во всяком случае пока, но родня у нас очень дружная, — многозначительно проговорила она.

Молочник отогнул рукав и посмотрел, который час.

— Ой, взгляни-ка, — оживленно воскликнула Грейс. — До чего красивые часы. Можно посмотреть? — Молочник встал, протянул ей часы и, стоя, ждал, когда она их возвратит. — Сьюзен, гляди, на них нет ни единой цифры. Только точки. Интересно, как по этим точечкам можно выяснить, который час?

Сьюзен тоже встала.

— Мистер Мейкон, вы когда-нибудь уже бывали здесь?

— Нет. Это моя первая поездка.

— Ну что ж, надеюсь, не последняя. Как долго вы намерены тут пробывать?

— Да я думаю выехать сегодня же вечером, в крайнем случае завтра. — Он посмотрел в окно. Солнце садилось.

— Так скоро? — огорчилась Грейс. — Сьюзен, что же ты, предложи мистеру Мейкону взять хоть что-нибудь с собой. Не хотите ли захватить в дорогу домашнего печенья, мистер Мейкон?

— Нет-нет, спасибо.

— Вы не пожалеете.

Грейс порядком ему надоела. Но Молочник улыбнулся и сказал:

— Как прикажете.

— Так я вам приготовлю сверточек. Ладно, Сьюзен? — Грейс выскользнула из комнаты.

Сьюзен слабо улыбнулась, буквально выжала улыбку.

— Жаль, что вы не можете пожить тут подольше и навещать нас по временам. — И эту фразу она тоже выжала с трудом, как и улыбку.

— Мне тоже жаль, — ответил он. — Но может, я еще вернусь.

— Это будет очень мило. Досадно, что я не смогла вам помочь.

— Вы помогли мне.

— Разве?

— Ну конечно. Сперва ведь нужно отмести все ошибочные предположения, и лишь потом удастся выяснить, как же в действительности обстоят дела.

Она снова улыбнулась, на этот раз без принуждения.

— Это очень важно для вас — разыскать свою родню?

Он подумал.

— Да нет. Не так уж важно. Я просто оказался здесь проездом, вот и мелькнула... да, именно мелькнула эта мысль. Нет, для меня это не важно.

Вернулась Грейс со сверточком, сооруженным из белых бумажных салфеток.

— Вот, пожалуйста, — сказала она. — Сами увидите, вам это очень пригодится.

— Благодарю вас. И вас тоже благодарю.

— Рады были познакомиться с вами.

— Я тоже.

Он ушел из домика мисс Берд усталый, замороченный. Останусь здесь еще на одну ночь и уеду, подумал он. Машину, наверно, уже починили. Узнавать тут больше нечего, не то что золота, а и следов его не найдешь. Пилат жила в Виргинии, но в какой-то другой части штата. Здесь о ней никто и слыхом не слыхивал. А Пой, которая жила в этих краях, уехала в Бостон, а не в Данвилл, штат Пенсильвания, и ее принимали за белую. Его бабка была «слишком темна, чтобы ее могли принять за белую». Мисс Берд просто побагровела, когда сказала это. Будто узнала что-то стыдное о нем. Ему было и смешно, и злость разбирала, и хотелось узнать, что думают Омар, Киска, Вернелл по поводу мисс Сьюзен Берд.

Эти люди вызывали его интерес. У него не было ощущения, что они ему близки, но что-то связывало их, словно и у него, и у них есть какая-то общая жилка или пульс или общая тайна. В том городе, где он родился, у него никогда не возникало этого чувства — сопричастности кому-то или чему-то. В семье он был всегда чужим, с друзьями связан лишь поверхностно, и, кроме Гитары, не существовало человека, чьим мнением он дорожил. Когда-то раньше, давным-давно, для него было важно, что о нем думают Пилат и Агарь, но потом, когда он покорил Агарь, а с Пилат настолько перестал считаться, что решился обокрасть ее, все это кончилось. Зато теперь у него возникло некое чувство — здесь, в Шалимаре, а перед этим в Данвилле, — напоминавшее ему то, что он ощущал когда-то в домике Пилат. Сидя в гостиной Сьюзен Берд, лежа с Киской, завтракая с охотниками у Вернелл, он никого не должен

был ставить на место, обижаться, защищаться и даже просто объяснять, что он имел в виду.

И не только это. Когда он сказал Сьюзен Берд, что разыскать свою родню ему не так уж важно, он солгал. С тех пор как он приехал в Данвилл, ему все больше и больше хотелось что-нибудь узнать о своих родственниках, и о тех, кого он видел, и о тех, которых никогда не встречал. Мейкон Помер, он же Джейк, настоящая фамилия неизвестна. Пой. Кто они, какие они были? Человек, который пять ночей подряд, ожидая нападения, просидел с ружьем на заборе. Человек, назвавший свою новорожденную дочь Пилат, человек, который вырвал из непроходимой лесной чащи участок для фермы. Человек, который ехал в фургоне на Север и всю дорогу ел одни лишь орехи-пеканы. Кто остался у него на родине? Были у него братья, сестры? Кто его мать, отец? А жена? Та Пой, что ехала в Бостон? Если да, то почему она поехала в фургоне? Чего ей вздумалось отправиться фургоном в частную школу, расположенную в северном штате? Не в карете, не на поезде, а в фургоне, битком набитом бывшими рабами. Может быть, она и не доехала до Бостона. Может быть, она не стремилась выдавать себя за чистокровную белую. Она могла и передумать: вместо того чтобы поехать в школу, сбежать вместе с парнишкой, с которым ела орехи-пеканы. Да и вообще, кто бы она ни была, почему ей захотелось, чтобы муж оставил себе это кошмарное имя? Чтобы покончить с прошлым? С каким прошлым? С рабством? Но она ведь не была рабыней. Значит, с прошлым мужа? И почему отец Молочника и Пилат ничего не знают о своей родне? Неужели им совсем уж некого было известить, когда убили отца? Мейкон и не собирался в Виргинию, а Пилат направилась прямо туда.

Он развернул пакетик, приготовленный Грейс, и взял одно печенье. Из свертка выпорхнул клочок бумаги и слетел на землю. Молочник поднял его и прочел: «Грейс Лонг, дом 40, 2-е шоссе, за три дома от педагогического училища». Он улыбнулся. Так вот почему ей понадобилось столько времени, чтобы завернуть четыре кругляшки печенья. Он откусил кусочек и побрел дальше, а приглашение Грейс свернул в один комочек с бумажными салфетками. Беспокойные мысли все перекатывались в голове, как бильярдные шары. Если его дед, этот Джейк, родился там же, где его жена, в Шалимаре, зачем, сказал он пьяненькому янки, что он из Мейкона, благодаря чему вдруг приобрел

новое имя? И если они оба, и он, и жена, родились в одном и том же месте, так почему же и Пилат, и отец, и Цирцея в один голос твердят, что они «встретились» в фургоне? И зачем призрак велел Пилат петь? Тут Молочник хмыкнул. Ничего подобного он не велел ей: призрак, вероятно, просто повторял все время имя своей жены — Пой. Пилат же этого не знала, ибо не знала, как зовут ее мать. Мейкон Помер после смерти жены не позволял произносить вслух ее имя. Занятно. После ее смерти он не хотел его произносить, а когда умер сам, твердил одно лишь слово — ее имя.

Иисусе милостивый! В середине двадцатого века человек ломает голову, пытаясь объяснить себе поведение призрака. Впрочем, что тут такого? Ведь существует факт, известный всем: Пилат родилась без пупка. Поскольку это правда, значит, все, что угодно, возможно, в том числе и призраки.

Он уже подходил к дороге, ведущей в город; становилось темно. Молочник поднес к глазам руку, посмотреть, который час, и вспомнил: Грейс не отдала ему часы. «Черт бы тебя взял, — пробормотал он вслух, — я так все вещи растеряю». Он остановился, неуверенный, вернуться ли за часами сейчас или прийти за ними в другой раз. Если сейчас, то возвращаться в город он будет в полной темноте. Тогда, вздумай Гитара на него напасть, он совершенно беззащитен. Но с другой стороны, очень уж хлопотно полностью пройти вторично весь этот путь — на машине тут не проберешься, — причем завтра, именно в тот день, который он назначил для отъезда. Но Гитара может...

Нельзя допускать, чтобы он определял и направлял все мои действия, решал, куда и когда мне идти. Если я сейчас так поступлю, я буду поступать так всю жизнь, и он меня сживет со света.

Он не знал, как быть, но все же решил, что из-за часов возвращаться не стоит. Зачем они ему? Узнать, который час, а это, в общем-то, неважно. Он стряхнул с усов крошки печенья, свернул на шоссе и увидел: сизовато-зеленый силуэт дерева, а на его фоне — Гитара. Он стоял, вернее, привалился к стволу хурмы. Молочник остановился и с удивлением заметил, как спокойно, четко бьется сердце — он совсем не боялся. А впрочем, Гитара ведь просто чистил ногти вполне безобидной спичкой. Если у него и есть с собой оружие, он его прячет — в куртке или брюках.

Они смотрели друг на друга примерно с минуту. Нет, меньше. Ровно столько, сколько нужно, чтобы у каждого из них биение сердца вошло в тот же ритм, что у другого. Гитара заговорил первым:

— Мой человек.

Молочник пропустил мимо ушей это странное приветствие.

— В чем дело, Гитара? Будь любезен, объясни мне, что случилось?

- Ты забрал золото.

- Какое золото? Там никакого золота не было.

- Ты забрал золото.

— Да не было его в пещере. Я там все облазил на карачках, в яму эту залез. Собственными руками обшарил...

- Ты забрал золото.

- Чокнутый ты, Гитара.

- Нет, совсем не чокнутый. Но злой.

— Да не было там никакого золота! — Молочник еле сдерживался, чтобы не заорать.

- Я же видел тебя, ублюдок.

- Ну и что я делал?

- Зацапал золото.

- Где?

- В Данвилле.

- Ты видел меня в Данвилле с золотом?

- Вот именно: я видел тебя в Данвилле с золотом.

- Брось дурака валять. Что я с ним делал, с этим золотом?

- Отправлял по железной дороге.
- Отправлял по железной дороге?
- Во-во. Может, хватит пудрить мне мозги? Ты такой же скупердй, как твой папаша. Разве не так?

На глаза Гитаре попался последний кругляшок печенья, который Молочник держал в руке. Он нахмурился и шумно задышал.

— Гитара, я не отправлял золото по железной дороге. Его ведь не было, что же я мог отправить? Не выдумывай, ты этого не видел.

— Видел, детка. Я был на станции.

— На какой еще станции, чтоб ей сгореть?

— На товарной станции в Данвилле.

Тут Молочник вспомнил, как он собирался попрощаться с преподобным Купером и искал его повсюду. Как зашел на погрузочный пункт, поглядеть, ушел ли уже Купер, и там помог старику грузчику взгромоздить огромный деревянный ящик на весовую платформу. Он засмеялся.

— Ну и муть! Да там вовсе не золото было, Гитара. Я просто помог человеку поднять тяжелый ящик. Он попросил меня, и я ему помог приподнять эту здоровенную дуру. А потом я сразу ушел.

Гитара снова взглянул на печенье, затем Молочнику в глаза. Ничто не дрогнуло в его лице. Молочник понял: его слова неубедительны. Говорит-то он чистую правду, а похоже на ложь. И ложь нескладную. Кроме того, он знал: ни разу в жизни Гитара не видел, чтобы Молочник кому-то помог, тем более незнакомому; мало того, он помнил — они даже обсуждали это, и обсуждение началось так: Молочнику приснилась мать, она погибала, а он не стал ее спасать. Гитара обвинил его тогда в эгоизме и в равнодушии к людям, сказал Молочнику, что он несерьезный, что у него отсутствует чувство товарищества, начисто отсутствует. И вдруг Молочник утверждает, будто добровольно, без малейших уговоров, помог незнакомому белому старику поднять большущий, тяжелый ящик. Но это правда. Правда. И он это докажет.

— Гитара, как ты думаешь, почему я здесь? Если я отправил золото домой, то почему я оказался здесь, да к тому же в такой одежде? По-твоему выходит, я, как дурак, брожу по всей стране, отгрузив куда-то ящик с золотом? Зачем, спрашивается? На кой хрен мне отправлять куда-то золото, а затем являться сюда?

— А если ты его сюда отправил, сукин сын?

— Что ты плетешь?

— Я следил за тобой! Я сам все видел! Я поехал туда за тобой, потому что какое-то необъяснимое чутье подсказывало мне, что ты хочешь нас провести. Я не знал наверняка, но чувствовал. Если бы я ошибся, я бы помог тебе. Но я не ошибся. В Данвилл я приехал днем. Еду мимо товарной станции и кого там вижу? Тебя собственной персоной в узеньком костюме-тройке. Я остановил машину и зашел вслед за тобой на станцию. Гляжу, а ты уже отгружаешь его. Прямо на моих глазах передаешь этому старику. Я подождал, пока ты уйдешь, потом вернулся и спросил старого оборванца, отправил ли мой друг, — он произнес это слово невнятно, — отправил ли он большой ящик с грузом в Мичиган. Нет, говорит старик. У нас сегодня отгрузили только один большой ящик. Большой — всего один. И когда я у него спросил, куда же он отправлен, дед вспомнил только, что в Виргинию, а город он забыл. — Гитара улыбнулся. — Автобус, на который ты сел, тоже шел не в Мичиган. Он шел в Виргинию. Вот такие дела.

Как ни глупо, но похоже, что его действительно приперли к стенке. Крыть нечем.

— На ящике была написана моя фамилия?

— Я не смотрел.

— На кой черт мне посылать в Виргинию огромный ящик с золотом... с золотом, понимаешь ты?

— Видно, нужно было зачем-то. Ты же его послал.

— Ты поэтому хотел меня убить?

— Да.

— Потому что я тебя ограбил?

— Ты нас ограбил! Тебе наплевать на нашу работу!

— Глупость — эти твои домыслы. Ни черта они не стоят.

— Это жизнь твоя теперь не стоит ни черта.

Молочник посмотрел на печенье, которое по-прежнему держал в руке. Глупейший вид; он хотел его выбросить, но передумал.

— Итак, мой день пришел?

— Твой день пришел, но график составляю я. И можешь мне поверить: я пойду за тобой по пятам хоть на край света. Твое имя Мейкон, но ты еще не помер, пока нет.

— Я все же не понимаю. Объясни, почему, увидев меня с этим ящиком на станции, ты повернул назад и спрятался? Что тебе мешало просто ко мне подойти? Мы бы выяснили все тут же на месте.

— Я уже говорил тебе. Чутье меня вело, чутье подсказывало мне.

— Что я хочу тебя обжулить?

— Не меня, обжулить — нас. Да.

— И ты думаешь, я вас обжулил?

— Да.

— Там в лесу ты был так разъярен, что хотел убить меня сразу.

— Да.

— Теперь же решил подождать, не появится ли золото?

— Верно.

— И прибрать его к рукам.

— Тебе прибрать его к рукам не удастся.

— Окажи мне одну услугу. Когда оно прибудет наконец, проверь сперва, а золото ли это.

— Сперва?

— Или потом. Но непременно до того, как ты потащишь его через всю страну к нам в Мичиган.

— Об этом не тревожься.

— Да, и еще один вопрос. Что тебе вздумалось меня предупреждать? Почему ты передал мне предупреждение через владельца лавки?

— Ты мой друг. Мог же я что-то сделать для друга.

— Как трогательно. Тебя надо отблагодарить.

— Я не возражаю, детка.

Он погрузился в постель Киски и проспал всю ночь в ее дивных объятиях. Сном приятным, полным сновидений, и виделось ему, что он летает, парит над землей. Но летает, не раскинув руки в стороны, как крылья самолета, не проносится вперед стремительно, пронзая воздух, как супермен из приключенческого фильма, нет, он купался в воздухе, он плыл, небрежно развалившись в позе человека, читающего, лежа на диване. Часть полета он совершил над темной пучиной моря, но он не боялся, он знал, что не может упасть. Он был один в небе, но кто-то аплодировал ему, кто-то смотрел на него и аплодировал. Кто — он не видел.

Встав утром и отправившись узнать, как движется починка автомобиля, он так и не стряхнул с себя этот сон, да, по правде говоря, и не хотелось. В лавке, где Омар и Соломон вываливали из мешков стручки бамии в большие плетеные корзины с крышкой, он по-прежнему ощущал в себе легкость и мощь, пришедшие во время полета.

— Раздобыли мы тебе ремень, — сказал Омар. — Хоть не новый, но еще послужит.

— Ну, это здорово. Спасибо, Омар.

— Ты прямо сразу едешь?

— Да, пора уж возвращаться.

— Повидал ты эту старуху Берд?

— Да, видел ее, видел.

— Толк какой-нибудь из этого вышел? — Омар вытер о штаны ладони, припорошенные пухом бамии.

— Нет. Особого толку не вышло.

— Слушай, Кинг Уокер говорит, он придет сегодня утром и ремень этот приладит. А ведь, пожалуй, прежде чем пуститься в путь, тебе надо попросить хорошего механика осмотреть как следует твою машину. Того же Кинга.

— Да, я так и собирался.

— Завтраком тебя Киска накормила?

— Пыталась, но я рвался поскорей сюда, узнать, как дела с машиной.

— Может, выпьешь чашку кофе — у меня в подсобке полный кофейник.

— Нет, спасибо. Я лучше немного пройду, пока не придет Кинг Уокер.

Было всего полседьмого, но город бурлил, как в полдень. Жители Юга рано встают и принимаются за дела, чтобы успеть побольше, пока не жарко. Все уже позавтракали, женщины постирали белье и развешивали его на кустах, а через несколько дней, когда в соседнем городке откроется школа, дети в этот самый час уже будут спешить на урок, побегут по лугам, по проселкам. Сейчас они мотаются без дела, помогают немного по дому, дразнят кошек, бросают кусочки хлеба бродящим по улицам курам, а кое-кто уже затеял нескончаемые игры, уже становятся в кружок. Услыхав их пение, Молочник побрел к исполинскому кедру, вздымавшемуся над головами детей. Опять их звонкие голоса напомнили ему, как он был отщепенцем в детстве и не

допускался к этим играм; он прислонился к кедру и стал смотреть на детей. Мальчик, стоявший посередине круга (посередине круга, кажется, всегда был мальчик), зажмурился, кружился, раскинув руки и вытянув указательный палец. Он все кружился и кружился на месте, пока дети не закончили песню, громко вскрикнув под конец, и тогда он остановился, указывая пальцем на кого-то, но на кого — Молочнику не было видно. Тут все упали на колени и, к удивлению Молочника, затянули новую песню, ту самую песню, которую он слышал всю жизнь. Старинный блюз, его постоянно распевала Пилат: «О Сладкий мой, не покидай меня» только дети пели: «О Соломон, не покидай меня».

Он улыбнулся, вспомнив Пилат. Их разделяют сотни миль, а он по ней скучает, по ее дому, именно по тем людям, от которых так жаждал избавиться. Робкая, кривая, виноватая улыбка матери. Ее безнадежная беспомощность на кухне. Лучшие годы своей жизни, от двадцати до сорока, провела она, лишенная плотской любви, потом несколько дней близости с мужем, эпизод, благодаря которому родился Молочник, и опять, уж до конца, одиночество. Он не обратил внимания на ее слова, когда мать ему об этом рассказала, но сейчас ему представилось, что прожить все эти годы без плотских радостей для нее было нисколько не менее тяжело, чем для него, если бы он лишился их. Если бы кто-то мог его заставить жить таким образом, если бы кто-нибудь сказал ему: «Ты будешь жить среди женщин, ходить среди них, ты даже можешь испытывать к ним вожделение, но ты двадцать лет не будешь близок ни с одной из них», что бы он почувствовал? Что стал бы делать? Так и жил бы? Но допустим, он женат, и жена ему отказывает в течение целых пятнадцати лет. Мать вытерпела все это, и помогало ей жить лишь то, что она долго кормила грудью сына и изредка ездила на могилу отца. Интересно, какая она была бы, если бы муж любил ее?

А отец? Сейчас это старик, поглощенный приобретательством, и люди для него — лишь средство приобретать еще и еще. Сын Мейкона Помера Первого, он благоговейно воздал дань жизни и смерти своего отца, полюбив то же, что любил отец: собственность, надежную, добрую собственность, жизнь, протекающую в изобилии и достатке. Он любил все это самозабвенно, ибо он самозабвенно любил отца. Владеть, приобретать, строить — в этом его жизнь, его будущее, его настоящее, в этом история — другой он не признает. Жизнь,

искалеченная, исковерканная во имя наживы, — вот чем он платит за свою потерю — смерть отца.

Молочник смотрел на детей, и на душе у него становилось беспокойно. Ненавидеть сестер, родителей... какая дурь. И снова ему почудилось, что он грязный, как тогда, когда обворовал Пилат, и с такой легкостью смыл с себя эту грязь, и окончательно забыл о ней, ополоснув ванну. Но сейчас слой грязи, облепивший его кожу, был плотным, прочным, как сорочка новорожденного. Как он мог вломиться в этот дом, в единственный дом, где чувствуешь себя уютно, хотя в нем нет вещей, создающих уют? Нет старинных мягких кресел, нет диванных подушек, и вообще подушек нет. Там нельзя включить электричество, нельзя, открыв кран, пустить быструю и чистую струю воды. Там нет ни скатерти, ни салфеток. Там нет овальных блюд, нет разрисованных цветочками чашек, и в конфорке плиты не пляшет синий огненный кружок. Но там царит мир, жизнерадостность, там всегда поют, и он помнит, постоянно помнит этот дом.

Потом вспомнилась ему Агарь и как ужасно он порвал с ней. Неужели же нельзя было просто сесть с ней рядом и поговорить? Объяснить все честно. А он над ней издевался, когда она в последний раз пыталась его убить. И какие у нее запавшие глаза, о господи! Он ведь ее не боялся, не верил, что она способна его убить, не верил, что она действительно этого хочет. Смешно подумать, какие орудия убийства она выбирала, как простодушно, неразумно, даже неуверенно вела она себя во время покушений, — какой уж там страх. Разумеется, она случайно могла его поранить, но ведь и он мог просто не подпустить ее к себе, перехватить — так или эдак. Мог, но не хотел. Он наслаждался, упивался ее любовью, ее безумием, а больше всего — ее робкой, горькой жадой мести. Эти покушения сделали его знаменитостью, «звездой» в пределах Донорского пункта; они оповестили всех живущих там, что он кобель, каких свет не видел, он может свести женщину с ума, уничтожить, сломать ее, и не потому, что ее ненавидит, и не потому, что совершил по отношению к ней какой-то непростительный поступок, а просто потому, что раньше он с ней спал и она обезумела, лишившись этого блага. Даже в последний раз он выжал из нее свою долю наслаждения. Знал, что она непременно придет и совершит очередную жалкую попытку убить его, и воспользовался этим, противопоставив свою волю ее воле — бросив

ультиматум всему сущему. «Умри, Агарь, умри». «Или умрет эта сучка, или я умру». Она стояла как марионетка, которую подвесил кукольник, а он ушел, увлеченный новой причудой.

О Соломон, не покидай меня.

Дети снова стали в круг. Молочник потер затылок. Внезапно на него навалилась усталость, хотя утро еще только началось. Он оттолкнулся от кедра и присел на корточки.

Джей, Соломона единственный сын,
Хей буба йейл, хей...

В этом городе всех называют Соломонами, устало подумал он. Лавка Соломона, Лютер Соломон (не родственник), Соломонов утес, а теперь еще и дети вместо «сладкий мой» поют «Соломон, не покидай меня». Даже название этого города звучит похоже на Соломон — Шалимар, а мистер Соломон и прочие произносят его «Шалимон».

Внезапно его, как огнем обожгло: Джей, Соломона единственный сын? Уж не Джейк ли это — единственный сын Соломона? Джейк. Он, затаив дыхание, жадно вслушивался в пение детей. Это же один из тех, кого он ищет. Человек по имени Джейк, который жил в Шалимаре, так же как жена его, по имени Пой.

Он вытянул шею и ждал, когда дети снова начнут песню. «Хей буба йейл, хей буба тамби» звучит бессмысленно, там смысла действительно нет. Но вот другая строчка: «Черная женщина на землю повалилась», — здесь все ясно. Дальше опять какая-то тарабарщина, а потом: «Как она рыдала и о землю билась». А теперь стоящий в центре круга мальчик завертелся вихрем, чтобы не отстать от нового, стремительного ритма песни: «Соломон и Рена, Белали, Шалут...»

Снова Соломон и... Рена? Может быть, Рина? Почему это имя ему так знакомо? Соломон и Рина. Охота. Лес. Соломонов утес и ущелье Рины, они шли туда или проходили мимо этих мест в ту ночь, когда охотились за рысью. Возле ущелья ему слышалось, будто плачет женщина, и Кальвин сказал, что звук этот доносится из ущелья Рины, что это просто

эхо, но люди говорят, будто там плачет женщина по имени Рина. Плач слышен, когда ветер дует с определенной стороны.

Да, но что значит все остальное: Белали... Шалут... Йаруба? Если Соломон и Рина — имена людей, то, может, это тоже имена? Песенка заканчивалась еще одной осмысленной строкой: «Двадцать один мальчик, а последний Джейк!» И когда хор выкрикивал: «Джейк!» (он же, конечно, «Соломона единственный сын»), мальчик, который кружился в центре, останавливался. Тут Молочник понял, что, если в этот миг палец мальчика ни на кого не указывает, попадает в пустое место, все начинается сначала. Но если палец упирается прямо в кого-то из детей, все бросаются на колени и затягивают песню, которую пела Пилат.

Он вытащил бумажник, вынул из него корешок, оставшийся от билета на самолет, но карандаша у него не было, авторучка лежала в кармане костюма. Что ж, придется просто слушать и запоминать. Он сосредоточенно зажмурился, а тем временем дети, неумолимые в своем стремлении повторять ритмичную песенку и игру, захватывающую их своим ритмом, снова и снова становились в круг. И Молочник запомнил всю песню.

Джейк, Соломона единственный сын,
Хей буба йейл, хей буба тамби,
В небо взлетел он выше вершин,
Хей конка йейл, хей конка тамби.
В доме у белых оставил дитя,
Хей буба йейл, хей буба тамби,
В дом краснокожих Хедди взяла дитя,
Хей конка йейл, хей конка тамби.
Черная женщина на землю повалилась,
Хей буба йейл, хей буба тамби,
Как она рыдала и о землю билась,
Хей конка йейл, хей конка тамби.
Соломон и Рина, Белали, Шалут,
Йаруба, Медина и Мухамет,
Нестор, Калина, Сарака бейк,
Двадцать один мальчик, а последний Джейк!
О Соломон, не покидай меня,

Боюсь я в хлопке задохнуться,
О Соломон, не покидай меня,
Вдруг руки Бакры на мне сомкнутся!
Соломона нет, Соломон стрелой
Небо пронзил, ушел домой.

Молочник чуть не вскрикнул, когда услышал строчку «В дом краснокожих Хедди взяла дитя». Хедди — бабушка Сьюзен Берд со стороны отца, и, значит, Пой — дочь Хедди. А слова «дом краснокожих», вероятно, говорят о том, что Берды — индейцы. Ну конечно! Пой была ведь индианка или с примесью индейской крови, и звали ее Пой Берд, то есть Пой Птица.^[22] И даже нет — Поющая Птица! Вот какое имя она, наверно, получила при рождении — Поющая Птица. А ее брат, Воррен Берд, должно быть носил имя Птица Ворон, а скорее, просто Ворон. Они смешали свои индейские имена с именами, которые звучали на американский лад. Итак, набралось уже четыре человека, имена которых упоминались в песенке: Соломон, Джейк, Рина и Хедди, да к этому еще можно прибавить косвенный намек на индейское происхождение Хедди. А если так, то Джейк и Пой и в самом деле оба родом из Шалимара, как утверждала Цирцея. Все сходится, ошибки быть не может. Песня, которую распевают местные ребята, — это история его семьи! Он посмеивался, что-то бормотал себе под нос и ломал голову, как свести концы с концами.

Соломон — отец Джейка. Так это Джейк взлетел в небо до самых вершин? Оставил он дитя у белых в доме? Нет, не то. Ведь есть же строчка «Соломон, не покидай меня», значит, Соломон-то и ушел, именно он улетел — по всей вероятности, умер или убежал, — не Джейк, а Соломон. Может быть, это дитя или сам Джейк умоляет его остаться. Но кто эта «черная женщина», которая «на землю повалилась»? Почему она «рыдала и о землю билась»? Судя по этим словам, она была вне себя от горя. Горевала ли она о том, что кто-то сперва оставил ее дитя у белых в доме, а потом его взяли в дом краснокожих? Рина? Уж не Рина ли та черная женщина, что до сих пор плачет в ущелье? Может быть, Рина — дочь Соломона? Может, она родила внебрачного ребенка, и тогда отец ее... Нет. Она плачет о Соломоне, а не о ребенке. «Соломон, не покидай меня». Он, вероятно, был ее возлюбленным.

Мысли путались, но он ощущал радостное возбуждение ребенка, стоящего перед грудой коробок с подарками, наваленной под рождественской елкой. Где-то в этой грудке есть подарок, приготовленный для него.

И все же еще много, множество пробелов. Сьюзен Берд, мелькнула мысль, — наверное, она знает больше, чем ему рассказала. К тому же надо ведь забрать часы.

Он помчался к лавке Соломона и увидел себя на бегу в зеркальном стекле витрины. Улыбка до ушей. Глаза сияют. Он ни разу в жизни не был так возбужден и счастлив.

ГЛАВА 13

В то теплое сентябрьское утро она еще долго стояла после его ухода, а потом ее немного отпустило, и она выронила нож. Когда он стукнулся о линолеум, она медленным, медленным жестом взялась за груди, словно то были плоды манго, выставленные на рынке, чтобы каждый мог пощупать их и отойти. В такой позе она стояла в залитой ярким солнцем комнате Гитары до тех пор, пока сам он не вернулся домой. Она не двигалась, не отвечала на вопросы, поэтому Гитара просто взял ее на руки и снес с крыльца. Он усадил ее на нижнюю ступеньку, а сам отправился взять у кого-нибудь автомобиль, чтоб отвезти ее домой.

Всю эту историю он считал кошмарной и с брезгливостью наблюдал проявления ее нелепой, бездумной любви, но тем не менее глубокая волна печали захлестнула его, когда он бросил взгляд на эту и впрямь красивую женщину, которая, застыв, сидела на ступеньке, держалась за груди и глядела перед собой запавшими глазами.

Мотор старого автомобиля, который он одолжил, ревел оглушительно, но Гитара обращался к ней негромким, тихим голосом:

— Ты думаешь, вот он меня не любит, и я и в самом деле ничего не стою. Ты думаешь, он перестал тебя хотеть, и это неспроста — раз он о тебе такого мнения, значит, он действительно прав. Раз он тебя бросил, значит, ты — мусор. Ты думаешь, он твой, потому что самой тебе хочется принадлежать ему. Зря это, Агарь, не надо так. «Мой» — плохое слово, особенно когда мы говорим о тех, кого любим. Любовь

не должна быть такой. Ты замечала, как тучи любят высокий утес? Они обволакивают его, весь целиком; бывает даже, за ними и утеса не видно. Но ведь вот что интересно. Поднимись на самый верх, и что там? Вершина утеса. Тучи не покрывают ее никогда. Утес вздымается над ними, потому что они не мешают ему, они не затягивают его полностью. Тучи позволяют утесу держать голову высоко, свободно, они не стремятся его спрятать, чем-то связать. Слышишь ты меня, Агарь? — Он разговаривал с ней, как с ребенком. — Нельзя сделать своей собственностью человека. А раз ты чем-то не владеешь, то этого нельзя и потерять. Ну допустим, он и в самом деле превратился бы в твою собственность. Ты могла бы всерьез полюбить человека, который без тебя ничего собой не представляет? Тебе действительно нужен такой? Только ты шагнешь за дверь, а он тут же и рассыпался? Ведь не нужно тебе этого, верно? Этого не нужно ни тебе, ни ему. Ты ради него всю свою жизнь перевернула. Всю жизнь перевернула, девочка моя. А если ты так низко ценишь свою жизнь, что готова от нее отказаться, отдать ее ему, то он-то чего ради станет высоко ее ценить? Раз для тебя она не дорога, то и для него не дороже. — Он замолчал. Она сидела неподвижно и ничем не показала, что слышит его слова.

Красивая женщина, подумал он. Прелесть, чернокожая красotka. Хочет убить из-за любви, умереть из-за любви. Тщеславие и гордыня этих бесхребетных женщин потрясали его. Всех их избаловали когда-то в детстве. Ко всем их прихотям взрослые относились всерьез и растили собственниц, каких свет не видывал, а обостренное чувство собственности порождало мелочную собственническую любовь, готовую сожрать все, что на глаза попадется. Они не могли поверить, не могли смириться с тем, что их не любят; если кто-то им отказывал в любви, им казалось, все на свете пошло кувырком. Почему они считают, что все должны их любить? Почему уверены, что их любовь — самой высокой марки или, уж во всяком случае, ничуть не ниже, чем у других? Уверены, и все. И так нежно любят они эту свою любовь, что готовы убить каждого, кто станет у них на пути.

Он опять посмотрел на нее. Хороша. Черная красotka. Чернокожая красotka. Куда же ты смотрела, Пилат? Неужели никто не внушил ей того, что необходимо знать? Он вспомнил своих сестер — обе сейчас взрослые, вполне созревшие женщины — и вспомнил, как они росли, всю эту канитель. А где твой папа? Твоя мама знает, что ты сейчас на

улице? Не выходи с открытой головой. Простудишься и умрешь. Тебе не жарко? Тебе не холодно? Дождь идет, ты не боишься промокнуть? Не клади ногу на ногу. Подтяни носки. А я думала, ты ходишь в молодежный хор. У тебя из-под платья комбинацию видно. Вернись и выглади воротничок. Перестань болтать. Причешись. Марш отсюда и быстро стели постель. Поставь мясо на плиту. Выбрось мусор. Смажь вазелином, все пройдет.

Ни Пилат, ни Реба не понимали, что Агарь не похожа на них. Не так сильна, как Пилат, не так проста, как Реба, и поэтому не может жить, как они. Ей нужно было то же самое, что большинству цветных девушек: сонм маменек, бабушек, тетушек, сестер, двоюродных сестер, соседок, учительниц воскресной школы, закадычных подружек, — вот тогда бы у нее хватило сил, чтобы жить... и появился бы вкус к жизни.

А все-таки, подумал он, если твой любимый — уж неважно, достоин он любви или нет, — пренебрегает тобой или просто бросил...

— Вот послушай, Агарь. Стоило мне только полюбить, меня сразу покидали. Отец умер, когда мне было четыре года. Первая потеря в моей жизни и самая тяжелая. Потом мать. Нас у нее осталось четверо, когда умер отец, и она не выдержала. Убежала. Просто убежала, и все. Нас взяла на время тетка, до бабушкиного приезда. Потом бабушка забрала нас к себе. А потом уж появился дядя Билли. Сейчас оба они совсем старенькие, еле скрипят. Так что, понимаешь, для меня было не так-то просто связать себя с женщиной. Я ведь думал: если полюблю кого, тот умрет. Но я все-таки не удержался, связался с женщиной. Один раз. Правда, я считаю, больше чем один — невозможно. — Он немного подумал, потом сказал: — Но убить ее мне никогда не хотелось. Его — другое дело. Но не ее. — Он улыбнулся, но Агарь на него не смотрела, даже не слушала, и, когда он вывел ее из машины и передал из рук в руки Ребе, у нее были все те же пустые глаза.

Они одно только умели — любить ее, и, поскольку она ни слова не говорила, стали носить ей всякие подарки, чтобы ее развлечь. Впервые в жизни Реба прилагала усилия, стараясь что-то выиграть. И впервые в жизни ей это не удавалось. Выиграла она только портативный телевизор, который не смогли включить в сеть, потому что в их доме не было электричества. Ни лотерейного билета, ни выигрыша в бинго[23], или в полиси[24], или в банковской расчетной палате, или в

тотализаторе какого-нибудь магазина, ну ничегошеньки, даже надувного шарика во время карнавала не принес ей магический ее дар. Реба пала духом. Растерянная, невезучая, она уныло тащилась домой, сжимая в руке стебельки чего-то, цветущего возле домов чужих людей. Вручала дочери, а та сидела в кресле у окна или лежала в постели и все перебирала, перебирала свои густые волосы.

Они старались приготовить для нее что-нибудь вкусное, придумывали, что бы ей такое подарить и развеять ее грусть. Все без толку. У Пилат не шевелились губы, в глазах Ребы застыл панический страх. Они принесли ей губную помаду и шоколадное молоко, розовую нейлоновую водолазку и цветастую ночную кофточку. Реба даже постигла тайну приготовления желе, зеленого и красного. Агарь и не взглянула на тарелку.

В один прекрасный день Пилат присела на кровать Агари и поднесла пудреницу к ее лицу. Пудреница была из розовой пластмассы и отделана каким-то золотистым металлом.

- Гляди, детка. Видишь эту штучку? — Пилат вертела пудреницу и так и сяк, показывая все ее красоты, и наконец нажала на защелку.

Пудреница раскрылась, и Агарь увидела в зеркальце часть — очень небольшую — своего лица. Тогда она взяла пудреницу из рук бабки и долго всматривалась в зеркальце.

- Не удивительно, — сказала она наконец. — Ты взгляни только. Не удивительно. Не удивительно.

Пилат затрепетала от восторга, после трехдневного молчания услышав голос Агари.

- Это тебе, детка, — сказала Пилат. — Красивенькая, да?

- Не удивительно, — повторила Агарь. — Не удивительно.

— Что не удивительно? — спросила Пилат.

— Да ты только посмотри, на кого я похожа. Это же ужас. Не удивительно, что я стала ему не нужна. Я выгляжу кошмарно. — Она говорила спокойно, рассудительно, словно и не было вовсе этих дней, проведенных в сомнамбулическом состоянии. — Мне нужно выйти из

дому и привести себя в порядок. Не удивительно! — Агарь отбросила покрывало и встала с постели. — Б-р-р-р. Да я тут пропотела вся. Согрей воду, мама. Мне нужно принять ванну, как следует отмыться, подольше посидеть в воде. Ароматические соли у нас есть? О господи, а волосы! Ты только взгляни. — Она опять посмотрелась в зеркальце. — Я на сурка какого-то похожа. Где расческа?

Пилат кликнула Ребу, и они вдвоем забегали в поисках расчески по дому, но, когда нашли, Агари не удалось расчесать свои свалявшиеся, спутанные волосы.

- Вымой голову, — сказала Реба. — Вымой голову, а мы расчешем тебе волосы, пока они мокрые.

- Если мыть, нужен шампунь. Настоящий шампунь. Я не могу, как мама, мыть голову мылом.

- Пойду достану где-нибудь, — боязливо вызвалась Реба. — Какой шампунь нужно достать?

- А... любой. И масло для волос, слышишь, Реба. Фирмы Познера, и еще... Ладно, этого достаточно! Мама! Ты видела, какое у меня... О бог ты мой. Не удивительно. Не удивительно.

Пилат вытащила ниточку из покрывала на кровати Агари и сунула ее в рот.

— Я согрею воду, — сказала она.

Вернувшись домой, Реба вымыла Агари волосы и осторожно расчесала их щеткой, а потом гребенкой.

- Реба, заплети мне просто две косы. Мне нужно сходить в парикмахерскую. Сегодня же... Да... еще мне из одежды кое-что купить придется. — Стоя у дверцы стенного шкафа, Агарь перебирала одно за другим висящие на плечиках платья. — Господи, что тут творится. Все вверх дном. До чего измялись.

- Вода согрелась. Куда поставить лохань?

- Принеси сюда.

- Ты думаешь, тебе уже можно купаться? — спросила Реба. — Ты же еще не успела выздороветь.

- Помолчи, Реба, — сказала Пилат. — Девочка лучше тебя знает, что ей нужно.

- Но она ведь три дня пролежала в постели.

- Тем более ей следует помыться.

- Я не могу надеть это на себя. Все грязное, измятое, кошмар какой-то, — чуть не плача, возмущалась Агарь.

Реба укоризненно посмотрела на мать:

- Ну что ж, поверим тебе на слово. Я лично не люблю, когда люди после болезни встают, не вылежав, да еще сразу же лезут купаться.

- Помоги мне принести сюда лохань и перестань бурчать.

- Все измято. Ну что я надену?

- Да здесь воды чуть-чуть, еле ноги покроет.

- Вода подымет, когда она туда сядет.

- Где мое желтое платье? То, где пуговицы сверху донизу?

- Да где-то здесь, наверно.

- Найди его и погладь, слышишь? Уверена, что у него кошмарный вид. В этом шкафу у всех вещей вид кошмарный.

Реба отыскала и погладила желтое платье. Пилат помогла Агари вымыться в лохани. И вот, чистая, в наглаженном платье, Агарь встала перед матерью и бабкой и сказала:

— Мне придется купить себе кое-что из одежды. Нужны новые вещи. А это все дрянь.

Пилат и Реба переглянулись.

— А какие тебе нужны вещи? — спросила Пилат.

— Мне нужно абсолютно все, — ответила Агарь, и абсолютно все ей было куплено.

На деньги, вырученные от бриллианта Ребы, были приобретены все атрибуты, которые только могут понадобиться женщине, если допустить, что до этого она ходила голой. Когда Агарь объявила им о своих нуждах, в доме было всего семьдесят пять центов да шесть долларов задолжали клиенты. И двухтысячный бриллиант в два карата перешел в руки закладчика, у которого Реба сперва получила за него тридцать долларов, а затем возвратилась в сопровождении воинственно настроенной Пилат, после чего к этой сумме было добавлено еще сто семьдесят. Агарь сунула в сумочку двести долларов и семьдесят пять центов и отправилась в город, время от времени повторяя шепотом: «Не удивительно».

Она купила эластичный пояс с резинками фирмы «Плэйтекс». Бесцветные миллеровские получулки, трико и две нейлоновые комбинации — белую и розовую, — пару босоножек фирмы «Джойс» и еще пару — «Кон Брио» («Благодарите небо за изящные туфельки фирмы «Джойс»). Унесла в примерочную целую охапку юбок и костюмчик фирмы «Эван-Пайкоун». Агарь расстегнула на желтом платье все пуговицы сверху донизу, сбросила на пол и стала через голову натягивать юбку. Но юбка не сходилась в талии. Агарь сделала глубочайший вздох, вбирая живот, тянула из всех сил материю, а молния никак не сходилась. Она так разволновалась, так запыхалась, что покрылся испариной лоб. В этот миг она была убеждена, что вся ее жизнь зависит от того, сойдутся ли наконец алюминиевые зубчики молнии. Она сломала ноготь, и от усиленных стараний приблизить краешки разреза друг к другу разболелись подушечки на больших пальцах. Уже не легкая испарина поблескивала на ее лице — она вся взмокла от пота, она задыхалась. Она вот-вот готова была разрыдаться, как вдруг продавщица, слегка отогнув занавеску, заглянула в кабинку и бодро спросила:

— Ну, как у нас дела?

Но, увидев загнанное, злобное лицо Агари, оторопела.

— Ай-ай, что это? — Она взялась за ярлычок, свисавший с талии. — Пятый размер. Что же вы так мучаетесь, вам совсем не надо натягивать

на себя эту юбку. Вам нужен... ну, девятый или даже, пожалуй, одиннадцатый размер. Пожалуйста, не примеряйте эту юбку. Я сейчас поищу ваш размер.

Клетчатая юбка упала к ногам Агари, и лишь после этого продавщица удалилась. Агарь без всяких трудностей надела юбку, которую ей принесла продавщица, не стала больше ничего искать, сказала, что берет еще и костюм от Эван-Пайкоуна, тоже явно тесный.

Потом она купила белую блузку и ночную сорочку темно-бежевого цвета с кружевной отделкой в виде морской пены. Осталась только косметика.

В косметическом отделе ее окатило волной сладких, терпких, пряных запахов, и она жадно принялась читать напечатанные на ярлычках обещания. Накал примитивных бабьих страстей — поскорей, немедля увести его в мир взаимной жаркой тяги, где существуют только двое: он и она, — смешался с запахом «Эр дю там» Нины Риччи, «Флэр» Ярдли, «Нектароми» Тюваше и «Упоения» Д'Орсея, «Фракаса» Робера Пикэ и «Калипсо», «Виза», и «Бэнди», «Шантильи» Убигана, «Флер де Рекей» и «Беллоджии» Каро. Агарь втягивала в себя сладкий аромат, витавший над стеклянными прилавками. Улыбаясь, кружила она по отделу, как в трансе, и перед ее глазами скользили сверкающие, словно бриллианты, прилавки, а на них бутылочки, тонкие, как облатка, кружочки прессованной пудры, коробочки, флакончики, тюбики. В мягких белых ручках продавщиц на миг мелькали щенячьими язычками, высунувшись из футляров, ярко-розовые столбики помады. Тончайшая пудра и молочно-белые лосьоны сгрудились перед рекламными щитками, а впереди красовались другие щитки — с прекрасными сияющими лицами. Лицами, выражавшими восторг. Угрюмое торжество соблазнительниц, которые достигли своего. Агари казалось, она может бродить тут всю жизнь среди граненого стекла, ослепительных рекламных красоток, ароматов, атласа. Здесь изобилие. Здесь шик. Здесь любовь.

Лишь в половине шестого Агарь вышла из магазина, крепко сжимая в руках два бумажных пакета, битком набитых пакетиками поменьше. Она протащила их без передышки до парикмахерской Лилли.

— Укладку сделать не успеем, золотко, — сказала Лилли, заметив в дверях Агарь.

Та уставилась на нее неподвижным взглядом.

— Но мне нужно причесаться. Я не могу откладывать, — отозвалась она.

Лилли бросила взгляд на Марселину. Именно Марселине был обязан своим процветанием салон. Она была помоложе, недавно окончила курсы и умела сделать холодную завивку, которая держалась много дней. А Лилли по старинке накаляла щипцы докрасна и выливала целую унцию «составчика» на голову каждой клиентки. Те не перебегали к Марселине, но восторга не испытывали. Лилли спросила Марселину:

— Ты сможешь ее причесать? У меня ничего не получится, я уже вижу.

Марселина внимательно оглядела лохмы Агари.

— Вообще-то не хотела я сегодня оставаться допоздна. Я еще двоим назначила прийти. Восьмой день работаю без выходных.

Все молчат. Агарь глядит все так же, неподвижно, в упор.

— Ладно, — сказала Марселина. — Кому другому отказала бы, а ты уж приходи. В полдевятого. Волосы мытые?

Агарь кивнула.

- Ну, идет, — сказала Марселина. — Значит, в полдевятого. Но шикарной прически не ожидай.

- Удивляюсь на тебя, — фыркнула Лилли, когда за посетительницей захлопнулась дверь. — Только что ты завернула двух клиенток.

- Правильно, работать мне сегодня неохота, но с Агарью этой лучше не заводить. Что угодно может отколоть. Вон какие штуки вытворяет со своим двоюродным, ну а уж со мной-то... я ей вообще — тьфу.

- Это та самая, которая встречалась с сыном Мейкона Помера? — Клиентка Лилли с любопытством подняла намыленную голову.

- Та самая и есть. Постыдились бы оба, и он, и она. Родственники ведь.
- Видно, ничего хорошего из их встреч не вышло, если она все норовит его убить.
- Он, кажется, вообще из города уехал.
- А ты бы не уехала на его месте?
- Как сказать. Знаю только, злить ее я ни за что не стану. Уж это точно.
- Между прочим, она никого не трогает, только его.
- Предположим. А Пилат? Пилат узнает, что я ее завернула, и тогда только держись. Ох, избаловали они свою деточку, ужас.
- Ты, кажется, заказывала рыбу в соседнем ресторане?
- А волосы как запустила. Надеюсь, она не рассчитывает на шикарную прическу.
- Слушай, позови его. Есть очень хочется.
- И кстати, совершенно в ее духе. Нет чтобы условиться накануне. Какое там. Явилась в конце дня черт-те с какими волосами, а прическу небось хочет как у кинозвезды.

Вероятно, сперва она собиралась где-то переждать. Или сходить домой, а в парикмахерскую возвратиться в назначенное время. Но она уже не принадлежала себе — ее подхватило и несло. С того момента, когда она увидела себя в маленьком зеркальце, вставленном в розовую пудреницу, она не могла остановиться. Словно втянула в себя воздух и не выпустит его до тех пор, покуда бешеная ее деятельность и неутомимость не обернутся такой ослепительной красотой, что он не устоит. Вот почему, выйдя из парикмахерской, она не глядела ни вправо, ни влево, а все шла и шла, не видя ни прохожих, ни светофоров, ни машин, ни затянутого тучами неба. Она вымокла до нитки, когда наконец поняла, что идет дождь, да и то заметила его лишь потому, что порвался один из пакетов. Она взглянула вниз: на

обочине тротуара лежала аккуратно сложенная вдвое белая с яркой отделкой юбочка фирмы «Эван-Пайкоун», а до дома было очень, очень далеко. Она положила оба пакета на землю, подобрала с тротуара юбку и смахнула прилипшие к ней мелкие камешки. Торопливо сложила юбочку снова, но, когда хотела сунуть ее в пакет, он окончательно развалился. Агарь нагнулась и стала подбирать валявшиеся на земле покупки, и, пока она их собирала, дождь разгулялся, промочил насквозь ее густые волосы и струйками стекал по шее. Она подняла с земли коробку туфель «Кон Брио», небольшой пакетик — перчатки от «Ван Раальте» — и еще один, где находилась ночная сорочка с кружевной отделкой в виде морской пены. Все это она засунула во второй пакет. Двинулась было дальше, но пакет стал слишком тяжелым, чтобы нести его одной рукой; она прижала его к животу и медленно зашагала, придерживая свою ношу обеими руками. Не прошла она и десяти шагов, как у пакета вывалилось дно. Агарь наступила на «Багрянец джунглей», сразу после этого ей под ноги попали «Полутона юности», а потом она с отчаянием обнаружила, что облатка «Рассветного зарева» упала в лужу. «Багрянец джунглей» и «Полутона» не пострадали, зато «Рассветное зарево» перевернулось вверх дном, выпало из коробки, и от каждой дождевой капли над облаткой облачком вздымался нежный полупрозрачный дымок. Агарь с большим трудом собрала остатки пудры и снова положила в пакет.

Пока она добралась до Дарлинг-стрит, ей пришлось дважды останавливаться и собирать с земли свертки. Но вот она наконец оказалась у порога домика Пилат, промокшая, растерянная, еле держась на ногах, неуклюже прижимая к животу свертки. Реба так обрадовалась, увидев дочь, что стиснула ее в объятиях, причем «Шантильи» и «Бэнди» упали на пол. Агарь резким движением вырвалась из ее объятий.

— Я спешу, — прошептала она. — Я спешу.

Шаркая подошвами, даже не вытерев волос, с которых непрерывно капала вода, прижимая к себе покупки, она проследовала в спальню и заперла за собой дверь. Пилат и Реба застыли на месте.

В спальне Агарь разделась догола и, не тратя времени на то, чтобы вытереть лицо, волосы, ноги, поспешно натянула на себя белую с цветной отделкой юбку и такое же болеро, бюстгальтер «Девичьи

формы», шикарные трусики, бесцветные получулки, эластичный пояс фирмы «Плэйтекс» и босоножки на шпильках фирмы «Джойс». Затем села и взялась за косметику. Подвела угольно-серой краской брови, чтобы глаза выглядели круглыми и молодыми, затем натерла щеки тоном. А после этого напудрилась «Рассветным заревом». Слой тона исчез под «Заревом», пришлось накладывать его опять. Агарь выпятила губы и густо намазала их «Багрянцем джунглей». Веки подкрасила тоном «Безоблачные небеса». Слегка притронулась «Бэнди» к шее, мочкам ушей и запястьям. Затем взяла флакон «Полутона юности», налила полную горсть и размазала по лицу.

Наконец она открыла дверь и предстала перед Пилат и Ребой. И в их глазах увидела то, чего не разглядела в зеркальце: промокшие, изорванные получулки, грязная белая юбка, липкие пятна пудры на лице, неровные полосы грима и всклокоченные мокрые патлы. Все, все она разглядела в их глазах, и к ее собственным глазам прихлынула жидкость куда более горячая и древняя, чем дождь. Эта жидкость лилась несколько часов, а потом началась лихорадка и ее осушила. Осушила глаза, и во рту стало сухо.

Агарь лежала в своей кроватке, купленной чуть ли не в детстве, и глаза ее были сухими, как песок, и пустыми, как стекло. Пилат и Реба сидели у кровати, склонившись над Агарью, как два дерева, согнутые ветром, постоянно дующим в одну и ту же сторону. И, подобно деревьям, они давали ей все, что могли: ласковый шепот, защитную тень.

— Мама. — Волна лихорадки вынесла Агарь куда-то еще выше, в новые пределы.

— Да?

- Почему ему не нравятся мои волосы?

- О ком ты, детка? Кому не нравятся твои волосы?

- Молочнику.

- Молочнику нравятся твои волосы, — вмешалась Реба.

- Нет. Не нравятся. А я никак не пойму — отчего. Ему всегда не нравились мои волосы.

- Да нравятся они ему. Как они могут ему не нравиться? — спросила Пилат.

- Ему нравятся шелковистые волосы. — Агарь так тихо это прошептала, что обеим женщинам пришлось нагнуться еще ниже.

- Молочнику? Шелковистые волосы?

- Ему не нравятся такие, как мои.

- Ну что ты, ну будет, Агарь.

- Шелковистые волосы, светлые, такого цвета, как цент.

- Не надо разговаривать, детка.

- Кудрявые, волнистые, шелковистые волосы. А мои ему не нравятся.

Пилат положила руку на голову внучки, и ее пальцы потихоньку пробирались сквозь влажные от пота мягкие волосы, густые и курчавые, словно овечья шерсть.

- Как он может не любить твои волосы? Ведь точно такие же растут у него под мышками. И на животе такие же, и на груди. В точности. И из носа вылезают, и курчавятся над губой, а если он когда-нибудь потеряет бритву, все его лицо такими обрастет. Вся голова у него в таких же кудряшках, Агарь. Ведь это не только твои, это и его волосы. Он не может их не любить.

- Совсем он их не любит. Он ненавидит их.

- Неправда. Он и сам не знает, что он любит, но погоди, голубка моя, он на днях приедет. Как он может любить себя и ненавидеть твои волосы?

- Он любит шелковистые.

- Будет тебе, Агарь.

- Волосы такого цвета, как цент.

- Не надо, голубка.

- И кожу лимонного цвета.
- Тсс.
- И серо-голубые глаза.
- Ну будет, будет.
- А нос чтобы был тонкий.
- Тише, девонька, молчи.
- Мои волосы никогда ему не понравятся.
- Тише. Тише. Тише, девонька моя. Тише.

Соседям пришлось скинуться, так как Пилат и Реба отдали все деньги, когда Агарь отправилась по магазинам привести себя в порядок и принарядиться. Скинуться-то скинулись, но набрали немного, и весьма сомнительным казалось, удастся ли устроить для Агари приличные похороны, но тут Руфь вошла в «Магазин Санни» и не мигая, в упор уставилась на Мейкона. Он сунул руку в ящик, вынул две двадцатидолларовые купюры и положил на стол. Руфь не взяла со стола деньги и даже не шевельнулась. Мейкон некоторое время колебался, затем круто повернулся на вращающемся стуле и стал набирать комбинацию сейфа. Руфь молча ожидала, Мейкон трижды совал руку в сейф, и лишь после третьего раза Руфь разжала сложенные руки и взяла деньги. «Спасибо», — сказала она и тотчас поспешила в похоронное бюро при баптистской молельне распорядиться, чтобы похороны устроили как можно скорей.

Два дня спустя, во время отпевания, можно было подумать, будто Руфь — единственная, кто уцелел в этом семействе, после того как его посетила смерть. Женский квартет молельни уже спел «Навеки со мною пребудь», жена владельца похоронного бюро прочла все соболезнования, а священник с воодушевлением начал «Нагими входим мы в мир сей и нагими его покидаем» — проповедь, почитаемую им наиболее подходящей при отпевании молодой

женщины, — и пьянчуги, столпившиеся у входа, которые пришли воздать последний долг «Пилатовой внучке», но не решались войти в церковь, уже пустили слезу, как вдруг дверь распахнулась и в молельню ворвалась Пилат с воплем «помилуй!», звучавшим как приказание. Один из находившихся в молельне молодых людей встал и двинулся ей навстречу. Она выбросила вперед правую руку таким резким движением, что чуть не сбила его с ног. «Прошу тебя, помилуй!»- кричала она и приближалась к гробу, покачивая головой, словно кто-то задал ей вопрос, а она отрицательно на него отвечает.

Посреди прохода она остановилась и, протянув вперед руку, указала на гроб. Затем медленным движением, хотя дышала она часто, будто запыхалась, опустила руку на бедро. Странно это выглядело — вяло, утомленно опустившаяся на бедро рука и дыхание, такое частое, такое быстрое. «Помилуй!» — повторила она, только на этот раз шепотом. К ней поспешно подошел владелец похоронного бюро и тронул за локоть. Она от него отмахнулась и пошла вперед, к гробу. Наклонила набок голову и посмотрела. Серьга легла ей на плечо. Она была одета во все черное, и на этом черном фоне серьга сверкала, как звезда. Владелец похоронного бюро еще раз попытался подойти к ней и подошел уже вплотную, но, взглянув на ее чернильные, ежевичные губы, на туманные и влажные, словно дождевая туча, глаза, на удивительную медную коробочку, которая свисала с ее уха, он сделал шаг назад и начал смотреть в пол.

«Помилуй?» Теперь она задавала вопрос. «Помилуй?»

Нет, не подходит слово, в нем чего-то не хватает. Ему нужно основание, каркас. Она выпрямилась, вскинула голову, и вопль о помощи превратился в песнь. Чистым, словно колокольчик, голосом запела она ее — каждое слово тянулось так долго, что становилось целой фразой, — и, прежде чем последний слог замер в дальних углах, ей откликнулось звонкое сопрано: «Слышу!»

Все оглянулись. В молельню входила Реба и тоже пела. Пилат ничем не показала, что заметила ее, и не пропустила ни единого такта. Она просто снова повторила: «Помилуй», а Реба отозвалась. Дочь стояла у порога молельни, мать — у самого изголовья гроба, и обе пели:

В час ночной,
Помилуй.
И во тьме,
Помилуй.
На заре,
Помилуй.
У одра,
Помилуй.
И сейчас, колена преклонив,
Помилуй, помилуй, помилуй, помилуй.

Они умолкли одновременно, и воцарилась мертвая тишина. Пилат протянула руку и дотронулась тремя пальцами до края гроба. Теперь слова ее были обращены к женщинам в обшитых серыми траурными лентами платьях и распростертыми ниц на полу. Тихо, тихо, словно только ей одной, она запела Агари ту самую песенку, какую пела, обещая ее защитить, когда та была еще совсем маленькой:

Кто сладкую мою пташечку обидел?
Кто обидел мое дитя?
Кто сладкую мою пташечку обидел?
Кто обидел мое дитя?
Кто-то сладкую мою пташечку обидел.
Кто-то обидел мое дитя.
Кто-то сладкую мою пташечку обидел.
Кто-то обидел мое дитя.
Я сыщу его, кто пташечку мою обидел,
Я сыщу его, кто обидел мое дитя.
Я сыщу его, кто пташечку мою обидел,
Я сыщу его, кто обидел мое дитя.

«Мое дитя». Эти два слова еще бились у нее в горле, когда Пилат повернулась к гробу спиной. Оглядела лица сидящих на скамьях людей — все глаза устремлены на нее — и в упор посмотрела в глаза первому, кто встретился с ней взглядом. Кивнула ему, не отводя глаз, и сказала: «Мое дитя». Снова оглядела лица, снова встретила с кем-то взглядом

и опять сказала: «Мое дитя». Двигаясь к выходу, она сообщала каждому обращенному к ней лицу все ту же весть: «Мое дитя. Это мое дитя. Мое дитя. Мое дитя. Мое дитя».

Говорила она доверительно, объясняла, какая она, Агарь; выделяла ее из всех иных, кто жил в этом мире и умер. Сперва она обращалась к тем, у кого хватило мужества посмотреть ей прямо в лицо, кивнуть и сказать: «Аминь». Потом к тем, у кого не хватило выдержки, чей взгляд не поднимался выше длинных черных пальцев, упирающихся в бок. К этим она наклонялась пониже, чтобы в двух словах поведать им всю историю сломанной жизни, которая покоится теперь в гробу у нее за спиной. «Мое дитя». Слова падали, как камни в безмолвное глубокое ущелье.

Внезапно, будто слон, который наконец-то разгневался и взметнул свой хобот над головами людишек, жаждавших заполучить его бивни, или шкуру, или мясо, или его сокрушительную силу, Пилат воззвала к самым небесам: «А она ведь была любима!».

И тогда один из жалостливых пьянчужек, столпившихся в дверях, уронил с перепугу бутылку и осыпал все вокруг изумрудным стеклом, окропил вином, багровым, как «Зарево джунглей».

ГЛАВА 14

Возможно, оттого, что солнце уже коснулось горизонта, домик Сьюзен Берд теперь представился ему совсем другим. Ствол кедра стал серебристо-серым, кора вся в морщинках. Молочнику он показался похожим на ногу старого слона. И он заметил сейчас потертые веревки на качелях, а казавшийся таким нарядным и ослепительно белым забор выглядел запущенным, краска потрескалась, облупилась, и даже столбы покосились — все в левую сторону. Ведущие к крыльцу голубые ступеньки выцвели, голубизна перешла в водянисто-серый цвет. Словом, убогий домишко.

У дверей он поднял руку, чтобы постучать, но заметил звонок. Он позвонил, и Сьюзен Берд отворила дверь.

- Здравствуйте, я снова к вам, — сказал он.

- Ну что ж, — ответила она, — я вижу, вы человек слова.

- Мне бы хотелось еще немного с вами поговорить. Насчет Пой. Можно войти?

- Конечно. — Она посторонилась, пропуская его, и снова до Молочника донесся запах свежее испеченного печенья. Они опять сели в гостиной — он в серое кресло с вогнутой спинкой, а она на сей раз на диван. Мисс Лонг не было видно.

- Я знаю, вам неизвестно, за кого Пой вышла замуж и вышла ли она замуж вообще, но мне хотелось бы...

- Да нет, я знаю, за кого она вышла. То есть если они все же поженились. Она вышла за Джейка, за чернокожего мальчишку, которого вырастила ее мать.

У Молочника голова пошла кругом. Все меняются прямо у него на глазах.

- Но вчера вы говорили, что с того дня, как Пой уехала отсюда, о ней никто ничего не слыхал.

- Верно. Зато знали, кто уехал с ней вместе.

- Джейк?

- Да, Джейк. Черный Джейк. Черный, как уголь.

- Ну и где же... где они поселились? В Бостоне?

- Я не знаю, где они оказались в конце концов. Думаю, где-нибудь на Севере. Они ни разу нам не написали.

- Мне показалось, вы сказали, что Пой отправилась в какую-то частную школу в Бостоне.

Сьюзен только махнула рукой.

— Я это из-за нее... из-за Грейс так сказала. Она, знаете ли, ужасная болтушка. По всему округу разносит сплетни. Пой и в самом деле хотели отправить в какую-то школу, но она туда не поехала.

Отправилась в фургоне с запасной упряжкой лошадей вместе с чернокожим Джейком. Фургон был битком набит недавними рабами. Джейк был за кучера. Вы представляете себе? Укатила в фургоне, полном бывших рабов!

— А как фамилия Джейка? Она вам известна?

Сьюзен пожала плечами.

— Вряд ли у него была фамилия. Он ведь один из детей летающего африканца. Я полагаю, они все уже давно умерли.

— Дети летающего африканца?

— Ну да, дети Соломона. Или Шалимара. Отец говорил, Хедди называла его Шалимар.

— А Хедди была...

— Моей бабкой. Матерью Пой, а также моего отца. Индианка. Та самая, что взяла к себе в дом Джейка, когда его отец их всех оставил. Она нашла ребенка, взяла к себе и вырастила. Сыновей у Хедди тогда не было. Воррен, мой отец, родился позже. — Она слегка нагнулась к нему и шепотом сказала: — У нее не было мужа, у Хедди. Мне не хотелось все это рассказывать в присутствии Грейс. Только представьте, сколько сразу пошло бы сплетен. Вы-то приезжий, вам я все могу сказать. Но Грейс... — Последовал красноречивый взгляд, устремленный в потолок. — Этот найденыйш и был тот самый Джейк, они выросли вместе с дочерью Хедди, и эта дочка, Пой, наверно, предпочла не ехать в квакерскую школу, а сбежать с ним вместе. Цветные и индейцы сходятся довольно часто и детей заводят, но бывает... некоторые индианки не хотят... ну, словом, замуж за них они не выходят. Вот и получилось, что ни он, ни она не знали, кто их отцы, ни Джейк, ни Пой. Мой отец, Воррен Берд, тоже не знал, кто его отец. Хедди своим детям этого не говорила. Я так и не знаю, белый был мой дед, краснокожий или... словом... еще какой-то. Пой сперва носила имя Поющая Птица. А отца моего звали Ворон. Позже он стал называться Воррен Берд. После того как снял штаны из оленьей кожи. — Она улыбнулась.

— Почему вы называли Соломона летающим африканцем?

- А, ходят тут разные басни, их рассказывают наши старики. Будто некоторые из привезенных в эти края рабов-африканцев умели летать. И многие как будто улетели назад, в Африку. Так вот один из них — он жил в наших местах — как раз и был тот самый Соломон или Шалимар, ей-богу, не знаю, как его нужно называть. У него была уйма детей и по эту сторону горы, и по другую. Вы, наверное, заметили, чуть ли не каждый местный житель старается доказать, что он родня тому Соломону. В нашей местности, пожалуй, наберется больше сорока семей, где есть Соломоны, с добавлением еще какого-нибудь имени. Полагаю, он был порядочный бабник. — Она засмеялась. — Но какой уж он ни был, он вдруг скрылся и всех бросил. Жену, ну, в общем, всех, в том числе и детей, а у него был двадцать один ребенок. И все они утверждали, что видели, как он исчез. Жена видела и дети. Они работали тогда на поле. В те времена в наших местах пытались выращивать хлопок. Вы себе представляете? Хлопок в горах! Но тогда считалось, что хлопок — основа всего. И выращивали его все поголовно, пока земля не истощилась. Да и при мне, когда я девочкой была, здесь все еще растили хлопок. Так вот, вернемся к нашему Джейку. Считалось, что он из настоящих Соломоновых детей, двадцать один ребенок, причем все мальчики и все от одной матери. Джейк был еще совсем малышом. Жена с ребенком стояла рядом с Соломоном в тот самый миг, когда он улетел.

- Вы говорите «улетел», но, вероятно, имеете в виду — сбежал, ведь так? Скрылся бегством?

- Нет, я имею в виду — улетел. О, я, конечно, понимаю, это чушь, но история гласит, что это не было обычным бегством. Он улетел по воздуху. Улетел. Ну... как птица. Просто в один прекрасный день остановился среди поля, взбежал на какой-то пригорок, раза два крутнулся на месте и взмыл вверх. Отправился прямехонько туда, откуда его привезли. Там, в долине, есть утес с раздвоенной вершиной, он назван в его честь — Соломонов утес. А эта женщина, кажется, скончалась от горя, его жена. По-моему, ее можно назвать женой. Во всяком случае, говорили, что она много дней подряд горько о нем рыдала. Здесь неподалеку есть глубокий овраг, его называют ущельем Рины, и случается — это зависит от ветра, — из оврага доносятся странные звуки. Люди говорят, это жена его плачет, жена Соломона. Ее звали Рина. Говорят, она все плакала и плакала, пока вовсе не сошла с

ума. Сейчас таких женщин уже не бывает, но раньше встречались... У таких вдруг весь свет клином сойдется на одном мужчине, и не может она без него жить. А если он ее бросит, она лишится рассудка или умрет, словом, кончится это бедой. Любовь — так, видно, надо понимать. Но мне всегда казалось, их угнетала мысль, как же они вырастят в одиночку детей, подспудно угнетала, понимаете?

Она все говорила, а Молочник, откинувшись на мягкую спинку кресла, слушал ее рассуждения, истории, легенды, сплетни. Он то мысленно опережал ее слова, то отставал от них, то шел с ней рядом и мало-помалу собрал воедино все, что от нее услышал, что знал раньше и о чем догадался сам.

Пой сказала дома, что едет в квакерскую школу, сама же села вместе с Джейком в фургон, который вез в Бостон, а может, в другой город только что выпущенных на волю рабов. Вероятно, пока они ехали, время от времени кто-нибудь из пассажиров покидал фургон. А потом Джейк, который был у них за кучера, свернул не в ту сторону, так как не умел читать, и фургон закончил свой путь в Пенсильвании.

- Но вы знаете, тут у вас в городке дети играют в одну игру. И при этом поют: «Джейк, Соломона единственный сын». Единственный. — Он взглянул на Сьюзен, ему казалось, она не рассердится, что он ее перебил.

- Да, поют, только это неверно. Он не был единственным сыном. Кроме него, было еще двадцать. Но он единственный, кого Соломон попытался взять с собой. Может быть, поэтому так поется. Соломон поднялся в воздух вместе с ребенком, но уронил его возле крыльца большого дома. Там и нашла его Хедди. Она бывала в этом доме, подрабатывала там: варила мыло, делала свечи. Хедди не была рабыней, но она ходила в большой дом и там работала. Она растапливала сало для свечей, вдруг взглянула вверх и видит: человек, держа в руках ребенка, летит к вершине горы. Он задел на лету дерево, ребенок выскользнул из его рук и, цепляясь за ветви, упал на землю. Он был без сознания. И, если бы не это дерево, наверное, расшибся бы до смерти. Хедди подбежала и подняла его. У нее не было сыновей, я вам уже говорила, только маленькая девочка, а этот свалился к ней на руки прямо с небес. Она не стала менять ему имя: боялась. Она ведь выяснила позже, что это ребенок Рины, но Рина к тому времени уже

сошла с ума. Хедди жила далеко от того места, где работал Соломон и другие рабы. Она и дочку туда не пускала. Так вот, представьте, каково ей было, когда они сбежали из дому, Джейк и Пой. Только мой отец с ней остался.

- А что, перед тем как уехать из штата, Джейк должен был зарегистрироваться в бюро по делам невольников, получивших свободу?

- Там все регистрировались. То есть... все бывшие рабы. И те, кто уезжал, и те, кто оставался в штате. Но мы рабами не были, поэтому...

- Да, вы мне уже говорили. Может быть, в этом бюро зарегистрировался кто-нибудь из братьев Джейка?

- Трудно сказать. Тогда были такие времена. Скверные. Слава богу, если хоть кто-то знает что про кого-нибудь.

- Вы мне очень помогли, мисс Берд. Я так вам благодарен.

У него мелькнула мысль попросить, чтобы она показала ему семейный альбом. Ему хотелось увидеть Пой, Воррена, даже Хедди. Но потом он решил: не стоит. Еще пустится в расспросы, и незачем ее удручать сообщением, что у нее вдруг объявился новый родственник, такой же черный, как Джейк.

- Ну, а имеет ли все это отношение к той женщине, которую вы ищете? Пилат?

- Нет, — ответил он. — Едва ли. — Он уже повернулся было к двери, но вспомнил о часах. — Кстати, не забыл ли я у вас часы? Мне бы хотелось их забрать.

- Часы?

- Ну да. Ваша приятельница захотела рассмотреть их поближе. Мисс Лонг. Я ей дал их тогда, но забыл... — Молочник замялся.

Сьюзен Берд звонко расхохоталась.

— О часах своих забудьте, мистер Мейкон. Грейс отправится теперь курсировать по всему округу и в каждом доме будет рассказывать, как вы подарили ей часы.

— Что?!

— Да понимаете... Не надо ее осуждать, просто мы живем в таком захолустье. Не так-то часто появляются у нас приезжие, в особенности молодые люди, которые носят золотые часы и разговаривают с северным акцентом. Потом я заберу их у нее и отдам вам.

— Да не стоит. Не стоит.

— Ну, тогда просто извините ее. Тут у нас такая глухомань, мистер Мейкон. Ничего и никогда не происходит. Ровным счетом ничего.

ГЛАВА 15

Приводной ремень продержался недолго, но дотянул до ближайшей бензоколонки. Он вышел из строя на окраине городка, называемого Джистанн. Молочник продал свой автомобиль за двадцать долларов хозяину буксирного грузовика и сразу взял билет на автобус. Возможно, вышло даже к лучшему: поджав ноги, еле уместившиеся в тесном пространстве между сиденьями, и прислушиваясь к монотонному жужжанию колес, он имел возможность и досуг не спеша спуститься вниз с заоблачных высот, на которые вознесся, когда за ним захлопнулась дверь домика мисс Берд.

Когда он возвращался от нее в Шалимар и когда он наконец туда дотащился, весь в пыли, в грязи, он тотчас же вскочил в свою машину и отправился к Киске. Он чуть не выломал ей дверь.

— Хочу плавать, — вопил он. — Скорей, скорей, пошли купаться. Я весь грязный — мне нужна вода-а-а-а!

Киска улыбнулась и сказала, что приготовит ванну.

— Ванну? Да не полезу я в эту фарфоровую мисочку! Мне нужно море! Целое море, черт побери! — Он хохотал, орал, а потом, подхватив Киску под коленки, забежал по комнате, держа ее на плече. — Море! Хочу плавать в море! И не подсовывай мне, пожалуйста, детка, свою

узенькую, малюсенькую, коротюсенькую лохань. Мне нужно море, все целиком, глубокое, синее море!

Он поставил ее на пол.

- Неужели вы здесь никогда не ходите купаться?

- Дети ходят к каменоломне.

- К каменоломне? Значит, моря у вас нет? И океана?

- Нет. Ничего такого нет, здесь горная страна.

- Ах, горная страна! Страна гор. Страна полетов.

- Тебя спрашивал какой-то человек.

- В самом деле? По всей вероятности, это мистер Гитара Бэйнс.

— Он не сказал, как его звать.

- И не нужно. Совершенно ясно, приходил Гитара Бэйнс. Гитар, Гитар, Гитар Бэйнс! — Молочник принялся приплясывать, а Киска, давясь от смеха, прикрывала рот рукой.

- Ну пошли, Киска, пошли, покажи мне, где же ваше море.

- По ту сторону горы со склона стекают ручейки. И получается река. Самая настоящая — глубокая, широкая.

- Так пойдем! Ну живо, живо! — Он схватил ее за руку и потащил к машине, по пути напевая: «Соломон и Рина, Белали, Шалут...».

- Откуда ты это знаешь? — спросила Киска. — Когда я была маленькая, мы играли в такую игру.

- Конечно, играли. В нее все играли, кроме меня. Но теперь и я смогу в нее играть. Теперь это моя игра тоже.

Река, которая текла по долине, оказалась широкой, зеленой. Молочник разделся, влез на дерево и прыгнул в воду. Тут же пулей вынырнул, сверкая мокрой кожей, улыбаясь, расплескивая вокруг себя сотни брызг. — Иди сюда. Да раздевайся же, иди скорее в воду.

- Не пойду. Мне неохота.
- Пойдем, девочка, пойдем.
- Там водяные змеи.
- Плевать на них. Иди сюда. Ну, я жду.

Она сбросила с ног туфли, сняла через голову платье. Он протянул к ней руки, а она мелкими шажками спускалась по крутому берегу — то поскользнется, то споткнется и сама же над собой хохочет; потом вошла в речку, повизгивая от прикосновения холодной воды к ногам, бедрам, талии. Молочник притянул ее к себе и поцеловал в губы, после чего предпринял энергичную попытку утащить ее под воду. Киска вырывалась.

- Ой, у меня укладка! Ты мне волосы намочишь.
- Не намочу, — ответил он и вылил пригоршню воды ей на макушку.

Киска, оступаясь на каждом шагу, протирая глаза и взвизгивая, пошла к берегу.

- Ну добро, добро, — вопил он ей вслед. — Покидаешь? Ладно, покинь меня здесь в одиночестве. Я стерплю. Я буду тут играть с водяными змеями. — И снова начал гоготать, нырять и кувыряться. — Он умел летать! Ты слышишь? Мой прадед умел летать! Сила! — Он принялся колотить по воде кулаками, потом взмыл вверх, прямой как струна, словно и сам собирался взлететь, плюхнулся на спину и ушел под воду с открытыми глазами и ртом. Снова вынырнул. И все молотил по воде руками, подпрыгивал, нырял. — Этот сукин сын умел летать! Ты меня слышишь, Киска? Старый хрыч умел летать! Умел летать! Ему не нужно было всяких там дурацких самолетов. Ти, дабл ю, эй[25]. Он мог летать сам по себе.

- Ты о ком это? — Киска легла на бок, подперев щеку рукой.
- О Соломоне, о ком же еще?
- Ах, о Соломоне. — Она засмеялась. — Значит, ты из племени летающих ниггеров? — Она решила, что Молочник пьян.

- Вот-вот. Я из этого самого племени. Из племени летающих сукиных детей. А здорово-то как! Без всяких самолетов. Взял и взлетел, мол, надоело тут торчать. А сам поднимается все выше, выше! И никогда он больше не увидит хлопковых полей! Не увидит уложенного в кипы хлопка. И приказывать ему никто больше не станет. К черту все, конец! Он улетел, моя девочка. Вознес до небес свою роскошную черную задницу и полетел на родину, домой. Сечешь? Иисусе милостивый, вот уж, верно, было зрелище. А знаешь, что было еще? Он хотел взять с собой своего ребенка. Моего деда. У-а-у! У-у-и-и-и! Гитара! Слышишь ты меня, Гитара! Гитара, мой прадед умел летать, и в его честь называли этот распроклятый городишко! Расскажи ему, Киска. Расскажи ему, что мой прадед умел летать.

— А куда он улетел, Мейкон?

— В Африку, к себе на родину. Расскажи Гитаре, что он улетел в Африку.

— А здесь кого оставил?

— Всех! Всех до единого оставил на земле, а сам воспарил к небесам, словно черный орел. «О-о-оо, Соломона нет, о, Соломон стрелой небо пронзил, ушел, домой!».

Ему не терпелось добраться наконец до родного города. Он все, все расскажет отцу, Пилат; а как здорово будет снова встретиться с преподобным Купером и его друзьями. «Вы думаете, Мейкон Помер был особенный человек? Как бы не так! Вот, послушайте-ка про его папашу. Пока же можете считать, вы ровным счетом ничего не знаете».

Молочник сел вполоборота и попытался вытянуть ноги. Утро. Это уже третий по счету автобус, и он мчит его домой, завершая последний этап пути. Он посмотрел в окно. Виргиния осталась далеко позади, а здесь уже настоящая осень. Огайо, Индиана, Мичиган нарядились, как индейские воины, у которых взяли свои имена. Кроваво-красный и желтый, темно-оранжевый и льдисто-голубой.

Он с интересом читал теперь дорожные знаки, пытаясь угадать, что скрывается за нынешним названием. Оказывается, он всю жизнь прожил в местности, которую алгонкины [\[26\]](#) называли «мичи гами» — Большая Вода. Сколько давно ушедших жизней, почти стершихся воспоминаний захоронили под собой или в себе названия городов этой страны! Под именами, узаконенными в документах, прятались другие: так, имя Мейкон Помер, увековеченное в какой-то картотеке, будет пылиться там до скончания веков, пряча подлинные имена людей, городов, событий. Каждое имя что-то значит. Не удивительно, что Пилат носит в серье свое имя. А если знаешь свое имя, так уж покрепче за него держись, иначе, если оно нигде не записано и не хранится в памяти людей, оно умрет вместе с тобой. Вот ведь улица, на которой он жил, обозначена в списках муниципалитета как Мэйнз-авеню, а негры называют ее Недокторская — в честь его деда, первого цветного в городе, который приобрел положение в обществе. Иное дело, он, возможно, такого преклонения не заслужил — горожане знали, что он собой представляет: высокомерный человек, не любит слишком черных и гордится своей светлой кожей. Но это их не смущало. Им хотелось воздать дань тем его чертам, которые заставили его стать именно доктором, хотя гораздо больше шансов он имел проработать всю жизнь дворником. Вот почему они назвали улицу в его честь. Пилат брала по камешку из каждого штата, в котором ей приходилось жить, потому что жила в этих штатах. Если ты жил где-то — это место твое... ее место, и его, и отца, и деда, и бабки. Недокторская улица, Соломонов утес, ущелье Рины, Шалимар, Виргиния.

Закрыв глаза, он думал о неграх, которых видел в Шалимаре, Роаноке, Питерсберге, Ньюпорт-Ньюс, Данвилле, Донорском пункте, на Дарлинг-стрит, в бильярдных, парикмахерских. Имена, каких только у негров нет имен! Неосуществленные желания, жесты, физические недостатки, события, ошибки, слабости, — все может послужить источником, именно так и получают негры имена. Имена-свидетели. Пой Берд, Воррен Берд, Пилат, Реба, Агарь, Магдалина, Послание к Коринфянам, Молочник, Гитара, Железнодорожный Томми, Больничный Томми, Имперский Штат (все стоит да покачивается), Малыш, Киска, Цирцея, Луна, Нерон, Шалтай-Болтай, Синий, Скандинавия, Кря-Кря, Иерихон, Затируха, Мороженщик, Рыхлое Пузо, Скалистый Берег, Серый Глаз, Кукареку, Ветерок, Трясина, Верхушка

Сосны, Вишневый Пирог, Жирняга, Свинцовое Брюхо, Пришлый Жулик, Кошачья Миска, Деревянная Нога, Сынок, Недомерок, Черномазая Кроха, Папочка с Приветом, Бука, Первый Сорт, Лось, Берцовая Кость, Туз Пик, Лимон, Стиральная Доска, Рот до Ушей, Чистая Голова, Красный Тампа, Подавальщик, Штукарь, Колченогий, Чертушка Джим, Фигня и Тот Самый Ниггер.

Из огромного мотка, в который сплелась вереница имен, острием выскальзывало одно имя, и вертящиеся колеса автобуса шепотом повторяли его: «Гитара выжидает. Гитара выжидает. Твой день пришел. Твой день пришел. Гитара выжидает. Гитара — день отменный. Гитара — день отменный. День отменный, день отменный и выжидает, выжидает он».

В подержанном автомобиле, который обошелся ему в семьдесят пять долларов, и здесь, в большом, массивном автобусе дальнего следования, Молочник чувствовал себя в безопасности. Впереди еще столько дней. Может быть, если Гитара уже вернулся в город, Молочнику в привычной обстановке удастся хоть слегка умерить его гнев. А со временем тот, конечно, поймет, какой он был дурак. Золота ведь нет и в самом деле. Прежней дружбы, увы, не вернуть, но хотя бы прекратится эта жуткая охота на человека.

Но, убеждая себя таким образом, Молочник знал, что он обманывает себя. Или исчезновение золота так подействовало на Гитару, что он повредился в уме, или его довела до этого его «работа». Или, может быть, он просто дал наконец волю своим чувствам и относится теперь к Молочнику так, как всю жизнь относился к Мейкону Померу-старшему и владельцам летних домиков на Оноре. Во всяком случае, он ухватился за первый же повод, довольно хлипкий и сомнительный, и убедил себя, что Молочника нужно убить. Девочки из воскресной школы, право, ничего не сделали, бедняжки, чтобы стать поводом для мести этого ворона с ястребиным клювом, который называл себя Воскресеньем и включил в свой кровавый список четырех ни в чем не повинных белых девочек и одного черного мужчину, тоже ни в чем не повинного.

Что ж, возможно, отношения между людьми и в самом деле сводятся к формуле: ты спасешь мне жизнь или отнимешь ее?

«Всем нужна жизнь черного человека».

М-да. Жизнь черного человека нужна всем, в том числе и черным людям, таким же, как он. Пожалуй, все, с кем сталкивала его жизнь, норовили его вытолкнуть из этой жизни; исключений было всего два. И оба эти исключения — женщины, обе они черны, обе стары. С самого начала его мать и Пилат сражались за его жизнь, а он ни разу ни одной из них и чашки чаю не подал.

Ты спасешь мне жизнь или отнимешь ее? Что касается Гитары, тут статья особая. На оба вопроса он отвечает «да».

Куда же ехать раньше — домой или к Пилат? Давно стемнело, с озера дул холодный осенний ветер, а он стоял на улице и размышлял. Ему так не терпелось увидеть поскорей лицо Пилат, когда он будет ей выкладывать все свои новости, что он решил сперва поехать к ней. Дома он еще насидится и успеет все рассказать. Он взял такси до Дарлинг-стрит, расплатился с шофером и взбежал на крыльцо. Распахнул дверь и увидел Пилат: она стояла у наполненной водой лохани и ополаскивала винные бутылки.

— Пилат! — крикнул он. — Ты только послушай, у меня такие новости!

Она обернулась. Молочник широко раскинул руки, собираясь горячо, от всей души сжать ее в объятиях.

— Пойди ко мне, голубушка моя, — сказал он, широко улыбаясь.

Она подошла и разбила о его голову мокрую зеленую бутылку.

Очнулся он в погребе. Приоткрыл один глаз и подумал, а не рановато ли он очнулся. Он теперь уж надолго запомнит, что впечатлениям нельзя доверять: кажется тебе одно, а на поверку может выйти совсем другое, и, скорее всего, именно так. Каких только сюрпризов не подносит жизнь! Женщина, которая тебя любила, хочет перерезать тебе глотку, а женщина, которая даже не знает, как тебя зовут, трет тебе спину в ванной. Ведьмы разговаривают голосом Кэтрин Хэпберн, а твой лучший друг пытается тебя удавить. В самой сердцевинке

орхидеи может обнаружиться комочек гнили, а внутри игрушечного Микки-Мауса — настоящая небесная звезда.

Лежа в погребке на холодном, сыром полу, он пытался сообразить, почему он здесь оказался. За что она его ударила, Пилат? За то, что он украл у нее мешок к костями? Нелогично. Ведь она тогда немедленно явилась его выручать. Так что же, что еще он натворил, чем восстановил ее против себя? Вдруг он понял. Агарь. Что-то случилось с Агарью. Где она? Убежала из дому? Заболела или... Нет, Агарь умерла. У него перехватило горло. Где, когда? Может быть, оставшись в комнате Гитары, она...

А, не все ли равно где? Он ее обидел, он ее бросил, и она умерла — он точно это знал. Он ее бросил. Пока он предавался мечтам о полете, она умирала. Он вспомнил серебристый голос Киски: «А здесь кого оставил?» Соломон оставил Рину и двадцать детей, даже двадцать одного ребенка, ведь он уронил того единственного, которого хотел взять с собой. И Рина билась о землю и сошла с ума — и до сих пор рыдает в лесном овраге. На кого же он оставил своих двадцать детей? Иисусе, он оставил двадцать одного ребенка! Гитара и остальные «дни» решили не заводить детей. Шалимар своих бросил, но его дети сложили о нем песню, и память о нем живет.

Молочник беспокойно завертел головой. Виновник он, и Пилат это знает. Заперла его в погребке. А вот зачем ей это: наверное, она чего-то хочет от него. Потом он понял и это. Он знал, какое наказание, по ее мнению, положено тому, кто отнял чью-то жизнь. Агарь.

Здесь в погребке находится что-то, оставшееся от Агари. Если Пилат бросила его сюда, значит, где-то здесь неподалеку находится нечто, оставшееся от жизни, которую он пресек, и он должен взять это себе. Так велел ей отец, и она соблюдает отцовскую заповедь и требует, чтобы он тоже соблюдал ее. «Нельзя убить человека и просто от него сбежать».

Неожиданно он засмеялся. Полусогнутый, как сарделька, связанный по рукам и ногам, он лежал и смеялся.

— Пилат! — закричал он. — Пилат! Он же совсем не то имел в виду. Он говорил не про того человека в пещере. Он говорил про самого себя.

Это его отец улетел, а сам он был «телом», вот как. От тела не убежишь, его бросить нельзя. Пилат! Да где же ты? Мне надо объяснить, что говорил тебе твой отец. И петь он тебе вовсе не велел. Он просто звал свою жену — твою мать. Пилат, да выпусти меня отсюда наконец!

Поток яркого света ударил ему в лицо: дверца погребка открылась прямо у него над головой. На каменных ступеньках появились ноги Пилат, вниз они не двигались.

— Пилат, — сказал Молочник теперь уже негромко. — Он совсем не то имел в виду. Я все знаю. Я тебе объясню. Пойди сюда и выслушай меня. И потом, насчет костей. Это не кости того белого. Он, может, даже и не умер. Я был в пещере. Ни мертвеца, ни золота там нет. Кто-то нашел это золото, а может быть, и старика. Наверно, так, Пилат. Задолго до того, как ты там побывала. Только вот что, Пилат...

Она сошла на несколько ступенек вниз.

— Пилат?

Тогда она совсем спустилась в погреб, и он увидел перед собой ее глаза и неподвижные губы.

— Пилат, могилу твоего отца размыло. Через месяц его тело плавало в ручье. Батлеры или кто-то другой отнесли его тело в пещеру. Ведь не волки же протащили через всю пещеру труп белого старика и прислонили к камню возле входа. Ты отца своего нашла. И всю жизнь носишь с собой его кости.

— Папа? — шепотом сказала она.

— Да, да. И вот что я скажу, Пилат, ты должна его похоронить. Он хочет, чтобы ты его похоронила. Там, на Юге, где он родился. Возле Соломонова утеса.

— Папа? — снова спросила она.

Молочник ничего не ответил; он глядел, как ее длинные пальцы пробежали вверх по платью и замерли, коснувшись щек, словно крылья скворца.

- Я все эти годы носила папу? — Она шагнула к Молочнику, остановилась и довольно долго смотрела на него. А потом перевела взгляд на шаткий деревянный столик, стоявший возле каменной стены. Тут было так темно, что Молочник его даже не заметил. Пилат подошла к столику и сняла с него зелено-белую коробку из-под туфель, прикрытую крышкой и перетянутую резинкой. «Джойс», — гласила надпись на коробке. «Благодарите небеса за изящные туфельки фирмы «Джойс».

- Если я похороню папу, то, наверное, мне и это следует похоронить... где-нибудь. — Она взглянула на Молочника.

— Нет, — ответил он. — Нет. Это дай сюда. Поздно вечером, когда он вернулся домой, он не принес в дом на Недокторской почти ничего из тех вещей, которые он брал, отправляясь в дорогу. Но он принес коробку с волосами Агари.

Пилат категорически отказалась лететь самолетом, и они поехали в «бьюике» Мейкона. Она успокоилась и казалась довольной. Опять зашевелились губы. Устроилась она рядом с племянником, на переднем сиденье, и на плечах ее поверх старого черного платья красовался выигранный Ребой норковый палантин. Вязаную шапку она надвинула чуть ли не до бровей, ботинки, как всегда, без шнурков. Время от времени Пилат поглядывала на заднее сиденье — на месте ли мешок. В ней все дышало умиротворенностью.

И Молочник тоже ощущал в себе умиротворение, покой. Он возвратился на Недокторскую не с триумфом, как он предвкушал, но на сердце потеплело, когда он увидел робкую улыбку матери. И Лина, так и не простившая его, обошлась с ним вежливо, поскольку Коринфянам перебралась вместе с Портером в какой-то домик в Южном предместье. «Семи дням», понял Молочник, предстояло пополнить свои ряды каким-нибудь новобранцем, как в ту пору, когда Роберт Смит спрыгнул с крыши «Приюта милосердия». Но зато они говорили с отцом, вели долгие сумбурные разговоры, и Мейкон-старший жадно слушал о «данвиллских ребятах», которые до сих пор его вспоминают, и о том, как его мать убежала с отцом, и о том, что

случилось с его отцом и дедом. Все относившееся к полету не заинтересовало его, но сама история ему понравилась, а также то обстоятельство, что в честь его деда и бабки назвали утес и ущелье. Чтобы не огорчить его, Молочник не стал в подробностях описывать Цирцею, сказал только, что она жива и разводит собак.

- Я бы, может, туда съездил, — сказал как-то Мейкон.

- В Виргинию? — спросил Молочник.

- Нет, в Данвилл. Надо бы там побывать и повидать ребят, пока меня еще по земле ноги носят. А ренту, пожалуй, пока и Фредди мог бы собирать.

Было славно. Правда, Мейкон не помирился с Пилат (впрочем, казалось, он доволен, что Пилат и Молочник едут в Виргинию, чтобы предать там земле прах отца), и отношения между Руфью и Мейконом остались прежними и останутся такими навсегда. Точно так же, думал Молочник, как не исчезнут последствия его собственной глупости и укоры совести всегда будут весомее, чем память о поступках, которыми он гордился. Агарь умерла, и он не любил ее, он нисколько ее не любил. И Гитара... где-то он тут бродит.

Его быстрое возвращение вызвало в Шалимаре всеобщий восторг, и Пилат смешалась с местным населением, как брошенный в маслобойку кусочек масла. Они остановились в доме Омара, и на второй — он же последний — вечер Молочник и Пилат пешком двинулись по дороге к тропе, ведущей к Соломонову утесу. Им нужно было подняться на более возвышенную часть раздвоенной скалы. Обе вершины были плоскими, с обеих открывался вид на долину. Пилат несла мешок, Молочник — небольшую лопату. Они проделали долгий путь, но передохнуть не остановились ни разу. На утесе, на самой вершине, было почти голо: не многие деревья выдерживали вихри, бушевавшие на такой высоте. Они долго выискивали на каменистой площадке клочок земли, где уместилась бы хоть небольшая могила. Наконец нашли, и Пилат, опустившись на корточки, стала развязывать мешок, а Молочник начал рыть могилу. Из мешка послышался глубокий вздох, и ветер стал пронзительно холодным. Повеяло пряным запахом засахаренного имбиря. Пилат бережно уложила в могилку кости. Молочник засыпал могилу и утрамбовал лопатой могильный холмик.

— Положим сверху камень или крест поставим? — спросил он.

Пилат покачала головой. Она выдернула серьгу из уха, разодрав мочку. Потом выкопала прямо пальцами маленькую ямку и положила в нее табакерку, принадлежавшую Пой, и хранившееся в ней единственное слово, за всю жизнь написанное Джейком. Затем снова поднялась, и Молочнику показалось, что он услышал выстрел уже после того, как Пилат упала на землю. Он опустился рядом с ней на колени и, поддерживая ее голову на согнутой руке, отрывисто и хрипло спрашивал:

— Тебя ранили?. Тебе больно, Пилат?

Она тихонько засмеялась, и он сразу понял, что она вспоминает тот день, когда он впервые пришел к ней в дом и от растерянности ляпнул такую глупость, глупей которой и придумать невозможно.

Сгустились сумерки, вокруг все стало темным. Молочник провел рукой по груди и животу Пилат — он искал, куда попала пуля.

— Как ты, Пилат? Ничего? — Он не видел в темноте ее глаз. Пот струйками стекал с руки, которой он поддерживал ее голову. — Пилат?

Она вздохнула.

— Позаботься за меня о Ребе. — А потом: — Мне жалко, что я знала так мало людей. Я бы всех их любила. Знала бы я их побольше — и любила бы побольше.

Молочник склонился еще ниже, чтобы разглядеть ее лицо, и увидел на своей руке пятно мрака. Не пот, а кровь сочилась у нее из горла и стекала в его согнутую ладонь. Он прижал пальцы к ранке, словно старался снова втиснуть в нее жизнь, втиснуть туда, откуда она убегала. Но от этого кровь потекла еще быстрее. Он с отчаянием подумал: нужно поскорее перевязать — и даже услышал треск материи, которую нужно порвать на полосы. Он выпрямился, чтобы уложить ее и покрепче перевязать рану, как вдруг она опять заговорила.

— Пой, — сказала она. — Пой мне что-нибудь.

Он не знал ни одной песни и петь совсем не умел, но она просила так настойчиво, что он ее послушался. О мелодии он и не думал, он просто проговаривал слова: «О Сладкая моя, не покидай меня, Боюсь я в хлопке задохнуться. О Сладкая моя, не покидай меня, Вдруг руки Бакры на мне сомкнутся». Кровь перестала течь, во рту Пилат застыл какой-то черный пузырь. И все-таки, когда она вдруг шевельнула головой, всматриваясь во что-то позади Молочника, он не сразу понял, что она умерла. А когда понял, все равно не смог остановиться; и текли давно знакомые слова, все громче, громче, словно можно было пробудить ее одной лишь силой звука. Но пробудил он только птиц, они испуганно вспорхнули ввысь. Молочник положил ее голову на камень. Над ними кружились две птицы. Вот одна подлетела к свежей могиле, порылась клювом, вытащила что-то блестящее и унеслась.

Теперь он понял, за что он так любил ее. Не покидая земли, она умела летать. «Не может быть, что ты одна такая, — прошептал он. — Должна же где-то быть хоть еще одна такая женщина, как ты».

Опускаясь возле нее на колени, он знал: второй ошибке не бывать; как только он поднимется, Гитара пустит пулю ему в голову. Он встал.

— Гитара! — крикнул он.

Тара — тара — тара, — откликнулись горы.

— Эй, где ты, брат! Ты видишь меня? — Молочник приложил ко рту руку и замахал другой рукой над головой. — Я здесь!

Где — где — где, — откликнулись горы.

— Тебе нужна моя жизнь? Отвечай! Тебе нужна моя жизнь?

Жизнь — жизнь — жизнь — жизнь.

Припав к земле у самого края второй площадки, укрытый только лишь ночью тьмой, прижав к щеке ружейный ствол, Гитара улыбнулся. «Мой человек, — пробормотал он. — Главный мой человек». Он положил ружье на землю и встал.

Молочник перестал махать рукой и прищурился. Голова и плечи Гитары еле виднелись в темноте.

— Тебе нужна моя жизнь? — Теперь он уже не кричал. — Она нужна тебе? Возьми! — Не вытерев слез, не вздохнув глубоко, даже не согнув колени, он прыгнул. Стремительный и яркий, как пересекающая небосклон звезда, он полетел к Гитаре, и несущественно было, чей дух попадет в смертоносные руки брата его. Ибо теперь он постиг то, что знал Соломон: надо лишь отдаться воздуху, и он тебя подхватит.